

ЗНАМЯ

МЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



1944

7-8

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ

НОВЫЕ ДОРОГИ

НОЧЬ НА БЕРЕГАХ ВИСЛЫ

Шарит прожектор рукой раскаленной,
Мина ударила с грохотом в дом.
Улицей имени Вашингтона
К берегу Вислы, пригнувшись, идем.

Смешана гарь с известковою пылью...
Помнишь, товарищ, два года назад
Улицей Емеца мы проходили
К черному порту. Горел Сталинград.

Так и живем мы сегодня, помножив
Воспоминания на мечты,
Улица без голосов и прохожих,
Сорванных крыш, громяхают листы.

Только по небу, в осенних просторах
Ходят невидимые корабли.
Ровный, размеренный рокот моторов —
Это «У-2» на Варшаву пошли.

Наш «кукурузник», «сверчок», «огородник»,
Наш легендарный родной самолет
Ночью свершает свой труд благородный —
Людям Варшавы спасенье везет.

Яростно бьют с Маршалковской зенитки,
Красные пули врезаются в ночь.
Он увернется — фанерный, а пряткий
Сбросит, что нужно: он должен помочь.

В мертвом сиянии ракета повисла.
С черного берега бьет пулемет.
Слушайте! Кто-то плывет через Вислу.
Тише, товарищи, кто-то плывет.

Мокрая, словно Европа из сказки,
Шаткой походкой выходит сюда
Девушка с бело-червонной повязкой,
Льется с нее ледяная вода.

Берег. Гранитная ровная кладка.
Зарево плещется в темных волнах.
Польские воины в конфедератках.
Русский разведчик в мохнатых штанах.

Девушка им предъясняет, как пропуск,
Пару размокших советских галет.
Это оттуда, из мрака, Европа
Нашим «У-2» присылает ответ.

Что говорить, — мы теперь за границей,
Будет пора дилкурьеров и нот.
Это посланье в сердцах сохранится,
Всю дипломатию переживет.

Грохнул снаряд, оглушительный, грузный...
В небе мотор зажурчал, как поток.
Снова в Варшаву идет «кукурузник»,
Снова пошел на работу «сверчок».

Прага. IX.44.

ОСЕНЬ

В России багряная осень.
Прозрачная синь, листопад,
И ветер туда не доносит
Тяжелых орудий раскат.

На мирном холодном рассвете,
Курлыча, летят журавли.
Шумливыми стайками дети
В высокие школы пошлаи.

Печальные наши подруги
К семи затемняют окно.
Четвертую осень в разлуке
Им верить и жить суждено.

Но время счастливое близко:
Там ветер недаром кружил —
Багряный листок, как записку,
На каждый порог положил.

Он будет приметой доброй.
Ведь здесь, средь нерусских
равнин,

Подруги и родины образ
Сливаются в образ один.

Люблин. X.44.

Тоска напаляет нас силой,
И мы ненаглядным своим,
Тоскуя о родине милой,
Сквозь тысячу верст говорим:

Скучайте о ваших солдатах,
О тех, кто далеко ушли,
О тех, кто сегодня в Карпатах,
О тех, кто в балканской дали,

О тех, кто в варшавских
предместьях.

Пусть слышит родная страна,
Под полночь в «последних
известьях»

Чужих городов имена.

А мы, зарядив автоматы,
И снова припомним свой дом,
За Вислу, за Сан, за Карпаты
Все дальше и дальше пойдём.

Вокруг перелески густые,
Осенних полей красота.
А в сердце — Россия, Россия,
Любовь, и судьба, и мечта.

ОЛЕНЬ

Июнь зеленый и цветущий.
На отдых танки стали в тень.
Из древней Беловежской пуши
Выходит золотой олень.

Короною рогов ветвистых
С ветвей сбивает он росу,
И робко смотрит на танкистов.
Расположившихся в лесу.

Ногами тонкими, как струны,
Легко перебирает он.

Беловежская Пуша. VII.44.

Олений взгляд, прямой и юный,
Как бы навеки удивлен...

Молчат утрюмые солдаты,
Весь мир выдавшие в огне.
Заряженные автоматы
Лежат на танковой броне,

А он уходит в лес обратно,
Спокоен, тих и величав,
На шкуре солнечные пятна
С листвою пятнистою смешав.

ВИЛЛА «ВИОЛА»

Где нынче ночуем? Простая задача.
Машина без света по просеке мчится.
На карте-двухверстке отмечены дачи,
Сегодня их взяли в четырнадцать тридцать.

Дорога разрыта, в траншеях, в обломках,
Дорога — как в русские горькие села,
На дачу пустую наткнулись в потемках,
Она называется вилла «Виола».

Белеют левкой на клумбах осенних,
Стекланные двери распахнуты настезь.
Мы наверх бежим по коротким ступеням
В чужое нерусское счастье.

Здесь все сохранилось. Не тронуло пламя
Всех этих квадратов, крутосв и овалов.
Пропитана спальня чужими духами,
Чужой теплотсю полны одеяла.

Я лучше укроюсь шинелью шершавой,
Я лучше окно плащ-палаткой завешу.
В семи километрах отсюда Варшава,
Над нею колеблется отблеск зловещий.

Далеко отсюда любимые наши.
О чем мы с тобой говорим на чужбине?
Я все о Наташе, Наташе, Наташе,
А ты все о Нине, о Нине, о Нине.

И все нам без них нелегко и немилло,
На что нам «Виола»? Здесь жить мы не будем.
От грохота бомб содрывается вилла,
Которую утром мы сразу забудем.

Саперы наводят в ночи переправу.
Не спится. Обстрел. Бесебая тревога.
Наверно, мы скоро ворвемся в Варшаву.
И, значит, в Москву будет ближе дорога.

Ромбергв. IX.44.

ТРИК-ТРАК

Всю землю изрыли окопы —
Угрюмая память атак.
Стучит по дорогам Европы
Трик-трак — деревянный башмак.

Куда ты идешь и откуда,
Состарившаяся мечта?
Хрипит в твоих легких простуда,
Увяла твоя красота.

Над горем бездомным, бездонным
Осенние листья летят.
По выбитым стеклам оконным
Трик-трак — деревяшки стучат.

Как будто бы после потопа
Пусты города и поля.
Так вот ты какая, Европа,
Неведомая земля!

Люблин. X.44.

Тяжелый мешок за плечами,
В лохмотьях клеенчатый плащ.
Лишь ветер глухими ночами
Тебя утешает — не плачь!

У стен разбомбленного дома
Трик-трак — несмолкающий стук.
Давно уж разбит и поломан
Твой тонкий французский каблук.

Стучат деревяшки о камень.
Я встречу тебя на шоссе,
Где девушка-воин с флажками
Стоит в световой полосе.

Шофер остановит машину:
«Садитесь, могу подвезти.
Я еду на запад, к Берлину,
Наверное, нам по пути».

ПЯТЬСОТ КИЛОМЕТРОВ

Я не был в Германии. Я не видал никогда
Их черное логово, злобные их города.

Но вот перекресток дорог среди польских долин.
На стрелке: пятьсот километров отсюда — Берлин.

Пятьсот километров. Расчет этот ясен и прост:
Прошел я от Волги, пожалуй, две тысячи верст.

Но каждую русскую грустную помню версту.
И мечь в своем сердце теперь я ношу, как мечту.

Не видел я Гамбурга — видел Воронеж в огне.
Не видел я Франкфурта, Киев запомнился мне.

Я нежные песни в истерзанном сердце берю,
Бина не моя, что я стал, как железо, жесток.

За пепел Воронежа — Гамбургу я отомщу,
Рыдания Киева Франкфурту я не прощу.

Две тысячи пройдено. Ныне осталось пятьсот.
По польским дорогам родная пехота идет.

Но в каждые очи солдатские только взгляни,
Увидишь, как светятся родины нашей огни.

Пятьсот километров на запад — последний рывок,
К Берлину направлены стрелки шоссежных дорог.

Рубеж Вислы. IX.44.

ВАЛЕРИЯ ГЕРАСИМОВА

БАЙДАРСКИЕ ВОРОТА

Повесть

I

К редкостному ощущению изведенного им в жизни полного счастья полковник Махотин относил то мгновение, когда длительно петлявшая по пыльному крымскому шоссе машина взяла наверх и, миновав густо заросшую какими-то необыкновенными деревьями и растениями возвышенность, наконец вынесла его к великолепному простору сливавшихся воедино моря и неба.

С той высоты, на которой он находился, мир, простиравшийся перед ним, представлялся огромным и, если бы не легкая, покрывавшая его пелена удивительной мягкости и нежности, немного страшноватым.

Среди зелено-курчавых лесов, что казались не шире шкурок мёрлушки, золотых поясков пляжей, скал, равных камешкам, виднелись игрушечные квадратики дворцов и едва приметные россыпи домиков. И над всем этим, бескрайно в высоту и необозримо в глубину, сиял, ласкал и, казалось, пел радостный простор.

— Байдарские ворота,— не поворачивая головы в клетчатом кепи, с профессиональным шиком надетом козырьком назад, небрежно назвал шофер.

И как незабываемую минуту чистой и полной радости через всю свою жизнь пронес Махотин это открывшееся перед ним видение светлого и доброго мира.

А ведь смешно сказать! Свыше двадцати лет тому назад, со всей страстью молодости и свежих, нерастратенных сил, рвался он — тогда комвзвод Махотин — к этому в сущности небольшому листообразному полуострову на Черном море. В составе славной тридцатой Иркутской дивизии проделал тогда комвзвод Махотин длинный путь до Чонгарских укреплений. В ночь перед решающей атакой комсомолец Махотин никак не мог заснуть. Не хотелось ни спать, ни есть, ни пить, а только курить, курить, курить...

Белая армия,
Черный барон
Снова готовят нам
Царский трон!

тихонько, но стройно пели у костров бойцы:

Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы, непобедимо,
Итти в последний, смертный бой!

«Даешь Врангеля!» — звенело по цепям, когда батальон под командованием Грушко, преодолевая бешеный огонь белогвардейцев, поднялся в атаку... Люди бежали и падали, и снова бежали, но многие уже

не поднимались. Упал и не поднялся комбат Грушко, комроты Власьев, полипрук Левыкин.. бойцы Коршунов, Семин, Плахов.. Было мгновение, — меньше секунды, — когда у Махотина мелькнула мысль, что все пропало, что бежать уже не нужно, бессцельно, бесполезно, но он все бежал и бежал к длинным, извивающимся, как толстые отвратительные змеи, белогвардейским траншеям. И когда, наконец, одним из первых он вырвался к цели, то с каким-то восторгом удивления увидел, что он не один, что слева и справа от него товарищи, лица которых он знал, помнил и любил.. Но тут же ослепительный взрыв ударил его по глазам, и когда он открыл их, то прежде всего поразился странному серому небу, за которое он принял грубый брезент госпитальной палатки.

В госпитале же он вскоре узнал, что барона Врангеля с его кликой сбросили в море, что знамя Советов водружено над всем полуостровом, но что, тем не менее, ему, комвзводу Махотину, к сожалению, все же придется ампутировать ногу..

К счастью, этого не произошло; но Махотину так и не удалось повидать тогда Черное море, а пришлось свыше трех месяцев пролежать в харьковском госпитале, куда ему и был доставлен его первый боевой орден.

Быть может, поэтому таким счастливым вознаграждением показалось голубое сияние, которое через двадцать с лишком лет открыли ему Байдарские ворота.

Служба в глухом уголке Дальнего Востока, куда по окончании Академии им. Фрунзе Махотин был направлен, сделала эту встречу столь поздней. И только в июле 1940 года, не покусившись на трехнедельный путь, поехал Махотин, — тогда еще подполковник, — отдохнуть и подлечиться на Черноморское побережье..

Короткой, но незабываемой была эта долгожданная встреча. Да, стоило мечтать, было к чему стремиться.. И нередко, вдыхая горьковатый запах глициний или часами недвижно наблюдая завораживающе многоцветную жизнь моря, Махотин с улыбкой вспоминал, как в свое время он бежал и так и не добежал до этих волшебных берегов..

И, вернувшись на Дальний Восток, в глухом таежном военном городке, что со всех сторон замыкали рыжие, точно обгорелые, сопки. Махотин мечтал, что в июне — июле следующего года ему, быть может, снова удастся навестить все, ставшее таким милым его сердцу.. Но в июне сорок первого года подполковник Махотин уже принял первые бои на белорусской земле, в июле оборонял Смоленск, в августе бил немцев под Ельней, а позднее участвовал в ноябрьском разгроме фашистских войск под Москвой. В последней операции он снова получил тяжелое ранение, второй боевой орден и был отправлен в госпиталь далекого прикамского городка, где пробыл почти полгода. Но затем, по странному стечению обстоятельств, в которых он тайно находил нечто закономерное, полковник Махотин был направлен в армию, которая впоследствии призвана была вернуть Советской стране любимый полуостров на Черном море..

Только теперь белогвардеец — не долговязый «черный барон», а множество барончиков и «взбесившихся лавочников», как неизменно называл фашистов Махотин, пачкали корыстью, пошлостью и кровью вечную красоту морского побережья.

И на этот раз полковнику Махотину пришлось немало повозиться с тем, что являлось одним из основных украшений крымского пейзажа: особенно взбесила его «высотка 7», где за слоновьи складками горного кряжа скрывался хитроумно укрепленный опорный пункт противника.

Отгородившись несколькими рядами колючей проволоки, держа под пулеметно-минометным огнем каждый метр площади, немцы, очевидно, чувствовали себя весьма прочно в этой неосмотрительно предоставленной им крымской природой горной крепости.

Данные разведки сообщали следующее: на небольшом сравнитель-

но протяжении, примерно метров в 100—150, немцам удалось создать довольно солидную систему укреплений. Живая сила противника располагалась в траншеях в две-три линии, сообщавшихся одна с другой. Через каждые 20—25 метров стояли блиндажи — укрытия с накатами и мешками в два ряда. Огневые средства размещены были между камнями в дотах и дзотах, имевших хороший обзор и обстрел. Можно было считать, что укрыто было не меньше десятка пулеметных, гранатометных и несколько минометных точек. Некоторые укрытия были так глубоки и так прочно защищены, что, вероятно, требовалось не менее трех-четырех прямых попаданий из тяжелых орудий, чтобы сокрушить их... А тут еще эта некстати разлившаяся паскудная речонка...

«Злорадствуют», — преисполняясь к немцам такой ненавистью, что от нее ломило в висках, думал Махотин, поглядывая на прелестный лилово-дымчатый, окутанный нежным весенним туманом горный крах.

Вместе с тем никак нельзя было давать волю этим так волновавшим его чувствам, а следовало спокойно, взвешивая каждую мелочь, каждое обстоятельство, даже то, которое еще не возникло, но в ходе дела могло возникнуть, тщательно продумать, а затем непременно осуществить задуманную операцию по овладению «высоткой 7».

Совместно с начальником штаба Махотин наметил и разработал план предстоящей боевой операции.

Положение осложнялось еще тем, что немецкое укрепление, дополнительно ко всему, было прикрыто «этой чертовой лужей», как дружно именовали в дивизии напоенную водами тающих на горах снегов, весело сверкавшую на весеннем солнце речку. И все же впоследствии Махотин вспоминал о ней с благодарностью. Последние данные разведки говорили ему, что немецкие укрепления и огневые точки ослаблены как раз в местах наибольшего разлива горной речки. Это и решено было использовать.

Создав видимость готовящейся переправы и даже возведения понтонового моста, что вызвало сосредоточение огня, а также основных сил немецкой обороны именно в этом пункте, Махотин приказал произвести скрытую переправу в ином и самом неожиданном для противника пункте.

По бурлящей ледяной воде переправлялись лучшие люди гвардейского полка, и мысль их старшего командира ни на минуту не отрывалась от них, от их судьбы и того дела, которое они были призваны совершить. Как скоро обнаружит противник место действительной переправы, успеет ли кто-нибудь за это время закрепиться на противоположном берегу, подоспеют ли во время и в нужном количестве резервы? — вот чему в эти мгновения были отданы все помыслы полковника Махотина.

Ему помогали воспитанные годами и особенно укрепившиеся, за годы этой войны спасительная сдержанность и спокойствие, которые иные из необстрелянных новичков принимали за «сухость», как они определяли эти качества своего командира.

Так и на этот раз неторопливо, внимательно выслушивая, принимал полковник Махотин донесения сызных, лично следил из траншеи КП за ходом операции и, как всегда, не повышая голоса, отдавал оперативные распоряжения, и, конечно учитывая любые изменения в обстановке и ходе боевой операции.

Судя по внезапному перемещению огня, противник вскоре все же обнаружил истинное направление удара, но сделал это именно с тем опозданием, на которое и рассчитывал, разрабатывая операцию, полковник Махотин. Бойцы, очевидно, уже успели выбить врага из передней полосы огневых гнезд; в наиболее активных точках вражеский огонь оборвался, и только укрытое где-то глубже тяжелое немецкое орудие методически и упрямо продолжало свою работу...

Теперь, когда исход операции был уже решен, — в этом бесполезном и назойливом обстреле тяжелыми снарядами, который в существе

дела уже ничего не мог изменить, Махотин видел нечто, правда, не безопасное, но прежде всего крайне досадное, бестолковое, и тупое.

Но тот же опыт войны научил его и теперь ждать любой возможности, любой непредвиденности, — так в детстве, вихрастым и босоногим мальчишкой, он все же знал, что надо опасаться недвижимой, растерзанной, даже полураздавленной колесами, но такой упорствующей, такой живучей змеи.

И когда он выполз из траншеи КП и сделал несколько шагов по изрытой каменистой земле, то услышал равнодушный, направленный прямо на него металлический, мертвенный стон снаряда, и через мгновение прямо перед ним к предутреннему сереющему небу взметнулся, — мгновенно напомнивший такую же минуту, — ослепительный и грозный разрыв. Детским движением, как бы защищаясь от слишком резкого света, Махотин прикрыл глаза руками. Когда же он открыл их, прямо перед ним были каменистые серо-желтые комья, на которых, — как он еще через мгновение понял, — покоилась его голова.. И, увидав бегущих к нему с отчаянными лицами начсанбата Воронкова и медсестру Лизу Коптяеву, полковник приподнялся на локтях и почти сердито, — как им показалось, — крикнул: — Жив!

Этот шальной снаряд был одним из последних. Успешно завершая операцию, бойцы добились немцев и в последнем каменном гнезде.

Махотин не был ранен, только около часа у него шла кровь из носа, над чем он подшучивал, да несколько ослабел слух. Впрочем, последствия контузии почти совсем прошли через сутки, а это было тем более кстати, так как за успешно занятой «высоткой 7» последовали высоты 8 и 9 и даже 10..

Но за ними открывался свободный путь к тому манящему побережью за Байдарскими воротами, где в июле сорокового года проводил свой последний отпуск полковник Махотин. Быть может, поэтому еще накануне полковник тщательно побрился перед маленьким, чудом уцелевшим в его полевой сумке, зеркальцем; приказал почистить мундир и надел ордена.

Но потаенную надежду, которая его волновала, Махотин считал настолько своим личным, а поэтому и никому в сущности не интересным делом, что до конца дня, не выходя из подвала, где спешно был размещен штаб, он продолжал заниматься неотложными служебными делами.

Впрочем, после освобождения этого городка дивизия была поставлена на кратковременный отдых, что после многодневных переходов и боев порождало в полковнике странное, почти тревожное чувство.

И все же только на следующее утро, внимательно оглядев когда-то искоженную вдоль и поперек, такую знакомую, а теперь изуродованную набережную с аккуратной дощечкой «Осторожно. Мины», Махотин пошел к зданию, где до войны помещалась десятилетка. Он шел, а глаза его невольно выискивали среди ненужных ему, скудно-невзрачных, как ему казалось, домов знакомые очертания. Когда-то вот по этому фасаду школы вились маленькие желтые розы. Над ними тяжело жужжали опьяневшие от солнца и меда пчелы. Теплый, живой аромат маленьких солнечных цветов смешивался с прохладным и мощным дыханием моря.. Одно такое маленькое ароматное солнце он даже увез с собой. На память..И внезапно перед Махотиным, как в сбывшемся сне, засияла знакомая стена, вся покрытая живым ковром маленьких солнечных цветов. Махотин обрадовался так, как не ожидал сам. Он ускорила шаг. И только подойдя совсем близко, он обнаружил все то же, что сопровождало его на всех путях и перепутьях войны: окна знакомого, увитого розами здания были выбиты, часть проржавленной крыши свисала с карниза, гряда щебня и битого кирпича лежала у вырванной двери. Три девочки с большой бельевой корзинкой искали что-то в этой гряде. Заметив Махотина, они поставили корзинку и с робким восхищением окружили советского офицера.

— Здравствуйте, товарищи,— с нарочитой серьезностью поздоровался с ними Махотин,— как бы вам тут, вместо грибов, на мину не нарваться...

— Мы не грибы,— засмеявшись и тотчас же спрятавшись за плечо подружки, сказала очень смуглая, черноволосая девочка с прозрачно-янтарными глазами южанка.

— Мы — металлалом.— сказала другая, рязански-белобрысая, курносенькая, в разбитых солдатских, очевидно немецких, будах на босу ногу.

— На восстановление школьного здания,— тверже сказала третья постарше, рыженькая, в выцветшей тюбетейке, на которой была приколота погнутая, с побитой эмалью, очевидно подобранная где-то красноармейская звездочка.

— Вы что же, выходит, здесь учились? — спросил командир.

— До немцев,— сказала старшая девочка в тюбетейке со звездочкой.— Еще при нашей власти...

— А теперь снова будет десятилетка. Нам Марь Ванна сказала,— добавила рязанская.

— А кто это будет Марья Ивановна? — любознательно спросил командир.

— Это преподавательница наша, математичка, ее немцы на расстрел водили...— важно сказала девочка с янтарными глазами.

— Вот как!— сказал Махотин.— За что же?

— За Пал Павловича. Он у нас тоже преподавателем был,— ответила белообрысенькая.— Его-то совсем убили...

— Муж ее... Павел Павлович... очень хороший. Старенький совсем...

— И под обрыв его сбросили,— добавила девочка со звездочкой.

Помолчали. С моря донесся взрыв, за ним другой. Казалось, солнечно-желтые цветы вздрогнули на тонких, гибких стеблях. Но люди были задумчивы и спокойны,— звук этот был уже для них не нов: это саперы продолжали расстреливать пловучие мины.

— Скажите, товарищи,— со странной, не идущей к нему затрудненностью начал Махотин.— А вы случайно таких Куроченко не знали? Сестры такие... Оля и Лена?

Девочки перегагнулись.

— Они из Джанкоя приехали? Высокие такие? Черные? — спросила старшая.

— С собакой ходили...— оживляясь, поддержала курносенькая.— Черные? Красивые?

— Средние,— Махотин даже покачал головой.— Средние...

— Черные, с собакой — это другие,— сказала смуглая девочка.— Это из Одессы... Вот, может, дедушка скажет, он тоже здешний...

Ощупывая неровную мостовую палкой, мимо проходил старик в длинном балахоне из грязной парусины, с пустой, грязной кошелкой в руках.

— Куроченко, дедушка, таких не знаешь? — спросил Махотин, когда слепец поравнялся с ним.

— Слышал,— не сразу ответил старик; невидящие глаза его спокойно и мертво отражали утренний блеск.— У Нижнего ручья жили? При саде? Агрономова дача?

— Да, да, у Нижнего ручья...— торопливо, точно боясь, что старик, как призрак, исчезнет, ответил Махотин.— У самого Нижнего ручья... Высокие кипарисы там... Садик... Где они теперь?

— А кто ж их знает,— помолчав, ответил слепок.— Знаешь, народ как поразбросало... не соберешь... А ты из России будешь? Кудиновку, Орловской области, не проходишь? Никаноровых, Петра и Егория часом не встречал? Один военносуджающий, другой — тракторный водитель, отчеством — Александровы... Не встречал? Внуки мои...

Нет, Кудиновку Махотин не проходил и Никаноровых, Петра и Егория, не встречал... Но сам он был тревожно рад — те, кого он искал, все же жили здесь, их знали, их видели, они действительно суще-

ствовали в жизни, в мире, на этой земле, и не являлись, — как ему это начинало казаться, — милым, но уже полузабытым сновидением...

«Агрономова», как назвал ее старик, дачка у Нижнего ручья находилась не очень далеко; и хотя Махотин понимал почти полную безнадежность поисков семьи Куроченко в опустошенном городке, он все же неожиданно ощутил, что не может отказать от этих бесплодных поисков...

— Да вот Ахметка пушай вас проводит, а то там по шоссе мины были, — ему здесь все тропы известны. До агрономовой дачи путь простой... Ахметка! — крикнул старик, очевидно зная, что тот находится недалеко.

Мальчик не старше восьми лет, как маленький солдат, покорно вытянулся перед полковником. И в том, как испуганно-готовно стоял перед ним, советским командиром, восьмилетний ребенок, молча глядя ему в лицо, Махотин безошибочно узнавал то унижение и страх, которые внедряли в души свободных людей «взбесившиеся лавочки». И он снова почувствовал прилив такой глубоко личной и такой знакомой к ним ненависти, что только стиснул зубы.

Но не без облегченья он уловил, что и лица девочек, которые, очевидно, еще отлично помнили «нашу власть», также отразили тягостное и стыдливое смущение при виде этого из всех силенок тянувшегося перед военным мундиром малыша...

— Вот что, уважаемый Ахмет, — сказал Махотин серьезно. — Если располагаешь временем, прошу тебя, проводи-ка меня к Нижнему ручью... Агроному дачу знаешь?

— Знаю.

— Чудно. До свиданья, девочки! Про мины не забудьте!

— До свиданья, товарищ командир! — прозвучал ответ. — Счастливого вам пути!

Мальчик, не оборачиваясь и не обращаясь к Махотину с какими-либо вопросами, как маленькая заведенная машинка, шел впереди. Его смуглые, почти до лилового отлива, ноги так и мелькали покорно и торопливо по каменистому шоссе, напоминая командиру читанное им когда-то о маленьких рикшах и кули...

И все с той же грустью командир отводил глаза от этой маленькой, преисполненной служебным рвением фигурки и любовался тем великолепным и вольным торжеством южной весны, что с каждым поворотом дороги раскрывалась перед ним.

Места шли искрошенные, знакомые... Не один год лелеял он их в памяти... Вот у этого бука, на плоском лиловом камне, они однажды развели костерчик, и Оля жарила на крошечном вертеле, сделанном из разогнутой английской булавки, маленькую барабульку; здесь, у поворота на эту тропинку, была потеряна ее панاما. Они в сумерках долго искали ее. А вот здесь должен быть одинокий, полосатый, с громадными желто-зелеными буквами, киоск «Пиво, воды»... Однажды в этом клоунском киоске они пережидали такой страшный ливень, что, казалось, весь Крым сплошным потоком унесется в море. Этот пестрый киоск — плод первых, неумелых попыток советской рекламы — стоял как раз на полпути между городком и Нижним ручьем, и когда-то они часто, очень часто отдыхали на его ступеньках... Но нелепо-веселый знакомый киоск неожиданно глянул на полковника таким сумрачным, чуждым и даже страшным лицом, что Махотин невольно, точно споткнувшись, остановился. Стены киоска были обуглены, на крыше согнулись листы железа, вместо окон и дверей зияли черные провалы.

— За что это они его... так? — как о человеке захотелось спросить Махотину. И не было труда он удержался от этого нелепого вопроса...

Но вот знакомый Махотину ручей, миндальная, плавающая в розовом цветку рошица, а за ней и знакомые ему серьезные и молчаливые кипарисы.

Да, он уже отчетливо видел пики трех старых кипарисов, что стройно стояли у самых дверей знакомой дачки... Они попрежнему,

как верные стражи, высились тут же, но за ними зияла та пустота, в которую невозможно было поверить, которая была неправдоподобна.

И старуха, собиравшая в заброшенных садах хворост, долго исподтишка наблюдала за военным, который, прислонившись к кипарису, не отрываясь, недвижно смотрел на мусор и битый кирпич.

— Бабушка, тут такие Куроченко жили? — наконец, заметив ее, спросил военный.

Нет, этого она не знает, она ведь не здешняя, из карасубазарских, еще при немцах с голоду пришла к своим родным сюда, но и они померли с голода. А мало ли за это время перебивало здесь разного народа? А померло и того больше... Так что таких она совсем не знает и даже не слыхала. Да, самых обычных, самых ничтожных признаков теплого человеческого жилья не обнаруживал его взгляд. Даже алый доскуток среди развалин, который, обрадовав и испугав его, померещился ему клочком знакомого красного сарафанчика, оказался полевым маком, случайно поднявшимся среди мусора и тлена пепелища.

Обратный путь был безмерно долг и утомителен.

Солнце поднялось и окрепло. Воздух был напоен горьковато-миндальным ароматом разомлевших на солнце глициний, роз и жасмина. Отчетливо видимое с дороги, которой он возвращался, море весело всплескивало тысячами маленьких серебряных веселых ледошек. И среди этой ослепляющей мелкой суеты медленно перекатывались толстые живые колеса дельфинов.

«Симпатичные уроды», — вдруг отчетливо прозвучали в памяти полковника бережно хранившиеся там слова...

И Махотина всего точно шатнуло от радостного, но горько-щемящего чувства.

Где же этот раздумчивый голос? Где эти милые слова? Где гордость и смирение великолепных глаз? И не их ли искал он под этим щедрым и свободным, но пблекшим для него сейчас небом?

Как утомляло его теперь это роскошное, бесплодное сияние, это изобилие бездушной пышности, блеска! А этот, когда-то знакомый киоск, — как шутовски страшен был он в беспощадном сиянии ослепительного дня. И с каждым шагом по белой крымской раскаленной дороге полковник чувствовал возрастающую мучительную неловкость во всем теле — очевидно, следствие недавней контузии — и безмерное желание скорее притти и отдохнуть.

Но в штабе, когда он вернулся, заканчивала работу трофейная комиссия. Махотин выслушал доклад о количестве захваченного у противника военного имущества, а затем принял только что спустившегося с гор командира партизанского отряда, давно известного ему под кличкой «Орёл».

И только когда Махотин крепко обнял командира партизан, о подвигах которого он слышал так много, он точно очнулся от призрачного, тяготившего его полусна.

Впрочем, ничем особо романтическим внешность командира партизан не отличалась. В чуть припадающем на ногу, обросшем рыжеватой бородкой человеке, одетом в комическую куртку из маскировочного материала, трудно было признать «Орла» Крымских гор. Но Махотин знал дела этого человека и с особенным любовным вниманием вглядывался в лицо бывшего младшего техника Керченского консервного завода.

— Здорово вы их, — почти одновременно начали одну и ту же фразу командир отряда и Махотин, и оба рассмеялись. С той же любовной пристальностью вглядывался командир партизан в лицо полковника Махотина; с жадностью расспрашивал о том, что творилось на Большой земле. Как о чем-то обычном, само собой разумеющемся и даже обыденном, рассказывал о борьбе своего героического отряда... Но когда командир уже собирался уходить, Махотин спросил его, наконец, и о том, что тенью легло на сегодняшний ослепительное утро.

— Скажите, товарищ, а Куроченко — таких вы случайно не знали?

— Куроченко? Ольгу Алексеевну Куроченко? — словно удивляясь тому, что кто-то может не знать этого имени, еще раз переспросил командир. — А вы что же, товарищ полковник, родственник ей будете?

— Нет, знакомый. — сказал Махотин поспешно, — просто хороший знакомый...

— Вот как. — все с той же грустной почтительностью сказал партизан. — Надо нам об увековечении памяти поговорить...

— Почему же... памяти? — спросил полковник, чувствуя, что ответ будет ужасен для него. Но он уже вступил в мир несообразностей, в котором девочку Куроченко называют «товарищ Куроченко», «Ольга Алексеевна», и даже что-то связанное с ней предлагают «почтить».

— Мы тогда же выпустили в отряде специальную листовку, — продолжал рассказывать все о том же непонятном и недопустимом командир, — и целиком посвящали ее товарищу Куроченко.. Но теперь, конечно, и в центральной прессе хорошо бы...

— Что... хорошо бы? — все еще отстраняя от себя окончательную несообразность, спросил полковник.

И, очевидно, было в его глазах нечто такое, что «Орел», точно провинившись, смущенно кашлянул и даже без особой нужды снял, осмотрел и снова надел свою лохматую папаху.

— Подробности героической гибели Ольги Куроченко вы лучше всего узнаете у товарища Максимук или у учительницы Марии Ивановны Ляминой. Это местные работники и личные друзья Ольги Алексеевны. У нас они работали по связи с городом.. А пока, товарищ полковник, всего, — как-то осторожно взглянув на полковника и крепко пожав ему руку своей небольшой, но сильной рукой, попрощался партизан.

Товарища Максимук полковник уже знал. Это была приземистая, стриженная, немолодая украинка, невероятной энергии, с лицом и повадками такой типичной женотделки прошедших лет, что казалось прямо невероятным, как она могла хотя бы в течение одного дня уцелеть на фашистской территории. Но, вероятно, в соответствующем платье она не плохо сходила за одну из «матрешек», как в своих безграмотно-нелепых листовках немцы презрительно именовали русских крестьянок.

Товарищ Максимук уже просила Махотина дать людей, чтобы проверить «насчет минок» одно из уцелевших зданий города. — там она проектировала хотя бы временно разместить детей партизан — тех, кого война сделала круглыми сиротами. Махотин удовлетворил ее просьбу и, глядя вслед этой приземистой седовласой женщице, энергично шагавшей впереди группы саперов с уже добытым ею где-то брезентовым портфельчиком, еще раз подумал о том, каким мертвым, неприжившимся «диким мясом» были фашисты на вечно живом, полнокровном теле его страны...

И когда на другой день утром Максимук зашла к нему уже с новым вопросом — о возможности использовать транспорт его дивизии для перевозки слабых и больных детей в организованный детский дом, — Махотин, удовлетворив и эту ее просьбу, помолчав, спросил о «товарище Куроченко».

— Оленька? — уже не называя ее «товарищ Куроченко» или «Ольгой Алексеевной», горестно-ласково воскликнула Максимук. — Так кто же не знал ее, нашу Оленьку?.. А вы что же, товарищ полковник, родственник ей или просто... интересуетесь? — спросила она.

— Интересуюсь, — ответил полковник.

— Замечательный человек была, — строго сказала Максимук. — Если разрешите, забегу вечером, все расскажу, товарищ полковник... Да, настоящий человек была... И убивали-то как ее страшно... Так вечером я забегу... Или еще лучше, — секунду подумав, сказала Максимук, — я родственницу ее к вам пришлю — тетю ихнюю, она лучше моего вам все расскажет..

— Тетю? Серафиму Ивановну? Так она жива?

— А вы и ее знаете? — обрадовалась Максимук. — Чудесная старушка.. а как нам помогала! Да вы все сами узнаете..

То, что тетя Сима жива, было еще допустимо, но то, что она, как видно, даже партизанила, было уже трудно, почти невозможно себе представить. Впрочем, война приучила полковника ничему не удивляться и не задавать ненужных вопросов.

— Так скажите, товарищ Максимук, Серафиме Ивановне, что старый ее знакомый, Сергей Васильевич Махотин, хотел бы как можно скорее с ней повидаться.. Или, еще лучше, передайте ей вот эту записочку..

Он быстро черкнул на листочке из блокнотика.

— Сюда ко мне пусть проведут.. Есть, товарищ Максимук?

— Есть, товарищ полковник!

2

Олю убивали. Даже не просто, а страшно.. Убивали Олю.. Слова эти казались настолько неправдоподобными, что, не вызывая никакого реального представления. Конечно, Махотина старательно пытались убить, и сам он убивал. Но это были специально обученные, подготовленные к этому взрослые люди. Но вот Олю убивали.. «Олю убивали.. Олю убивали..»

Конечно, он отлично знал и сам уже столько раз видел, что они убивают женщин, стариков, детей.. Он знал это и видел. Но Олю — нельзя было убивать.. Это невозможно было себе представить. К ней это не «шло».

«А если бы это случилось со мной? Это легко представить? К тебе бы это «шло?» Да, гораздо больше, гораздо больше.

Оля была особенная. К ней вообще мало что «шло». Часто, глядя на ее блестящие черные и короткие, как у мальчишки, волосы, с чуть приметным хохолком на макушке, он сам, толком не зная почему, потихоньку про себя улыбался.. И раз даже соболезнующе назвал ее «дурочка», — на что она, впрочем, не обиделась. Невозможно было представить себе ее ни взрослой, замужней, солидной дамой, ни какой-нибудь деятельницей науки и просвещения, ни озабоченной домашней хозяйкой, — вообще трудно было ее представить по-настоящему взрослой. Но теперь ее называют «товарищ Куроченко», «Ольга Алексеевна», и вот ее — убили.

«Симпатичные уроды», — снова зазвучал для Махотина далекий милый голос. И таким непереносимым жаром обдало его с ног до головы, что даже лицо его увлажнилось от пота, хотя в подвале, где размещался штаб, было прохладно. Но, как всегда, не делая ненужных и суелавых движений, полковник, не торопясь, так, как если бы за ним наблюдали посторонние глаза, очень свежим платком крепко вытер лицо.

Скоро его часть покинет этот чудесный уголок, где когда-то ему было так хорошо.. Их ждут все те же, но всегда новые бои, новые пути.. Свое дело здесь они уже сделали.. Крым почти целиком очищен от врага. Крым освобожден. Надо думать о завтрашнем новом дне.

Вчера в приказе, прозвучавшем на всю страну, Махотин с изумлением, смущением и радостью услышал и свое, на мгновение ставшее как бы чужим и таким почетным, имя. В жизни его не слишком много было таких удивительных мгновений. Почти невольно он встал и вытянулся, как бы перед взором того, чья подпись от имени родины скрепляла приказ..

Когда-нибудь он подробно и внимательно разберется в чувствах и мыслях этого удивительного дня — так были они стремительны и сложны..

«Вы, товарищ Махотин, замечаете только все государственное», — снова зазвучал знакомый голос, знакомые слова..

Нет, вот с этим обстояло не совсем так. Возможно, это было пло-

хо, но дело обстояло не совсем так. Здесь, куда он так стремился, не оказалось одного человека, и вот это сияющее небо, это живое, блестящее море странно поблекли для него...

Хотя бы скорее пришла Серафима Ивановна.. Когда она придет, все, наконец, должно выясниться.. Он, например, сможет подробно расспросить Серафиму Ивановну обо всем, что касается...

Но что, собственно, это изменит?

«Больше всего— люди боятся правды»,— вспомнил он еще одну ее фразу...

Она любила, глядя прямо в глаза, очень сурово и взыскательно, говорить подобные фразы.

«Крутинки мудрости из отрывного календаря,— дразнил он ее.. И еще называл он это, не без иронии— главным образом в педагогических целях — «кустарной философией»..

— Пусть кустарное, но мое,— с выражением замкнутого, но непреодолимого упорства, довольно часто сковывавшего ее, обычно такое подвижное, лицо, отвечала Ольга..

— Все мое — чудесно,— подшучивал он.

— Нет, может быть, и глупое, но мое,— упрямо повторяла она, и снова разгорался обычный между ними спор, где речь шла о коллективизме и индивидуализме, личном и общественном, о новом человеке и старом человеке и даже — о Лермонтове и Пушкине..

Махотин предочитал Пушкина.

— Это потому, что его юбилей так отпраздновали и потому, что ему много памятников, и в школах его очень прорабатывают, и еще все такое...— сердито говорила она.

— Это потому, что вам семнадцать лет,— совершенно равнодушно, опять-таки преследуя педагогические цели, говорил он.

— Какой вы правильный, какой хо-о-о-роший,— скучно растягивая слова, отвечала она.

— А вы вот постарайтесь,— все с тем же педагогическим спокойствием стечал он.— Это не так просто.

Смешно, но спорить они начали с первого же дня знакомства. И спор этот продолжался, пожалуй, вплоть до дня его отъезда. Да и познакомились они не совсем обычно..

И перед Махотиным с удивительной отчетливостью, вплоть до пустого крабьего панцыря на песке, встал крошечный зеркальный заливчик между двух морщинистых, лилово-дымчатых, древних камней. Он открыл его далеко от обычных, искоженных, людных курортных мест и мысленно назвал его «Бухтой Махотина».

Он удивлялся и даже несколько стыдился того, что способен часами наблюдать за движением, игрой и вечной жизнью моря.. Эта же способность просыпалась в нем, когда перед ним были маленькие дети, зверьки или птицы..

— Ты где, Махотин, пропадаешь? — подмигивая, спрашивал его сослуживец, некто Ковшов, очень полный, обычно робкий с женщинами, отличный семьянин, который на курорте почему-то считал нужным казаться фривольным и даже порочным.

Махотин, не отвечая, соболезнующе смотрел на лиловый платочек, уголок которого кокетливо выглядывал из пиджачного кармашка кургузенького штатского костюма подполковника Ковшова.

А он действительно, как на свидание к возлюбленной, спешил к золотой бухточке, зажатой каменными морщинистыми лапами. Лежа на песке, он перебирал веселявшие его пестрые, удивительно чистой окраски камешки, курил, насвистывал, а больше всего думал и вспоминал..

Чаще всего вспоминал почему-то свою рано умершую мать. Глаза у нее были синие и молодые, как эти ласковые просторы.. Но в деревне в двадцать семь лет ее уже окликали «Митревна», ходила она смиренно, по-старушечьи, повязавшись до бровей убогим темным платочком, и вряд ли могла даже представить себе такое количество собранной в одном месте воды..

Иногда же он просто дремал, лежа в одних плавках на песке. Но вот, однажды, в бухточке, которую он уже немножко считал своей собственностью, сквозь дремоту он услышал голоса... Переговаривались лениво и непринужденно за одним из его же камней, очевидно, также нежась на горячем песке и едва ли подозревая об его присутствии...

— Удивительно глупое море.. Лазурное.. Ты понимаешь, что такое лазурное? — лениво спрашивал мальчишеский голос.

— Голубое, — покорно отвечал другой, нежный и почтительный.

— Вообще никто никогда ничего не видел лазурного, — настаивательно сказал мальчишеский голос. — Но так принято восхищаться — дая красоты. И у красавиц из книг всегда «лазурные очи!». Как у тебя...

— У меня серо-голубые...

— Это неважно. По существу ты типичная девушка с «лазурным взглядом»...

— Оставь меня в покое, пожалуйста.

— Разве ты когда-нибудь испытываешь беспокойство?..

— И не умничай, пожалуйста!

— Какие слова! Для твоего лексикона, дорогая, это ново!..

— Да и Марья Ивановна говорит, что ты умничаешь... и все... — поспешно, с придыханием, очевидно волнуясь, но все также мягко продолжал мелодичный голос.

— Марья Ивановна ошибается, — с нарочитым спокойствием прозвучал ответ. — Кроме того, о всех мыслительных процессах Марья Ивановна может судить исключительно понаслышке. А «все», как вы изволили заметить, — это тетя Сима, тетя Сима и тетя Сима...

— Что же! Она нисколько не глупее тебя.

— Допускаю. Но я ведь не негодую на нее за это?

— Оставь, пожалуйста, меня в покое.

— Испытанный аргумент!

Махотина так заинтересовал этот спор двух голосов, что он незаметно подвинулся к камню, чтобы заглянуть за него. Кто эти Ленский и Онегин? Как они очутились здесь? Что делают?

Но неожиданно из-за камня появилось и пошло к самой воде золотисто-розовое существо. При первом же взгляде Махотин понял, что значит быть «по существу» голубоглазой девушкой. Боязливо, с бессознательной прациозностью, золотоволосая девушка дотрагивалась до воды кончиками пальцев.

— Смелее, мой ангел! — крикнул все тот же мальчишеский голос. — За мной!... — и что-то пронеслось к морю, исчезло, и через секунду над поверхностью воды, блистая на солнце, показалась мокрая, черная, точно лакированная, мальчишеская голова...

За мальчишку принимал Махотин ее до тех пор, пока она не подошла к нему, в мокром, прилипающем к телу, коротком, грубополюотна и даже кое-где разорванном платье, очевидно заменявшем ей купальный костюм.

На вид ей можно было дать пятнадцать-шестнадцать лет; хотя девушка была довольно высока, но несколько голенаста, длиннонога, худая — как это и бывает обычно у подростков. Очень смуглая кожа, яркие губы, сверкающие зубы, смоляные блестящие короткие волосы и освоенный разрез темных глаз, которые довольно бесцеремонно разглядывали его, делали ее похожей на мальчика-мулата.

Его присутствие здесь, в свою очередь, очевидно, очень удивило девушку.

— Вы кто? — как-то по-детски спросила она.

— Я пришелец из лазурного мира, — загробным голосом, неожиданно для себя, ответил Махотин. — Я рожден морской пеной.

Обычно он бывал не очень смел и находчив в обществе женщин; порода так называемых «настоящих дам» просто пугала его, но эти серьезные и мокрые девочки никак его не стесняли. Ему с неизведанной силой хотелось шутить, смеяться, даже петь...

— Какого мира? — без улыбки спросила черноволосая девушка.
— Который придумали люди, — все тем же глубоким и значительным голосом ответила Махотин, — чтобы украсить свою жизнь!..

— Не верю... Наверно, вы управдом или управдел, — резко сказала черненькая девочка, и глаза ее блеснули.

— А вы что же думаете, что это обидно? — внимательно взглянув на нее, спросил Махотин.

— Не обидно, а как бы вам сказать... скучно... — подумав, ответила девушка.

— А что же не... скучно? — заинтересовавшись этим серьезным тоном, спросил Махотин.

— Ангелы, черти, русалки и ведьмы, — скороговоркой ответила девушка. — Идем, Ленка!

— А кто же вы? — спросил Махотин. — Прелестные русалки?

— Учасься школы второй ступени, — сухо ответила смуглая. — В общем — девицы... — с подчеркнутой небрежностью добавила она. — Анкету заполнить? Или необходима справка домоуправления?..

— Оля, она вот всегда так... До свиданья... — вежливо кивнула кудрявой головкой «по существу» голубоглазая девушка. — Только знаете, это раньше было всегда наше место — и Оля сердится.

— А я, представьте, предполагал, что это мое, и даже моего имени... Особенно вот это местечко — у камня...

— И камни ваши? И солнце? И крабы? — спросила смуглая. — Слишком много для одного человека. Впрочем, солнцем я еще могу разгрести вам иногда пользоваться на вашем балконе... Елена, идем!

— Это щедро!

— Я не мелочна...

Так состоялось его первое знакомство с сестрами Куроченко. Но через день они снова встретились в «бухте Махотина», затем еще и еще...

— А я знаю, кто вы, — как-то сказала Леночка, — к этому времени Махотин называл ее так, — и хитро прищурила светлые глазки. — Вы — не из лазурного царства...

— А откуда же я? — недоумевал Махотин.

— Из РККА...

— Дальневосточник, — как-то задумчиво, глядя на него, подтвердила ее сестра. — Командир Красной Армии...

— Ну, а это, по-вашему, тоже... скучно? Или хорошо? — спросил Махотин.

Не отвечая, девушка опустила на песок и застыла в любимой своей позе, делавшей ее еще более похожей на мальчика, обхватив поднятые к самому подбородку колени смуглыми тонкими руками и положив на них черную стриженую голову. Глаза ее недвижно и как бы вопрошающе были устремлены туда, где незримо сливались небо и море.

— Хорошо или плохо? — медленно переспросила она, не отводя затуманенных глаз от морской дали. — Это зависит только от одного...

— От чего же? — полюбопытствовал Махотин.

— От того, какой это командир, — выделив слово «какой» и все так же не двигаясь, ответила она.

— Всегда придираешься, — воскликнула Леночка. — А я страшно рада, что вы командир-дальневосточник, и тетя Симочка тоже про вас знает и просит вас зайти завтра к нам на пирог!

— Рад приглашению, — поклонился Махотин, — если, конечно, королева не возражает. — Вступив в тайный союз с Леночкой, они нередко так именовали ее старшую сестру.

— Приходите, — точно не расслышав шутки, просто и тихо сказала Ольга.

В иные минуты она становилась так тиха, что ее можно было «прямо руками брать», как выражалась тетя Сима.

И на другой день Махотин, в полной военной форме, заменившей бесформенную санаторную пижаму, и даже при ордене, на что он

решился, впрочем, не без некоторого колебания, отправился на дачу к новым знакомым.

Он проделал весь этот, впоследствии такой знакомый, путь. — мимо неслепого и веселого, как клоун, полосатого киоска «Пиво, воды», мимо ручья и миндальной рощицы, прямо к сумрачным, точно чугунного литья, кипарисам, что высились у самой двери белой, приветливой дачки.

— Боже мой, товарищ Махотин какой вы интересный! — воскликнула Леночка, увидев его. Хорошенькие ручки ее были в муке, вероятно, она еще не кончила хозяйственных хлопот. — Посмотрите, Оля, тетя Сима, какой он интересный!

— Восхитительная терминология: «интересный», «ухаживает». «кавалер». — холодно заметила ее сестра. Затем сурово-критически, без малейших признаков какого-либо волнения, осмотрела гостя. — Ничего себе, — сказала она. — Только вот сапоги слишком блестящие..

Сама Ольга, как она это чаще всего делала именно в праздничные, чем-либо отмеченные дни, была одета даже хуже обычного — в татарских чувыках на босу ногу, в ситцевом, сильно вылинявшем, очевидно, когда-то алом сарафанчике.

— Нам старикам, хоть этим брать. — улыбнулся Махотин. — А вот вы, Оленька, и в этом сарафанчике прелестны.

Иногда вместо «королевы» он называл ее — и тоже не без полемичности — «Оленька».

В этот же день первого посещения Махотин познакомился и с Серафимой Ивановной Куроченко, «тетей Симой», у кото ой и проживали девушки.

Если можно говорить о привлекательности и даже милостивости пожилого возраста, то тетя Сима в полной мере воплощала это явление. Стоило подполковнику взглянуть на эту кругленькую фигурку в ситцевом, но удивительно свежем платье, на эти полные, забеленные мукой ручки, увидеть эту от сердца идущую, задушевную улыбку, чтобы самому почти непроизвольно улыбнуться в ответ.

— Та мы ж знакомые, — певуче, по-украински, сказала толстенная женщина, сияя глазами, которые казались такими же молодыми и вакильковыми, как у Леночки. Да и вся она чем-то неуловимым была так похожа на свою младшую племянницу, что казалась ее портретом в преклонном возрасте.

— Я ж каждый день слышу про товарища подполковника от моих девочек. — и глаза тети Симы с такой добротой обратились к племянникам, что сразу стало ясно, что тетя Сима действительно до сих пор видит в них только малолеток и обиженных сироток.

— Девочки, собирайте на стол дорогому гостю. А вы не обессудьте, товарищ подполковник, домашним угощением.

И через несколько минут, миновав необходимость предварительных и при таких обстоятельствах обычно ничемных разговоров, Махотин наслаждался чудесами домашнего угощения — голубцами в виноградных листьях, замечательно пышным пирогом из аяриковосв и слив и крепкой золотистой настойкой, выдержанной, как пояснила тетя Сима, на лепестках розы..

С этого дня он ближе стал к семье Куроченко и многое узнал о них.

Рано потеряв отца и мать, Ольга и Елена Куроченко росли и воспитывались у сестры отца, Серафимы Ивановны. Достатки были небольшие. За общественные и трудовые заслуги отца, агронома Куроченко, его детям была назначена «вплоть до окончания высшего учебного заведения» небольшая пенсия. Серафима Ивановна проявляла чудеса хозяйственности на небольшом дачном участке, также закрепленном за сиротами Куроченко. Как вскоре убедился подполковник, на небольшом этом цветущем участке было все, начиная от укропа, до высших сортов крымского табака. Служила Серафима Ивановна кастеляншей в одном из санаториев. Помогал сиротам,

хотя и нерегулярно, и какой-то «дядя Миша», обитавший в Елабуге... А в последнее время Леночка научилась вывязывать «почти как заграничные», как она выразилась, кофточки и береты... Кроме того, Леночка приобрела «твердую специальность», обучалась на заочных курсах стенографии...

И еще был у Леночки очень точный и удивительно чистый голосок, и, очевидно, вывязывая кофточки и изучая стенографию, она тайно мечтала о консерватории, пока что ограничиваясь коллекционированием фотографий знаменитых вокалистов — от Собинова до Лемешева.

К какому роду деятельности чувствовала склонность ее старшая сестра, пока было неизвестно.

— Я и тетя Сима уверены, что ты будешь какой-нибудь... знаменитостью... — нередко говорила Леночка, и ясные глаза ее сияли самоотвержением любви...

— Не ври, пожалуйста, — демонстративно пожевывая, отвечала ее старшая сестра. — Ты и тетя Сима — «великие утешители». Не иначе — буду инкассатором...

— А вы знаете, что такое инкассатор? — как-то с любопытством спросил ее Махотин.

— Нет, не знаю, — усмехнулась Ольга. — Но это и неважно...

Она очень любила это слово «неважно» и применяла его к различным явлениям и фактам, тем самым как бы снимая с себя обязательство более веских и убедительных доказательств.

— Почему же... неважно? — пожал плечами Махотин. — На свете все важно.

В вечер его первого посещения был удивительной красоты и нежности закат. Его теплые, чистые, как на развертывающемся бутоне чайной розы, краски послушно повторял недвижный водный простор. Не сговариваясь, точно по молчаливо полученному ими приказу, они пошли к морю и остановились у самой воды, легко набегавшей на розоватый песок.

— Море теплое, теплое — точно шарное, — мечтательно сказала Леночка...

— Оставь ты свои кулинарные сравнения, — небрежно заметила Ольга, — а то разбазарят по кружкам на рынке наш «морской простор».

— Вы, Оля, что-то мрачно-судите об устремлениях рода человеческого, — улыбаясь, сказал Махотин. — А я так замечаю, что людьми наличие на земной поверхности подобных вещей не только ценится, но делается почти все — и особенно у нас — для полной их сохранности. И совсем не только в каких-либо узко практических целях...

— А для красоты! — воскликнула Леночка.

— У меня как раз товарищ работает в комиссии по борьбе с оползнями Крымского побережья, — продолжает Махотин, — так знали бы вы, как они там в поте лица отстаивают все эти «чарующие пейзажи», которые имеют вредную тенденцию сползать к морю...

— Вероятно, мечтают о расширении табачных или каких-нибудь кок-саговых посадок, — небрежно ответила Ольга. — Нам Пал Палыч как-то сообщил, что человек состоит из азота, кислорода, железа и еще там каких-то химикалиев и что, мол, из любого гражданина при желании можно извлечь, скажем, несколько штук гвоздей, свечей, или отличное туалетное мыло.

— Не знаю, кто этот Пал Палыч, — вы как-то говорили, он у вас по обществоведению еще в младших группах был? Также не знаю, к чему и как он эти выкладки делал, — но все же думаю, что вопрос им ставился как-нибудь иначе, чем вы говорите. Да и не мог он так неграмотно, например, кислород и азот причислять к «химикалиям», как вы выразились... Ваш преподаватель — человек, надо полагать, все же грамотный.

— Это неважно... — начала было Ольга.

— Почему же? — невозмутимо сказал Махотин, — и это важно... А еще скажу я вам, уважаемая Оленька, что нередко именно те, кто

вопит о нашей узости и практицизме, в тайне души сами меряют все на рубли и копейки. А еще больше — скорбят об утрате их царства.

— Мне ни рубли, ни копейки, ни, тем более, все их копеечное царство не нужно. — высокомерно сказала Ольга. — мне все это не важно...

— А что же вам... важно? Что нужно? — улыбаясь, спросил Махотин...

Девушка стояла на камне, вся точно устремившись вперед.

И такой, устремленной навстречу свежести и силе моря, со светившимися невеселой гордостью глазами, он надолго запомнил ее.

— Весь мир! — все так же, не отводя глаз от моря, кратко сказала Ольга и повторила, как бы проверив справедливость своего ответа: — Весь мир!

Когда они вернулись на дачу, Леночка осталась помогать с уборкой тете, а Ольга, демонстративно накинув потрепанный платок на плечи, пошла проводить Махотина. Они шли каменистой, смутно белозшей в темноте дорогой. Изредка подполковник вынимал ручной фонарик и освещал путь. Очевидно, оба или устали, или трудно было подвигаться в темноте, но некоторое время шли молча.

— Ну, как тетя Сима? — спросила, наконец, Ольга. — безыдейная сбывательница?

Махотин уже имел возможность убедиться, что, допуская покровительственный и порой даже высокомерный тон со своими близкими, Ольга ревниво и мнительно следит за тем, с должным ли, по ее мнению, уважением относятся к ним посторонние.

— Оля, зачем вы?.. — прервал он ее.

— Что зачем? — вызывающе спросила девушка и даже приостановилась.

— Зачем вы считаете или делаете вид, что считаете меня идиотом? — спросил Махотин, тоже приостанавливаясь.

— Вы ошибаетесь, — без всякого замешательства, очень спокойно ответила девушка. — Я не считаю вас идиотом. А просто вы, — как бы вам сказать... слишком... правильный.

— Правильный? А что же это... плохо? «Скучно», как вы изволите выражаться?

— Да, пожалуй, — добросовестно согласилась Ольга. — Только вы, товарищ Махотин, пожалуйста, не обижайтесь и не читайте мне нотаций или лекций по политграмоте.

— Ну, хорошо, допустим. Только вы мне все же скажите, а что же, по-вашему, на этом свете весело?

Они сели на камень, который таил еще дневное солнечное тепло.

Ночь была крымская, такая темная, что только яркие звезды обозначали в сплошной темноте небо, да там, где изредка медленно продвигались оранжевые и зеленые огоньки, очевидно было море.

— Вот вы, Оля, все критикуете, над всем не прочь посмеяться — от ушравделов до Пушкина... — стараясь избежать хотя бы малейшей нравоучительности в тоне, сказал Махотин. — Девушка вы неглупая, вероятно, умнее многих ваших соучениц и сверстниц, — в этом, мне кажется, вы не заблуждаетесь, — для своих лет читали, видимо, много. Говорите вы легко, хорошо умеете пошутить, поиграть словами. Тетя Сима и Леночка преклоняются перед вами и немножко побаиваются. Охотно также верю, что вы нередко ставите в самое дурацкое положение хотя бы вот этого ненавистного вам молодого человека с собачьей кличкой (Махотин имел в виду известного ему по рассказам Ольги сына знаменитого архитектора Джэка Кошкодамова, которого Ольга неизменно характеризовала как выдающегося пошляка и бездельника). Все это так и по-своему, конечно, занимательно... Но только... к чему вам все это?

— Станный вопрос, — не сразу и как бы равнодушно ответила Ольга. Но Махотин уже настолько знал ее, что этот ее тон не слишком обманул его.

— И что же вообще... к чему? Вот вы же учите там, в тайге, на

Дальнем Востоке, стрелять и рубить, носите орден, чистите сапоги, подшиваете воротнички, делаете проборчки, толкуете о коллективизации, индустриализации и яровизации... и вот даже спорите со мной... К чему вам все это, товарищ Махотин? К чему? — пародируя его же интонацию, спросила девушка.

— Это верно... Сапоги — заплятыся, голова — облысеет. Но вот только что — стрелять я за свой век все же кое-кого научу. А так как, к тому же действительно люблю порассуждать и о коллективизации, и об индустриализации и о многом прочем, — стрелять, очевидно, научу в нужном направлении и по заслуживающим объектам. А вот уже это, полагаю, и совсем не бесполезно...

— «Полезно», «бесполезно»? А может быть, главное — счастье для людей и состоит в том, чтобы иметь право хотеть любого — даже самого «бесполезного»? Наш общественвед Пал Палыч мне уже и так все уши прожужжал и оскомину набил этим «полезным»...

— Интересно, а что собственно вы сами, Оля подразумеваете под этим словом? А то опять выйдет конфуз, как с инкассатором или химикалями...

— Ну, там все такое... экономическое, — не сразу нашла нужное ей слово девушка.

— Пирог с осетриной и пуховые перины? — улыбнувшись, спросил Махотин.

— И прочую «чечевичную похлебку», — в тон ему продолжала девушка.

— Так вот, если взять хотя бы конкретно моих учеников, которых я обучаю, как вы выразились, «стрелять и рубить», то должен вам сказать, что даже в самом лучшем случае половина из этих здоровых молодых людей поляжет костыми в предстоящих им битвах за все то, что вы определяете словом «экономическое». И самое знаменательное здесь то, что сами они, видимо, отдают себе в этом отчет. Не им вот так нежится у моря на камешке, не им вдыхать этот чудесный воздух, не им обладать пуховыми перинами и даже вот этой самой презренной «чечевичной похлебкой», о которой вы упомянули... А ведь даже она, эта библейская «чечевичная похлебка», имеет же свою вполне реальную прелесть... И все это потому, что для них дело заключается далеко не в ней.

— А в чем же? — стараясь придерживаться все того же небрежно-равнодушного тона, спросила Ольга.

— В праве на первородство... — помолчав, без улыбки, ответила Махотин.

Обычно он не был склонен ни к громко звучащим словам, ни, тем более, к символам, ни вообще к каким-либо иным «художественным», как он их определял, выражениям. Но волшебная мягкая ночь, скрывавшая их лица, точно освободила в нем нечто, ранее молчавшее и сокровенное, она подарила ему ту ясность и простоту видения, которое посещало его лишь в редкие минуты жизни... И еще было в этой худой, беспокойной девочке что-то, неизменно задевавшее в нем самые потаенные, самые дорогие мысли и чувства.

— Мои слова, вероятно, покажутся вам скучными и ординарными, как у вашего бедного Пал Палыча, но я разрешаю себе эти маленькие советы, хотя бы по праву почтенного старшинства... И вот, знаете ли, дорогая моя Оля, — вы роскошествуете..

— Как это... роскошествуете? — и в темноте он почувствовал, что она посмотрела на него.

— А так... Вот вы часто иронизируете над управдомами, управделами и прочим прозаическим, как вы полагаете, людом. Но чтобы хорошо смеяться, надо иметь на это хотя бы небольшое право... Не на словах, а на деле обнаруживать свое превосходство над предметами ваших насмешек. Есть ли оно, это право, у вас? Вам, Оля, вот скоро уже восемнадцать лет, — в этом возрасте многие из моих товарищей уже сложили головы вот хотя бы за этот чудесный полуостров, где мы так мило философствуем, — тот же, кто уцелел, положил немало сил хотя

бы на посту столь презираемых вами управделов, чтобы обща́я наша жизнь была красивее, достойнее, счастливее. Помните, как замечательно сказал писатель, что человек, за всю свою жизнь посадивший хотя бы одно дерево, уже тем самым провел ее не совсем бесполезно. Так вот: чем вы, умная и начитанная, думаете обогатить нашу планету? Только тем, что вы остроумнее какого-то Джэка и отважнее Леночки?

— Буду собирать утиль... — иронически начала было Ольга и тут же замолчала.

— Не поймите меня превратно. Не к маленьким делам я вас призываю. Стремиться надо к самому большому, на что ты только способен. И, честное слово, мне очень по душе пришлось, когда вы сказали; что вам нужно не меньше, чем «весь мир». Да, весь мир, со всеми его сокровищами мысли, чувства, искусства. Но пути к этому разные, и случается порой такие обыкновенные, такие «скучные». И, может быть, первое, от чего вам, дорогая Оля, следовало бы отказаться, — это от позиции крошечного, такого карманного Печорина. Позиция эта, особенно в наши дни, Оленька, ей-богу, смешновата, а вы ведь так хорошо подмечаете все смешное.

— Я никому не подражаю, — как-то приглушенно сказала Ольга. — Мне это не важно...

Махотину стало жалко ее; он дотронулся до ее руки, она показала ему очень холодную.

— Я и не говорю, что вы подражаете, — сказал он мягко. — И вполне верю, что вам это действительно не важно. Но такие вещи могут происходить без всякого нашего сознательного намерения. А я уже заметил, что все «Печорины» наших дней неизбежно выраждаются в Грушницких. И над «экономическим» зря вы подшучиваете. Вы ведь счастливы, и сами этого не понимаете. Перед вами с сестрой открыты все пути, действительно «весь мир», как вы выразились. Что вас к себе манит: искусство? наука? техника?.. А я, признаться, одной минутой забыть не могу, — не того, как я десятилетним мальчишкой, с котомкой за плечами, в лаптях, весь уезд обходил, искал, где грамоте учат, — а той, когда я все-таки с грехом пополам шпроучившись два года, однажды от души проклял то, что нечто человеческое познал, к чему-то высокому приобщился... Не дав доучиться, бросила меня судьбушка засыпкой на кулацкую мельничку. А я все мечтал в церковно-приходскую школу попасть...

— Церковно-приходскую? — строго переспросила Ольга.

— Да, были такие. — улыбнулся Махотин. — Волостные кембриджи... Так вот поскольку это мне никак не удавалось, однажды, когда хозяин, не без издевки, на цыгарки скурил единственную мою и вполне паршивую книжонку — о каком-то лекаре-хироманте, — помню, решил я сигануть под мельничное колесо и покончить разом со всей этой вот уж действительно скучной возней... Хотя в этот же день гулянка шла у хозяев и веселье, и меня звали, и я бы самогонкой мог разгнать свое горе. Да уж не хотел, не мог. И проклял я тогда, как сумел, что уже не таким я стал, как они, что и впрямь, видно, портит грамота и одну только беду приносит... И не в том дело, уважаемая Оля, что пироги с осетриной кто-то другой жрал, а мы вот нет, а в том, что сжиралась законное человеческое право людей на знание, на красоту, на чувство собственного достоинства. И не только отняты были эти вещи, для которых, пожалуй, человек и на земле-то живет, а не приметно внедрялось в души иное: рабское, убогое постыдное. Вот что проистекало из всего того, что вы все пытаетесь покрыть одним словом «экономическое». О самых больших, какие только существуют в мире, вещах речь идет. О самых глубоких, о самых больших. И когда вам противен Джэк, потому что кичится своим автомобилем и тем, что его папаша где-то «главк», или вы негодуете, что какая-то Люся «метит на наркома», как она выражается, — знаете, что все это тянет от той помойки, которую у нас разрушили самые обыкновенные люди: от товарищей красноармейцев до товарищей наркомов, и даже включая товарищей управделов. Но за монолог этот простите. И сейчас я попро-

шу вас вот о чем: признайтесь пока хотя бы только в одном: что еще малеюато постигли, маловато извели так называемую жизнь. А когда это произойдет,— сколько бы лет вам тогда ни было, какие бы события ни произошли в вашей жизни,— дайте мне каким-нибудь образом узнать об этом. Это будет даже романтично. Вы же, как мне кажется, имете к этому небольшую склонность. А для меня — по многим причинам — это будет интересно. Согласны?

— Согласна... — помедлив, ответила Ольга.

— Так не забудете?

— Не забуду...

— По рукам?

— По рукам...

И он пожал худенькую руку, снова показавшуюся ему очень холодной.

После этого ночного разговора некоторое время Ольга, казалось, избегала его прямого взгляда, была замкнута и молчалива.

Однажды они отправились на экскурсию к известному в окрестностях водопаду. Ольга в своем обычном линиялом сарафанчике, только зачем-то заложив алый мак за ухо и по-набальчишески размахивая на ходу руками, шла впереди, Леночка, с корзинкой, в которой заботливыми руками тети Симы было уложено что-то, завернутое в белую салфеточку, шла рядом с Махотиным. Девушка, очевидно, была так хороша, что, когда они шли еще по набальчишески размахивая, что на его спутницу оглядываются, и шофер одной из машин, поразившись с ней, даже застопорил ход.

Почти с облачной высоты стеклянной струей низвергался водопад. Затем он дробился о каменный порог на мельчайшие осколки и оттуда, клубясь и бущуя, с ревом устремлялся вниз.

— Прямо жуть! — робко заглянув в пропасть, жалобно призналась Леночка. — Смотреть страшно!

— А ты и не смотри, Ленка, — хладнокровно заметила Ольга и подвинулась к самому краю обрыва. Подойдя к девушке, Махотин спсскойно и твердо взял ее под руку. — Может закружиться голова...

Они стояли так близко от бешено мчавшегося потока, что с ног до головы их обдавало радужной пылью и брызгами. Махотин покксился на Ольгу, — лицо ее было бледно, но спокойно, и только в глазах жил свойственный им дерзкий, неугасимый огонек.

— Скажите, подполковник, — повышая голос, чтобы шум низвергающейся воды не заглушал его, сказала девушка, — если бы с вами стояла женщина, которую вы безумно любили бы и если бы...

— Сколько «бы», — улыбнулся Махотин.

— И если бы она попросила вас сорвать вон ту веточку, — показав на повисший над самым потоком маленький кустик, с двойственным выражением не то улыбки, не то серьезности, спросила девушка. — Сделала бы вы это, подполковник?

— Обязательно — спокойно взглянув на повисшую над бурлящим потоком веточку, ответил Махотин. — Но только при одном условии...

— Каком? — жадно спросила Ольга.

— Если бы это была крапива, — невозмутимо ответил Махотин.

— Почему крапива? — уловив последние слова отходившего от пропасти с сестрой Махотина и уже приготовившись выслушать смешные вещи, полюбопытствовала Леночка.

— Чтобы выдрать одну предполагаемую даму, — бесстрастно заключил Махотин.

— Не смешно, — сухо сказала Ольга.

— Возможно, — не опроверг Махотин. — Зато правда...

Есю обратную дорогу Ольга была молчалива, а красный полуувядший мак, что совсем по-испански красовался у нее за ухом, швырнула в пыль...

А через несколько дней Махотин увидел обеих девушек в иной, несколько неожиданной для него обстановке.

Накануне, таинственно и значительно, Леночка пригласила его на

бал выпускников: «И в полной форме, пожалуйста», — добавила она почему-то шпотом.

Признаться, он несколько колебался, прежде чем пойти на бал юнцов: призрак подполковника Ковшова с пижонским платочком в кармашке преследовал его... И все же поздно вечером он пошел в тот самый парк, куда был приглашен накануне. В парке было темно и безлюдно, и Махотин не без некоторого облегчения подумал, что все уже кончено. Однако неожиданно с теплым дуновением ветерка до него донеслось вкрадчивое мурлыканье саксофона, а вскоре, пройдя по темной аллее еще несколько шагов, он неожиданно увидел ярко освещенный круг, где под звуки джаза мелькали, кружились или медленно двигались (позднее он узнал от Леночки, что такова самая последняя манера) танцующие пары. Платья девушек казались поразительно яркими и легкими, в волосах и на груди у многих были цветы...

Притаившись у старого молчаливого тополя, от запаха которого внезапно повеяло на него детством, под огромным небом, у огромного моря, Махотин, точно пытаясь разрешить для себя что-то давно тревожащее его, не отрываясь смотрел на это исполненное удивительной яркости и жизни зрелище.

Нечто хрупкое и равнодушно-пленительное таилось в нем, и, вероятно, чтобы укрыться от этого, Махотин, не без некоторого, правда, усилия, поспешно отодвинулся в темноту от старого тополя, чтобы снова незаметно уйти в ночь... Но вдруг, в самых близких от него рядах освещенного круга, мелькнула увлеченная танцем Леночка в незнакомом, совершенно взрослом платье, а вскоре мелькнуло и другое, ослепившее его, смуглое, знакомое лицо.

Забыв мрачность, философский пессимизм, презрение к тщете людских утех и стремлений, Ольга тоже танцевала, веселилась, была счастлива и красива... Да, красива...

Однажды, когда тетя Сима упрекнула Ольгу за то, что та «одевается бог знает как», и поэтому ее, мол, еще, чего доброго, «признают дурнушкой», — Ольга, со свойственной ей затаенной улыбкой, сказала, что если ей когда-нибудь этого уж очень захочется, она будет «почти красавицей».

— Как это «почти»? — рассердилась тетя. — Вечно выкрутасы какие-то. Головку бы лучше уложила как следует.

— А вы мне верите, командир? — спросила тогда Ольга.

— Верю, — с полной, непререкаемой убежденностью, несколько удивившей его самого, ответил Махотин.

Вот оно и сияло теперь перед ним своей особой, отличной от других, красотой, это такое смуглое, такое гордое и такое молодое лицо!

Одну секунду Махотину захотелось дать знать, что он сдержал слово, пришел, что ему немножко одиноко здесь, в темноте, у старого тополя... но что он от души рад их веселью и успеху, что обе они так прелестны и хороши, но тут же грузный Ковшов, с игриво выпущенным лиловым платочком, снова вспомнился ему, и Махотин отодвинулся еще дальше в темноту.

Трудно сказать, почему, закончив танец с юным плечистым морячком, Ольга направилась именно в эту сторону, — ясно было одно, что менее всего она рассчитывала увидеть его здесь. Очевидно, только Леночке пришлось в голову пригласить его на этот школьный бал. Рядом с Ольгой шел ее кавалер — юный морячок; румяное округлое лицо его так и сияло счастьем юношеского увлечения. Ольга шла, как всегда, очень прямо держась, высоко подняв голову, как бы не замечая устремленных на нее взглядов, но ее лицо светилось все той же простой, человеческой, откровенной и беззащитной радостью... Но тут она заметила Махотина и тотчас же остановилась.

Никогда ранее ему не удавалось видеть Ольгу в состоянии такого полного замешательства и жалкого конфуза. Очевидно, в своем длинном серебристом платье с «хвостами», как намерщиво называла она эту особенность тогдашней моды, с «уложенной» головкой, — а обычно она

смеялась и над этим достижением парикмахерского мастерства.— под руку с восторженным румяным морячком, а главное, с выражением этого полного удовольствия на лице. она в высшей степени выражала все то, чем она никак — и особенно в его глазах — не должна была быть.

И тотчас же, безошибочно почувствовав ее смятение, Махотин сразу же пришел ей на помощь, мгновенно и, как ему казалось, довольно искусно сделал вид, что просто не замечает жуть сколько-нибудь ошутимой перемены.

— Танцуете, Оля? — искусственно, лениво позевывая, довольно невнятно промычал он.— А я вот случайно забрел на огонек... Что же вы меня не познакомите с товарищем? — дружелюбно взглянул он на морячка.

— Краснофлотец Козлов, — самолюбиво отрекомендовался юноша.

— Махотин. — представилась подполковник. — Ну, танцуйте танцуйте, молодые люди, а я на боковую.. Леночке — привет. Королева бала!

— Как, вы уже уходите? — каким-то осевшим, почти беззвучным голосом спросила Ольга. — Прошу вас не уходите.

Он недоверчиво, внимательно и почти жестко взгляделся в ее лицо. — он не помнил случая, чтобы она так просила о чем-нибудь. Затем перевел глаза на мальчика, нетерпеливо ожидавшего конца переговоров, и с новым ленивым, искусственным зевком повторил, что все же пора «на боковую», тем более, что дверь в его санатории закрывают ровно в двенадцать.

— Хорошо, тогда я пойду с вами. — решительно сказала Ольга и, не оглянувшись на остолбеневшего мальчика, так, как если бы его совсем и не существовало, пошла за Махотиным.

Некоторое время они шли молча, и это молчание впервые затрудняло обоих..

— Зачем вы обидели мальчика? — наконец сказал Махотин.

— Обидела? — изумленно спросила она. — Хотя, может быть.. Завтра я найду его и попрошу прощенья.

— Да и сами вы мало повеселились.

— Нет.. Да.. А почему вы так рано ушли? Скучно?

Махотину захотелось рассказать, как он из темноты, по-отцовски грустновато, любовался на них, как хотел незамеченным уйти, как неустойчиво чудесна молодость, но тень лилового платочка мелькнула перед ним и заставила промолчать.

— А Леночку вы, значит, заметили в белом? Правда, хороша? — спросила Ольга.

— Царица бала! — охотно поддержал Махотин.

— Только напрасно она танцует с этим курносым идиотом Кошкодамовым. — сердито и возмущенно, снова напомнив о существовании мальчика-мудата, сказала Ольга.

— А я вот почему-то думаю, что он совсем уж не такой скверный парень. — миролюбиво сказал Махотин.

— Пошляк! — пожалла плечами Ольга. — Знаете, он называет нас «девулями», говорит: «шикозно», «будьте уверочки», а прощается знаете как? «ЧИК!»..

— «Чик» — это что же такое? — поинтересовался Махотин.

— Сокращенно: «честь имею кланяться».. — с отвращением сказала Ольга.

— Ну, это пустяки. — примирительно заметил Махотин. — честное слово, пустяки!..

Они подходили к слабо белевшим в темноте воротам того военного санатория, где отдыхал Махотин.

— Ну, Оленька, «чик», — сказал Махотин.

Но девушка медлила, видимо, выжидая.

— Сергей Васильевич. — сказала она, наконец, неожиданно называя его по имени и отчеству, — а все-таки мне показалось, что сегодня вы были грустный.. Правда?

— Зубы побаливали. — сказал Махотин. — противная штука..

— Да, было заметно.— задумчиво сказала девушка.— Сергей Васильевич.— обратилась она к нему снова,— можно вам задать один вопрос?

— Испугалуйста...

— Сергей Васильевич, правда, что все ваши близкие умерли от голода в Поволжье в двадцать первом году?

— Правда.— ответил подполковник.

— И ваша жена?

— И моя жена.

— Скажите, а вы ее очень... любили? — тихонько спросила Ольга.

— Это была совсем простая девушка. Я недостаточно знал ее — тут же ушел на фронт. Любил? В общем — не знаю.

— Разве можно это... не знать?

— В ранней молодости, вероятно, можно.

— А на фронте вы были долго?

— Порядочно.

— А сколько вам было лет, когда вы пошли?

— Восемнадцать...

— Почти столько же, сколько мне.

— Ну, и что же?

— А вот я еще нигде не была...

— Успеете.

— И вам было страшно?

— Стучалось...

— А за что вы получили орден?

— Длинно рассказывать.— сказал Махотин.— Ворота заперут.

— Скажите, а в общем вы кого-нибудь... любили? — помолчав, спросила Ольга и остановилась.

— Любил? — глядя на небо, сверкавшее удивительными звездами, переспросил Махотин.— Мне кажется — нет.

— Почему? — негромко спросила Ольга.

— Вероятно, потому, что полагал, что это должно быть очень большим... А вы как полагаете?

— Я полагаю так же,— медленно и сурово-торжественно, точно слова клятвы, повторила Ольга.— До свидания, товарищ Махотин!

— До свидания. Оля!

Но почему-то он долго медлил у ворот санатория, прислушиваясь к звуку легких, удаляющихся от него шагов.

На другой день он проснулся в чуть грустном, но деловом настроении. Большая часть его отпуска уже прошла, надо было подумать и об отъезде. Он разобрал свои вещи, перечитал два-три деловых письма, черкнул товарищам открытки.

— Вас спрашивают,— деликатно откашлявшись, позвал похожий на носильщика санаторный служитель в белом фартуке.— Какая-то... товарищ,— добавил он, явно подыскивая подходящее определение.

— Меня? — удивился Махотин. Сюда к нему никто никогда не заходил.— Скажи, что сейчас выйду.

И когда он вышел в вестибюль, то удивился еще больше. Перед ним была очень бледная, очень растрепанная, в обычном своем вылинявшем сарафанчике, в чулках на босу ногу, Ольга Куроченко. Куда исчез вчерашний блеск ее и королевская небрежность? Сейчас казалась она девчонкой-беспризорницей, загнанной и сердитым зверьком.

— Сергей Васильевич! Мне хотелось бы с вами переговорить с глазу на глаз,— сказала она, и губы ее вздрогнули.

Они вышли в парк и сели на отдаленную скамейку.

— Сергей Васильевич,— очень прямо глядя на него лихорадочно блестящими глазами начала Ольга.— Те пошлаки...

— Какие «те»? — прервал он ее.

— Кошкодамов, Козлов, Швейц,— затем она назвала еще несколько совершенно неизвестных ему фамилий.— распространяют разные пошлости обо мне и вас.— Мне это совершенно безразлично,— презрительно улыбнулась она,— но я считаю, что мелких идиотов надо учить. На-

деюсь, вы согласны со мной? Так вот, — не дожидаясь его ответа, продолжала она, — Сергей Васильевич, я прошу вас, пойдите со мной сейчас на набережную. — чуть задыхаясь, сказала она и даже, уже совсем по-детски, потянула его за рукав.

— На набережную? Сейчас? Зачем, Оля? — искренно изумился он.

— Сегодня выходной... Так называемое «воскресенье». — сказала она иронически, — весь наш местный бомонд там сейчас в сборе. И чета Свиридовых, и Люська Швейц, и этот курносый идиот. Мы только пройдемся и докажем всем этим мешанам, что нам в высшей степени наплевать на их курьиные суждения. — Я и оделась так нарочно. И знаете что? — вдруг радостно улыбнулась она. — Эти туфлишки, я даже сниму, возьму в руки, а пойду прямо босиком... Представляете — босиком! То-то они будут «шокированы». Дурацкое слово какое! То-то зашишат!.. А вы идите в форме, с отличием. Это даже хорошо. Увидят, что вы их тоже презираете. И фуражку наденьте... Она в комнате? Или, пожалуй, лучше пойдите в санаторной пижаме. Это тоже получится смешно. Разрядились и сидят на скамеечках, как жабы. Особенно эти... Свиридовы... Рассматривают, кто как одет, кто лучше и кто хуже, кто главный и кто неглавный. А нам — наплевать! И знаете что? Вы даже голову полотенцем обвязать можете, мохнатым таким, купальным, будто опасаетесь солнечного удара. — Нарисованная картина, очевидно, показалась ей настолько утешительной, что девушка расхохоталась. — Хотя полотенца, пожалуй, не надо, — взвешивала она вслух. — Это, пожалуй, будет уже слишком...

— Все слишком, Оля. — нисколько не разделяя ее восторга и даже вздохнув, сказал Махотин. — Все слишком... Скажите, вы серьезно считаете этих людей идиотами?

— Считаю! — вызывающе подтвердила Ольга.

— Так почему же мнение и какие-то пошлые соображения этих идиотов имеют для вас значение? Не понимаю, Оля!

— Дело не в них! — нетерпеливо воскликнула девушка. — А в нас самих. Мы как бы сами перед собой подтвердим, насколько нам безразличен этот курятник и его гнусное кудахтанье...

— Постойте, Оля. Вы так много говорили здесь, но я так и не понял, в чем, собственно, заключается это «гнусное кудахтанье»?

Девушка, точно с разбегу, остановилась и как-то исподлобья и жалобно, — что ему, быть может, показалось. — взглянула на него. Ни разу за все время их знакомства он не видел у Ольги подобного взгляда.

— Они говорят, что я влюблена в вас, — наконец, с какой-то лежачнической безразличностью громкоговорителя, отчеканила она. — И даже хочу, чтобы вы на мне женились.

— Это все? — спокойно осведомился подполковник.

— А этого мало? — почти с ужасом спросила она.

— Чрезвычайно. — подтвердил он, раскуривая папиросу. — Но я так и предполагал. А кстати, тетя Сима осведомлена о проекте вашей демонстрации?

— Конечно, я рассказала ей, что...

— И как она? — перебила ее подполковник.

— Заплакала и попросила меня хотя бы надеть чулки и «уложить головку»...

— Умная женщина, — задумчиво сказал Махотин. — Вот вы, Оленька, так и сделайте. Отправляйтесь-ка домой, хорошенько отоспитесь после вчерашнего роскошного бала, а потом, когда встанете, действительно «уложите головку» и пройдитесь с Леночкой к «Бухте Махотиной», или, еще лучше, займитесь каким-нибудь «общественно-полезным трудом», — с улыбкой заключил он.

— Почему вы говорите со мной... как с маленькой? — медленно приподнимаясь со скамейки и заметно бледнея, спросила Ольга. — Разве эта глупая история сделала в ваших глазах и меня глупой?

— Да, ваш план мести этим «мешанам» я при всем желании не могу отнести к лучшим достижениям человеческой мысли... Во-первых, — адвокатским голосом начал Махотин, — такие ли уж все они

лютые мещане, как вы предполагаете? Во-вторых, если бы, наконец, они даже были правы, в высказанном ими соображении ровно ничего гнусного и подлого не содержится. Для меня же, поверьте, несмотря на всю его абсурдность, это было бы только лестно. В-третьих, ваше появление босиком...

— Ах, оставьте вашу казуистику; может быть, я действительно надумала что-нибудь и не так, смешно, глупо, по-детски, — ну, там, например, босиком или не босиком, — но разве в этом дело? — с силой спросила Ольга.

— Нет, Оля, дорогая, я понимаю суть дела. Но все же, поверьте, она не столь значительна, не столь глубока, чтоб усугублять все еще нелепым поведением.

— Значит, вы не пойдете? — спросила она, пристально взглянув на него.

— Конечно, — ответил он, спокойно выдержав ее взгляд.

— А знаете что, подполковник, — вдруг с какой-то тонкой и почти умиротворяющей улыбкой сказала девушка. — Все это, конечно, весьма разумно и рассудительно, что вы мне тут по пунктам изложили. И, пораздумав, я, возможно, найду мои планы действительно нелепыми и даже жалкими. Особенно это... босиком... Уж очень меня взбесили. Но сейчас для меня дело действительно не в этом, — не в этой провинциальной историйке. Но и для вас, дорогой подполковник, я уверена, дело также не в ней, А, во-первых, — начала она его же адвокатской интонацией, — что скажут порядочные люди, увидев военного, да к тому же в солидном чине, с какой-то босой девчонкой? Во-вторых, кто его знает, если здраво рассуждать, не хотела ли действительно, эта периферийная девица подцепить себе женишка со знаком отдаленности и чином? И в-третьих, — а это и есть самое главное, — если, к тому же, во время прогулки с этой нелепо одетой девчонкой подвернется какое-нибудь высшее начальство? Ведь это может сказаться и на дальнейшей карьере! А подполковник, оказывается, хотя и разумен, но не очень отважен, что он не так давно и доказал под шум водопая.

— Слушайте вы, милая и начитанная барышня, — тоже вставая, сказал Махотин и неожиданно почувствовал, как какая-то глубокая, тающая в нем и до сих пор не изжившая горечь поднимается в его душе. — Вы очень привыкли безответственно бросаться любыми словами. Для вас и подобных вам за словом любого значения, — ровно ничего не стоит... Ничего не заработали вы у жизни ни своими руками, ни, тем более, своею кровью... Так, более или менее ловко подобранные выражения и словечки. И в них вы себя никак не стесняете. Боже упаси! Полет волевой мысли и духа! А главное для вас: это обхохотывать все — от человеческого великого труда до родной матери.

— Это неправда... насчет матери, — как бы через силу сказала Ольга.

— Так вот, милая барышня, — игнорируя ее попытку возражать, продолжал Махотин, — можете упражнять свое остроумие на бедной сестренке или тете, но со мной я запрещаю вам разговаривать подобным образом. Поймите раз и навсегда, что право на такие ответственные слова надо заработать... И в этом праве я, скучный служака, тянувшийся перед начальством, полностью вам отказываю. Понятно?

— Вполне, — звенящим голосом ответила Ольга и стремительно пошла, почти побежала к воротам санаторного парка.

А Махотин долго не мог успокоиться — ходил по аллее и курил папиросу за папиросой. Как ни странно, даже на другой день взволнованность эта не совсем исчезла, — он снова бродил по аллее и почему-то вспоминал всю свою жизнь.

К вечеру в санаторий пришли газеты; он углубился в них. Надвигающейся на весь мир, беспремерной, чудовищной грозой веяло от легких бумажных листов, и Махотин задумался над этим. Весь день он был под властью этих дум, сразу же и прочно заслонивших перед ним все происшедшее.

Быть может, поэтому он не сразу расслышал, когда на набережной его окликнули. Это была Леночка.

В простеньком, но очень ловко сшитом платье. с локонами по плечам, она изящно — насколько это было только возможно — села обвернутую виноградными листьями большую, лунного цвета, рыбу.

— Я думала, Сергей Васильевич, что вы даже не хотите поздороваться, — грустно сказала она. — Ведь я знаю, что вы страшно поссорились...

— Все это пустяки. дорогая моя Леночка! — сказал Махотин. — Лучше скажите, что вы поддельваете? Как тетя Сима?

— Плохо, — вздохнув, сказала Леночка. — Плохо. Вы знаете, она: — не употребляя имени и понизив голос до полупшопота, сказала Леночка. — Она просто какая-то ненормальная стала. Молчит целые дни. Лежит на диване и молчит. Вы что-нибудь ей очень обидное сказали?

— Не знаю.., возможно, — ответил Махотин. — А скорее всего, ее огорчает эта пустяковая сплетня. Кстати, вы не знаете, как она возникла?

— А, это про то? — избежав уточнений, спросила Леночка. — А я вам скажу, Сергей Васильевич, что она сама во многом виновата, — сама, знаете, так, по-своему, всем дерзко говорила. хотя бы тому же Кошкодамову, какой вы хороший, какой умный, лучше их всех, что все перед вами просто глупцы и ничтожество... Ну и вышло, — снова вздохнула Леночка.

— Вот как, — только и нашелся ответить подполковник. — А этот... Кошкодамов, действительно такая мрачная фигура, как это изображает ваша сестра? — помолчав, спросил он.

Леночка даже остановилась и положила камбалу на каменный столбик у набережной. — вопрос, видимо, близко ее задевал.

— Нет, он вовсе не такой, у него только вид такой, а сам он не такой, — с горячностью сказала она. — Он только избалован, правда... легкомысленный... плохо учился. Это все от воспитания такого неправильного... барского, что ли. А на самом деле из него может выйти очень хороший человек, — заключила она твердо, и Махотин, взглянув в ее светлые глаза, неожиданно понял, что у этой хорошенькой девочки уже существует большой и сложный мир моральных представлений, за которые она будет бороться, которые она готова со всей решимостью отстаивать, за которые пойдет на жертвы... И еще, внезапно уловив выражение сурового упорства в светлых этих глазках впервые за все время их знакомства, он открыл бесспорное фамильное сходство, внешне столь различных, сестер. И даже удивился, что не замечал этого раньше.

— Ну, в таком случае, дорогая Леночка, все прекрасно! — воскликнула Махотин. — И я ручаюсь — до моего отъезда все уладится... Знаете что? А не заглянуть ли мне сейчас к вам?

— Нет, — сказала Леночка. — Она сказала, что вас ненавидит, и, если только вы зайдете, немедленно уйдет из дома. Она очень оскорблена. Особенно этим... с матерью. Правда, что вы сказали что-то про ее отношение к матери?

— Не думаю. — сказал Махотин. — Разве только в каком-нибудь переносном смысле...

— Что будто она ее.. предавала?.. Это неверно, Сергей Васильевич! Наша мама была замечательная личность. Она была медработник и как медсестра работала в детских санаториях... Во время голода сколько ребят она спасла! Иногда прямо в дом приводила.. И Оля все мамини почетные грамоты и приказы с благодарностями и фотографии — все сохранила... И знаете? — таинственно добавила Леночка, — я недавно видела, что она их все вынула из-под подушки, разложила и рассматривает.. долго. долго так...

— Ну, что же? Тем лучше... — сказал Махотин. — Значит, появляться мне у вас не рекомендуете?

— Пока не надо, дорогой Сергей Васильевич, — умоляюще сказала Леночка. — Честное слово, не надо! А потом я вам сама передам...

И не решившись провожать Леночку до дачи, Махотин пошел в бухточку своего имени, увидел морщинистые камни, красивые водоросли, все того же краба на песке. Больше там никого не было... Никого не было... Но разве он надеялся увидеть там кого-нибудь?

Когда Махотин возвращается обратно, он снова, и довольно медленно прошел всю набережную из конца в конец, но и там снова никого не было...

И только через день, когда в час «пик» он вышел на эту главнейшую магистраль курортного городка, перед ним мелькнуло смуглое, беспокойное лицо. Такой, или приблизительно такой, видел он ее только в том ярчайшем и чуть призрачном мире, которым он, как дальний пришелец, так грустно любовался, притаившись у темного старого тополя... Только тогда, на балу, сияние ее, казалось, было безмятежнее, радостнее, полнее.

Сейчас нечто тревожное — не сияние, а горение — ощущалось в этих чуть прищуренных темных глазах и в смехе, что долетел до него, и в стремительной, как бы летящей походке.

Ольга была в том же, что и на балу, «самом главном», как выражалась Леночка, платье, каблуки увеличивали ее рост, — оказалось, что она просто высока; огненный цветок алел у нее в волосах так же, как когда-то у водопада.

Рядом с ней, с выражением безусловной преданности на румяном и ясном лице, шел юный морячок, также знакомый Махотину, и еще какой-то незнакомый молодой человек с утомленно-ироническим выражением на длинноносом лице и в весьма щегольском пляжно-теннисном костюме. Он нес ракетку, которой с небрежным изяществом поигрывал...

Видела ли она его? По странной напряженности всего ее оживления, пожалуй, можно было предположить...

Хотя встреча эта заняла не более секунды, она оставила в нем ощущение, схожее с ожогом. И тихонько поругивая себя за что-то, Махотин, не без чувства какой-то неопределенной виноватости свернул в боковую улицу, с одним желанием — поскорее притти к себе, лечь и укрыться с головой...

— Старый осел, — очутившись, наконец, в своей комнате, сказал без каких-либо скидок на снисхождение Махотин и даже укоризненно покачал головой. — Старый кретин!

И с этого дня он посещал набережную без всякого, хотя бы самого скрытого, расчета; он был занят подготовкой к отъезду. Иногда он встречал Леночку. Но теперь она почти всегда появлялась в обществе молодого и, как видно, чрезвычайно жизнерадостного человека, чей эксцентрический джемпер, лихо сдвинутый набок берет и несколько легкомысленной формы нос заставляли предполагать, что это и есть столь презираемый ее старшей сестрой «курносый идиот».

Впрочем, судя по некоторым признакам, молодой человек обращался со своей дамой с несомненной почтительностью, что Махотин, с чувством известной отеческой удовлетворенности, почти тотчас же и отметил. То же обстоятельство, что сам он, очевидно, совершенно выпал из поля зрения Леночки, воспринималось им доброжелательно-философски. Тем не менее он был приятно изумлен, когда однажды кто-то осторожно дотронулся до его рукава, и, оглянувшись, Махотин увидел Леночку. Правда, поведение ее было довольно странно, — она беспокойно озиралась и все пыталась увлечь его в узенький переулок.

— Сергей Васильевич, когда вы уезжаете? — спросила она.

— Послезавтра, — ответил Махотин. — Привет вашим. Искренно жалею, что не могу лично пожать вам всем на прощанье руку...

— Что вы, что вы! — воскликнула Леночка. — Мы с тетей Симой обязательно придем вас провожать. Тетя Сима и настойку вам на дорогу готовит — из аalii... И адрес ваш оставьте обязательно!

— Спасибо! — сказал Махотин. — А я, признаться, уже полагал, что вы меня совсем забросили. Тем более, вы так заняты, Леночка...

— Это, конечно, — совсем просто согласилась она, и светлые глаза ясно взглянули на Махотина. — Но мы вас очень любим, Сергей Васильевич, и всегда, всегда хотели бы быть вашими друзьями. Только...

— Что только?..

— Знаете, я еще потому к вам не подходила, что она, — снова не называя имени, сказала Леночка, — она выдумывает разные глупости. Ей одна, очень ей преданная инвалидка вон из того киоска «Дары моря», передала разные глупости. Инвалидка — а такие глупости!..

— Какие же? — заинтересовался он.

Леночка медлила с ответом.

— Она говорит, что я с вами... знаете... кокетничаю, — затрудненно выговорила она, наконец, это старомодное слово. — И что будто вы тоже... Как это?.. «Во власти чар»... — покраснев так, что даже слезинки проступили на светлых ее глазах, сказала Леночка.

— Так, — сказал Махотин. — Так. А вы скажите, Леночка, вашей сестре, что она — дура. Популярное русское, народное выражение — дура...

— Как это? — радостно переспросила Леночка, стараясь запомнить смешное: — «популярное, народное»...

— Она поймет, — сказал Махотин. — А вам на прощанье пожелаю счастья, успехов и скорейшего дебюта в Большом Академическом... А что касается одного молодого человека, то, честное слово, вероятнее всего, он просто очень веселый малый... Прошу передать ему на прощанье мой заочный привет.

— Спасибо! — вся расцвела Леночка.

Взглянув на инвалидку в киоске с романтическим названием «Дары моря», о котором упомянула Леночка, Махотин пошел покупать автобусный билет до Севастополя. По дороге он вспомнил, как тетя Сима рассказывала ему историю про эту преданную Ольге инвалидку, историю, сводившуюся к тому, что Ольга совершенно не умеет беречь новых и ценных вещей. «Мальчишки дразнили эту инвалидку — одновременно и хроμού и горбатую. Ольга, заметив это, пригрозила им «выдрать за чупры», когда же сорванцы не послушались, она так, что я даже ахнуть не успела, бросилась на них и, представьте, действительно оттаскала кое-кого за вихры; однако и мальчишки в долгу не остались и в кровь разбили ей нос. Воображаете, что сталося с ее совершенно новеньким, первый раз надетым, жоржетовым платьицем!..»

Вообще же он уже успел установить, что Ольга имела либо неоспоримых врагов, либо неоспоримых друзей... Махотину случалось встречаться с людьми, которые не могли — и по совершенно противоположным причинам — равнодушно слышать ее имени... Но все эти мысли, которые все же неизменно направлялись к одному предмету, в предпоследний этот вечер, казалось, уже относились к далекому-далекому прошлому...

Однако случаю уютно было обогатить его пребывание в Крыму еще одним эпизодом.

С наибольшей житейской какой-нибудь Пошехоньей, что он отлично сознавал и над чем он сам внутренне подсмеивался. Махотин жаждал увезти с собой, как милое воспоминание, хотя бы самое ничтожное количество Черного моря. И вот с пустой бутылкой из-под «Напареули» он отправился на последнее с ним свиданье. Когда он вышел из ворот санатория, нечто недоброе, что творилось в природе, было замечено им. Когда ж с набережной он стал спускаться прямо к морю, это недоброе приняло явные очертания. То был внезапно поднявшийся, краткий, но свирепый морской шквал. По прошествии нескольких лет — и каких лет! — Махотин уже не мог бы в подробности воспроизвести поразившее его тогда явление. Пожалуй, он до сих пор помнил только странный лимонно-дымный, неизвестно откуда исходящий свет, что плясал на темнолиловых, точно мускулистых волнах,

раздражающий запах пороха в воздухе и поразительной арбузной свежести, да неистово визжащих чаек...

И почти тотчас же заметил он у самых волн людей, метавшихся по берегу и тревожно всматривающихся в море.

Как и зачем попали дети в лодку без весел: застигла ли их буря в пути, сорвало ли их волной вместе с лодкой с берега,— позднее выяснилось, что произошло именно так.— в те мгновения все это не составило предмета размышления для Махотины. С профессиональной быстротой ориентировки он понял, что следующая волна отшвырнет лодку с двумя детьми, которая сейчас приближалась к самому берегу, еще дальше в море, а скорее всего, и перевернет ее. И ранее, чем эта волна настигла лодку, он набрал как можно больше воздуха в легкие, прыгнул в воду, нырнул, схватился за скользкий борт лодки, изо всей силы рванул ее к себе... На мгновение ощутил сушу под ногами, рванул еще, потом его ударило, ошибло с ног, ослепило, а он продолжал делать еще что-то, что, возможно, и надлежало делать; затем очнулся, довольно нелепо сидя на мокром песке, увидел рядом лодку и двух мокрых, но не плачущих, а точно онемевших ребят, которых пронесли мимо него.

Саднила губа. Он дотронулся до нее рукой и не узнал своего лица. Тут же он понял, что кровь на руке и на влажном песке — это его собственная. «Доктора!» — отчаянно закричал кто-то.

— Простите, совершенно не требуется, — сказал он вежливо, но твердо, приподнялся и, чуть прихрамывая и оставляя влажный след, пошел. Показалось ли ему, или это действительно было так, но ему почувался знакомый, беспокойный взгляд.

В санатории товарищи, в качестве «патентованного средства», дали ему стакан коньяку, разделили его грусть по поводу промокших документов и предложили несколько проверенных способов быстрейшей сушки сапог.

Когда после всей этой довольно веселой суеты, а главным образом после «патентованного средства», он уже дремал в своей «феодальной», как он обычно определял, кровати,— маленькая босоногая девочка волшебным возникла в его комнате и боязливо передала ему конверт.

«Я вас уважаю.— О. К.»,— прочитал он на клетчатом, очевидно вырванном из школьной тетради, листочке.

«Я вас тоже.— С. М.»,— с улыбкой написал он и вложил в тот же конверт ответ.

Эта улыбка была вполне добродушной,— двадцать четыре года разницы давали ему на это полное право. И если бы не было так поздно, да и к тому же не так безобразно распухла губа, он бы с истинным удовольствием навел бы ставшую для него такой милой дачку и охотно поболтал бы с этой странной девочкой.

Утром к остановке пассажирского автобуса, курсировавшего между горшком и Севастополем и отвозившего очередную партию отдыхающих, его пришли провожать и товарищи по санаторию, и кое-кто из «зрителей».— как мысленно определил он их,— вчерашнего маленького происшествия на берегу, а в последний момент он увидел такие знакомые, почти родные лица Леночки и тети Симы. Несмотря на преклонные свои лета, толстухка с легкостью подбежала к автобусу.

— Сергей Васильевич, родной мой.— обняла она его мягкими, теплыми ручками.— Пирожок у меня не выстоялся... ждали, ждали... Едва с Леночкой не опоздали. А наливочка тут двух сортов. Не побрезгуй, родной наш!..

Леночка подарила ему на память чудесный букет из желтых роз, а на прощанье даже поцеловала его в щеку,— правда, так осторожно и боязливо, будто щека могла оказаться неожиданно раскаленной.

Наконец, уже из автобуса, он увидел и веселого молодого человека с легкомысленной формой носа, который довольно сердечно, как старому знакомому, махал ему беретом... И совсем неожиданно, когда автобус уже дернулся, среди шумливой и оживленной толпы провожающих он заметил фигурку в таком знакомом ему бедном сарафанчике...

Она стояла в толпе, видимо, никак не желая и не собираясь быть замеченной, и что-то такое сиротливое, невзрослое и кроткое было в худеньких этих плечах, в этом одиноком, печальном и как бы сдавшемся взгляде, что сердце его дрогнуло не то от жалости, не то от жестокого и скорбного предчувствия.

«Оля! — закателось крикнуть Махотину туда, назад к знакомым местам, — Оленька!»

Но автобус дернулся еще раз, знакомые лица и руки, махавшие платками, исчезли, навстречу побежали кудрявые леса, скалы, телеграфные столбы. Но Махотину все казалось, что исполненный такого смирения и печали взгляд все следит и следит за ним...

Дела в «особой, отдельной» бригаде, которой он командовал, снова захлестнули по его приезде так, что некогда было не только написать письмо, а даже вспомнить о том что надо написать... Были, правда, и еще какие-то, не совсем для него уточненные, причины, мешавшие ему это сделать. Наконец, расхолаживало и то, что от тайги и сопкок до черноморского побережья письмо будет итти свыше месяца. Куда лучше будет лично поговорить! А ведь следующий свой отпуск он собирался провести только там. Да, обязательно — только там!

Но вот уже в разгаре зимы, когда термометр показывал ниже нуля, он получил письмо от Леночки. Письмецо было на сиреневом листочке и состояло главным образом из вопросов: как он поживает? как его здоровье? был ли он в Москве? слышал ли Козловского? правда ли, что Пантофель-Нечецкая превосходит Барсову? У них же все почти попржнему, только вот тетя Сима купила ягненка, и он живет у них в комнате, но ничуть не мешает, очень симпатичный и все его любит.. Она даже причесывает его своим гребешком, как ребенка.. Курсы стенографии успешно закончены, ей уже поручают довольно ответственную работу, и по быстроте записи она стоит на втором месте, хуже с расшифровкой. Помимо этого, она берет уроки пения у приезжей знаменитости, которая ей заявила, что у нее «есть материал». Известный вам молодой человек уехал в Качинскую летную школу, но он часто пишет, почти каждый день, так что вы не очень ошиблись, подарив его некоторым доверием. А Оля — кто бы мог подумать! — обложилась какими-то учеными книгами — «Минералогия почвы», «Культура зерновых» и с утра до вечера корпит над ними и как будто намеревается стать, как папа, работником «на ниве агрономии», — особенно тщательно выписала эти ответственные слова Леночка. — А еще никаких новостей пока нет. Тепло.. Ясно.. Цветут мимозы, уже есть фиалки... Одну я вам посылаю, ее недалеко от бухты вашего имени сегодня нашла Оля и просит переслать ее вам. А летом мы вас все обязательно ждем! Глубоко уважающая вас Е. Куроченко.

Мужественный росчерк. Точка. Так, вероятно, подписываются занятые, деловые, независимые женщины.

...Оля собиралась стать работником «на ниве агрономии», ученым человеком или скромным практиком. Махотину нелегко было представить себе в этой роли — толкующей или о каких-нибудь «суперфосфорийных удобрениях», или о «культуре зерновых» — да, пожалуй, и не менее трудно было ее представить просто по-настоящему взрослой.. Но у юности столько планов! Все еще могло измениться. Возможно, раскрылись бы ее способности к иным наукам — к литературе, истории, философии. У нее были и воля и упорство и гордость.

Да, многим она могла бы быть.. И врачом, и агрономом, и актрисой и, даже, — Махотин невольно улыбнулся при воспоминании, — «почти красавицей».

Но сейчас размышлял он об этом, вспоминал он все это весной 1944 года, в пустом винном подвале, служившем временным помещением для штаба дивизии. А та, о ком он размышлял, уже не могла стать ни агрономом, ни врачом, ни философом, ни писателем, ни актрисой, ни зодчим.

Ее убили.

(Продолжение следует)

В полусумраке вдруг чьи-то очи
сверкнули лучисто
За свои, отраженные в зеркале,
Я посчитал их тогда.
Но внезапно послышался голос
девически-чистый:
— Вы из этого дома? —
И я отвечаю, что — да.

Поразил меня голос и очи. И
пристальным взглядом
Я глядел на нее,
Сам не зная — зачем и к чему.
Я глядел, позабыв
о развалинах рядом
И о том, что мне жить
в опустевшем дому.

Чуть не сбила она меня с ног, а по
этой примете
С ней своими нам быть,
С нею дружбу водить.
Дед мой верил приметам.
И в этом
согласен я с дедом:
Суждено нам судьбою самой —
Ну, хоть кумом стать и кумой
Или в гости ходить порой
Друг до друга, по праву соседа.

Так я думал, мечтал я
и из дому вышел один.
А она? Улетела.
Колесами велосипеда
Перепелку спугнула в хлебах,
что растут меж руин.

Что ж ты скрылась из глаз?
От того, что дается судьбою,
Все равно не уйти и не спрятаться —
мне ли,
тебе ль.

Нам еще доведется
не раз повстречаться с тобою.
Может, даже придется
качать колыбель...

Впрочем, как ты там хочешь,
уход твой меня не тревожит:
Нет на свете такого коня,
И нигде не найдешь ты его,
На котором, верхом ли,
в повозке ль, быть может.
Среди белого дня
Убежала своя бы да от своего.
Ты оставила письма,
Ты их приносила

В этот дом.
И за письма большое спасибо.
Я стою у крыльца,
Разбирая с воднением их:
«В руки первого в доме жильца,
Кто остался в живых».

Да, я первый жилец
в доме каменном этом. —
Значит, все они, все
Предназначены мне.
Значит, должен писать я
на них и ответы
Адресатам, соседям своим,
что живут на войне.

Путь до места их жительства, знав
не близкий
Они б сами на старое место
пришл

Если б только могли.
Да не кончены сроки
их новой прописки
В блиндажах и землянках,
в чащобе лесной,
В артиллерии корпусной.
Просит первый сосед
разузнать, расспросить
про девчин

Передать ей письмо...
Про нее разузнал я, сосед.
Отказать в твоей просьбе
я не вижу причины,
Только как я письмо передам
на тот свет, на тот свет?
Загубили ее, затоптали ее
тракторам

И — чтоб даже следов не остави
спалили огнем.
Я еще не забыл,
как друг другу клялися вы
с ней вечером
целовались целую ночь
у меня под окном.

Клятва, клятва!
Желанья, мечты молодые —
Гордо гибли они,
но бесчестья стерпеть не могла
Их железом терзали,
Их сладость пожары слизали
С губ, шептавших когда-то
горячее слово любви.

Как ее катовали,
Холодные губы молчали. —
Все стерпели
и выпили смертную чашу
до д

Не напрасно они тебе
в вечной любви присягали. —
Ее пепел свидетель,
что клятву сдержала она.

Признаюсь, что о вечной любви
Я не думал до этой минуты. —
Есть она или нет —
не скажу и теперь.
Если ж есть, то такая,
что стойко и в пламени лютым

Умирает, как девушка эта.
поправшая смерть.

Друг, сосед!

Мой листок ты получишь, наверное,
скоро.

И поверь:

Не хотел бы тревожить я сердце
твое:

Не привык я, сосед,
посылать людям письма, в которых
Буквы скачут при чтеньи,
как черное воронье.

Третий день я блуждаю
С письмом от соседа второго.
Просит он, чтоб нашел я
И жену его и детей.
Я нашел его сына,
в детдом завернув наудачу.
Он держался спокойно,
а кто-то рассказывал с плачем,
Что в Неметчине мать у него,
Что погибла сестра...
С ним от горького плача того
Мы ушли со двора.

Сын писал,
он над каждой буквой старался,—
В первый раз сочинял он письмо
для отца своего.

Он писал и о том,
как неожиданно со мною
повстречался

И не раз за помарки
прощенья просил у него.

И просил он прощенья
За то, что сестренка в могиле
И что мать отыскать он не в силе —
Отцу ее легче найти,—
Он на то и отец
И к тому же
Имеет оружие,
И от фронта к Берлину дорога —
Короче намного,
И скорее он может дойти.

Мы сидим у стены,
Где когда-то сосед вечерами,
Под навесом ветвей,
Целовался с любимой своей.
Только иначе веет
июльские ветры над нами,
Веет теплым дыханьем хлебов,
Что растут у домов.

Но утешить тебя не могу я
ни пожарищами, ни пустырями.
Как в письме ни стараюсь
Применить тонкий ход, тонкий ход.
И к тому ж не к лицу мне

сражаться
с безрадостными новостями,—
Новость — это не мельница,
Я же — не Дон-Кихот.

Кто прошел на войне
путь большой и суровый,
Тот глаза не закроет
от правды моей.

Он писал.
И, казалось, что сам я нужнее
Становлюсь для людей:
Столько радости в дом
Не вносил я ни разу еще
Ни стихами, ни песней своею.
Сколько нынче принес
Этим скромным отцовским письмом.
Я б хотел письмоноском
шагать по дорогам военным
И отцам адреса их детей
навсегда возвращать,
И почтовые ящики
снова развесить на стенах
И четырежды в сутки
от писем их все очищать,
И чтоб каждое тронуть руками
своими
И сказать, пожелать, чтоб детело
быстрее
И чтоб люди съезжались следом
за ними,
Заселяли б квартиры скорей,
Приглашали б гостей

Кончил хлопчик письмо,
Дописавши последнее слово,
И дорога
на почту меня привела.
Я ответы принес
и с девчиною встретился снова:
Так и вышло —
своя своего миновать не могла.

И с колосьями, и с васильками
Пришли они с поля в столицу,
Перепелки ночами
свои голоса подают.
Бьется эхо живое,
о выступы дома дробится,—
Перепелки, сдается,
Не в жите — в квартирах поют

Хоть детей колыхать
Не придется нам, видимо, вскоре,
Хоть счастливыми стать
Не позволит пока что нам горе,
Но расстаться с тобою не даст
Нам примета моя.
Мы сидим и молчим в этот час,
Как свои, как друзья.

Мы немало еще поработаем вместе, —
Ты своя мне, и в этом
свидетель мой дом,
Принесла ты мне письма,
На них я ответил по чести,
А опять принесешь —
Вновь ответу своим чередом.

В этом доме недаром
Свела нас примета:
Всем жильцам
Мы с тобою ответить должны.
Для своих, для начала,
Работа не меньшая это,
Чем детей колыхать,
Если только они суждены.

В тыл напишем —
Пусть едут из эвакуации, —
Просит дом, чтоб скорей
поселился в квартирах народ.
Потому что грустят без него
молодые акации
И тенистые старые липы,
Что стоят у ворот.

Мы напишем на фронт,
что приветы им дом посылает,
Что великого дня

ожидает уверенно он,
Когда знамя победы
над всею землей запылает
И вернутся домой
те, что угнаны были в полон.

Так напишем мы всем,
Ты со мною согласна, понятно.
Сумрак тает, проходит,
Теперь за работу пора.

* * *

Наша ночь миновала,
и уже навсегда, безвозвратно,
К солнцу дом устремился,
и солнце стоит у двора.

Настажь окна и двери
квартиры открыли,
Приглашая отцов и детей,
Что когда-то здесь жили,
Приглашая, чтоб взять их с собою
И двинуться вместе с землею
От страданий,
От воспоминаний,
От тягостных дней.

И мне кажется — будто не дом, —
вся родимая наша крайна
Заняла свое место под солнцем,
Законное место свое,
И радушно все двери открыла,
Ожидая счастливой години,
Когда все мы с победой
вернемся под кровлю ее.

Июль, 1944.
Минск.

Перевел с белорусского М. Исаковский

АЛЕКСАНДР КОРНЕЙЧУК

Миссия мистера Перкинса в страну большевиков

Пьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

1. Мистер ПЕРКИНС — миллионер из Чикаго, 60 лет, очень толст, но подвижен и шумлив.
2. Мисс ДАУН — секретарь м-ра Перкинса, 25 лет.
3. Мистер ХЭМП — журналист из Чикаго, 35 лет.
4. ПЕТРЕНКО — гид «Интуриста», 22 года.
5. МАТРЕНА — шофер «Интуриста», 20 лет.
6. ОРЛОВА Степанида — председатель колхоза «Факел революции», 40 лет.
7. ОРЛОВА Маруся — дочь Степаниды, 15 лет.
8. ЧУМАЧЕНКО — заведующий свинофермой, очень толст, 60 лет.
9. ЧУМАЧЕНКО Наталья — колхозница, 35 лет.
10. ЧУМАЧЕНКО Оксана — дочь Натальи, 15 лет.
11. КОЛОТОВ — гвардии сержант, 25 лет.
12. ИВАН СЕМЕНОВИЧ — директор отеля, 50 лет.
13. ВЕРНИГОРА — гвардии сержант, 45 лет.
14. КРЕЧМЕР — немецкий летчик, 18 лет.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Москва. В большом номере гостиницы «Метрополь». Мисс Даун сидит с чемоданы. За столом пишет мистер Хэмп. Мистер Перкинс смотрит в окно.

ПЕРКИНС. Итак, мы в Москве. Вот она, столица загадочной страны большевиков. Хотел бы я узнать, какой бизнес делает мистер Сталин в эту минуту.

ХЭМП (шопотом). Если бы он знал, с какой миссией мы приехали в его страну...

ПЕРКИНС. Что вы сказали?

ХЭМП (громко). Я сказал: как хороша Москва. (Подождал ж Перкинсу, тихо.) Нам надо немедленно принять меры. Нас везде подслушивают агенты ГПУ. Говорите шопотом.

ДАУН. Какой ужас!

ХЭМП. Мистер Перкинс, здесь шутить нельзя. Вы помните мою статью «Тайны Москвы»?

ДАУН. О, да... Я так была взволнована... Вся Америка была взволнована.

ПЕРКИНС. Что вы предлагаете, мистер Хэмп?

ХЭМП. Прежде всего тщательно осмотреть этот номер. Здесь все устроено так, что каждое наше слово летит по проводам.

ДАУН. Какой ужас! Я вспоминаю вашу статью. Какой ужас!

ХЭМП. Надо обезвредить телефон. Заткнуть вентиляционную щель, там микрофон, от него идет скрытый провод. Здесь везде микрофоны, они могут быть под кроватями, под столом.

ПЕРКИНС. Хватит говорить шопотом. Я не могу. Я деловой человек. Я американец и люблю говорить громко. Давайте действовать. Тысяча дьяволов! Не теряйте времени, берите вату и затыкайте все щели.

ХЭМП. Мисс Даун, осмотрите стол и под кроватями, а мы заткнем вентиляционную щель.

ДАУН. Какой ужас!

ХЭМП. Держитесь, мисс Даун, во имя Америки вы должны жертвовать всем. (Достает из чемодана вату.)

ПЕРКИНС. Начали. Прежде всего обезвредим телефон. (Срывает с постели одеяло, заматывает им телефон.)

ХЭМП. Как же нам эту вентиляционную щель закрыть?

ПЕРКИНС. Скажите, чтобы принесли лестницу.

ХЭМП. Что вы, мистер Перкинс, они сразу догадаются. Ни в коем случае. Как же быть? Если я встану на стул... Все равно не достану. (Смотрит вверх.)

ПЕРКИНС. Что вы теряете время? Действуйте. Мистер Хэмп, становитесь у стены. (Хэмп стал у стены. Перкинс поставил около него стул.) Мисс Даун...

ДАУН. Я слушаю вас, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Мистер Хэмп, передайте вату мисс Даун, она это сделает.

ХЭМП (удивленно смотрит).

ПЕРКИНС. Живей поворачивайтесь носом к стене.

ХЭМП. Я вас не понимаю. Если я не достану, то как же мисс Даун?

ПЕРКИНС. Мисс Даун, встаньте на стул, а потом взбирайтесь на мистера Хэмпа и не теряйте времени.

ДАУН. Простите, мистер Перкинс, но вы забыли, что я, во-первых, девушка. Да, мистер Перкинс, я очень сожалею, что вы всегда забываете этот исключительный факт из моей биографии.

ПЕРКИНС. Тысяча дьяволов! Не могу же я все упомянуть. (Встал у стены, поставил около себя стул.) Мистер Хэмп, берите вату в зубы, забирайтесь на меня и поскорее затыкайте эту дьявольскую щель.

ХЭМП. Мистер Перкинс, я боюсь вы не выдержите.

ПЕРКИНС. Я не выдержу? Полезайте, чорт вас дери! Я не такие мешки, как вы, таскал на своих плечах семь лет во всех солидных портах мира.

ХЭМП. Вы были грузчиком, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. Нет, я это делал из любви к спорту.

ХЭМП. В каких портах?

ПЕРКИНС. Гонконг, Одесса, Гамбург, Марсель.

ХЭМП (взял вату в зубы, лезет на стул, потом взбирается на Перкинса).

ПЕРКИНС. Эй там, осторожней, вы мне ухо обрываете.

ХЭМП. Держитесь, мистер Перкинс. Я не знал, что вы были грузчиком. Это же будет сенсация. (Внимает записную книжку. Пишет. Тихо говорит.) Тайна миллионера Перкинса... Семь лет грузчиком во всех солидных портах мира... Гонконг, Одесса, Гамбург, Марсель.

ПЕРКИНС. Да что вы мне каблуком тычете в нос?

ХЭМП. В каком порту вы больше всего работали?

ПЕРКИНС. Затыкайте скорей.

ХЭМП. Одну минуту. (Пишет в блокноте.) Карьера мистера Перкинса началась в Гонконге...

ПЕРКИНС. Долго вы там?

ХЭМП. Кончаю. (Пишет.) Грузчика Перкинса знал весь порт. Его любили моряки... Это был веселый янки...

ПЕРКИНС. Что вы там бормочете?..

ХЭМП. Вы любили виски или джин?

ПЕРКИНС. Тысяча дьяволов! Уберите каблук с моего носа, а то я вас сброшу.

ХЭМП (пишет). Он любил виски, но пил в меру...

ДАУН. Господи, и зачем было ехать к большевикам? (Полезла под кровать.)

ХЭМП (п и ш е т). Мистер Перкинс таскал огромные мешки, он падал от усталости...

Под кроватью раздается истерический крик мисс Даун. Перкинс повернулся, и Хэмп полетел вниз. Из-под кровати выскочила перепутанная Даун.

ДАУН. Там кто-то есть. (Б о л ь ш а я п а у з а.)

ПЕРКИНС. Тысяча дьяволов!

ХЭМП. Мы американские граждане. Мы протестуем. Мы будем жаловаться нашему послу

ДАУН. Звоните послу, скорее звоните...

ПЕРКИНС. Кто там, сто тысяч дьяволов, вылезай! (П а у з а. И з п о д к р о в а т и в ы х о д и т б о л ь ш а я к о ш к а.)

ДАУН. Кошка... Какая милая кошка!..

ПЕРКИНС. Да это кот.

ДАУН. Я коснулась ее рукой и думала, что там...

ПЕРКИНС. Замолчите, мисс Даун. Кажется, звонит телефон. (Р а з в о р а ч и в а е т о д е я л о, с л ы ш е н з в о н о к.)

ХЭМП (берет трубку). Алло! (С л у ш а е т.) Хорошо, пусть зайдет. (П о л о ж и л т р у б к у.) Директор отеля сообщил, что к нам прикреплен гид. Они обыкновенно поручают это дело милостивым девушкам. Эти милые особы следят за каждым шагом иностранцев и показывают им только то, что выгодно. Они все так умеют обставить. Смотрите, мистер Перкинс, в оба.

ПЕРКИНС. Меня не надуют, не беспокойтесь.

ДАУН. Мистер Хэмп, скажите, почему же наши корреспонденты из Москвы пишут такие восторженные статьи о большевиках?

ХЭМП. Их так обставили, что они верят каждому слову. Об этом я писал не раз.

ДАУН. Да, вспоминаю. Я читала в вашей газете. Какой ужас!

ХЭМП. Мой долг вас предупредить, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Меня предупреждать нечего; я и без вас все знаю. Перед отъездом я получила полную информацию о Советском Союзе от мистера Херста и от мистера Девиса. Мистер Херст очень горячо и долго ругал большевиков. Я не выдержал и пошел с ним на пари на десять тысяч долларов. Я привезу в Америку достаточно фактов, при помощи которых докажу, что с большевиками можно иметь дело и нужно скорее с ними договориться по всем вопросам.

ХЭМП. Вы проиграли, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Я никогда не проигрывал, мистер Хэмп. Хотите пари? Я вам докажу сейчас, что я не проиграл.

ХЭМП. Пятьсот долларов.

ПЕРКИНС. О-кей. Мистер Девис так долго хвалил большевиков, что я не выдержал и пошел с ним на пари на десять тысяч долларов. Я привезу в Америку достаточно фактов, при помощи которых докажу, что с большевиками нельзя иметь никакого дела. Мисс Даун, не забудьте, пятьсот долларов за мистером Хэмпом.

ДАУН. Слушаю, мистер Перкинс. (З а п и с ы в а е т в к н и ж е ч к у.)

ХЭМП. Да, я проиграл, но проиграл и мистер Девис. Его основная ошибка в том...

ПЕРКИНС (п е р е б и в а е т). Обождите, мистер Хэмп. Я приехал сюда за фактами. Я не люблю высокопарных слов и длинных речей. Это дело ваше, дело журналистов.

ХЭМП. Все, что я писал для газет, было основано на фактах. Я знаю Советский Союз. Я здесь был три года. Мистер Перкинс, сейчас придет гид. Это будет какая-нибудь блондинка или брюнетка. Она сразу предложит вам осмотреть метро, потом библиотеку и непременно пригласит на «Лебединое озеро». Настоящую жизнь советских людей вы не увидите. Вас будут водить за нос, как ребенка.

ПЕРКИНС. Меня за нос.. Вы шутите, молодой человек. Пусть в их озере плавают не только лебеди, а живые черти на крокодилах, я туда не пойду. Я не мистер Девис.

ХЭМП. Значит, вы мистер Херст.

ПЕРКИНС. К черту Херста вместе с Девисом! Мне надоела про-

поведники, Я — янки, бизнесмен. Мне нужно знать теперь и только теперь, что будет после войны. Что думает средний советский человек? Думает ли он о мировой революции, или он хочет с нами делать бизнес? Я это должен знать сейчас. Я хочу знать, что думает мистер Сталин.

ХЭМП. Вы думаете встретиться с мистером Сталиным?

ПЕРКИНС. Нет. Я не хочу занимать его время. У него очень дорогие минуты.

ХЭМП. Но ведь это очень важное дело.

ПЕРКИНС. Для кого? Для меня, но не для него. Волнуюсь я, а не он. Я не могу к нему идти. Я не знаю их слабое место. Я не знаю, чего они боятся. А мистер Сталин знает, что я боюсь кризиса. Он знает это хорошо. Но я буду знать, что думает мистер Сталин. Об этом мне скажет средний советский человек.

ХЭМП. А вы думаете, мистер Сталин не боится кризиса?

ПЕРКИНС. Да, он не боится.

ХЭМП. Вы думаете, их спасет план новых пятилеток?

ПЕРКИНС. Чепуха. Не только у них есть план. Не в этом дело.

ХЭМП. А в чем же?

ПЕРКИНС. Если бы я знал, я бы не тратил время на поездку в Москву. Я должен найти их слабое место, и тогда будет деловой разговор. Нам нужен деловой разговор сейчас, и только сейчас, а не декларации за круглыми, квадратными, зелеными, красными, синими столами. Деловому человеку нужна гарантия. Вы понимаете, мистер Хэмп?

ХЭМП. Это сделать нетрудно.

ПЕРКИНС. Как?

ХЭМП. Поднять кампанию в прессе, требовать чтобы мистер Рузвельт сократил им поставки.

ПЕРКИНС. Это делает мистер Херст каждый день. Они угрозы не боятся.

ХЭМП. От угроз перейти к делу.

ПЕРКИНС. Нет, мистер Хэмп, поздно. Мы раздули такое дело. Мы лезем все вверх и вверх. Остановиться — это полететь вниз и расшибиться насмерть.

ХЭМП. Я предлагал это сделать раньше. Я писал об этом.

ПЕРКИНС. Отступить нельзя. Ищите их слабое место. Это главное. Смотрите в оба, и тогда будет настоящий бизнес. Мы должны знать, что думает здесь обыкновенный, средний человек. У него мы узнаем, где их слабая сторона. У него мы узнаем, думает ли мистер Сталин торговать, нуждаются ли они в нас, смогут ли без нас жить, смогут ли платить. (Здесь мы решим, за кого нам голосовать на президентских выборах — за мистера Рузвельта или... Будут ли они воевать, когда перейдут Днепр, или заключат сепаратный мир.)

ХЭМП. Что бы ни было, за мистера Рузвельта я голосовать не буду.

ПЕРКИНС. Посмотрим. На время стать средними русскими людьми. Сегодня, сейчас мы пойдем в народ. Здесь каждая минута дорога.

ХЭМП. Еще раз прошу вас, мистер Перкинс: будьте очень осторожны. Сейчас придет какая-нибудь милая блондинка, предложит вам пойти на «Анну Каренину», потом...

ПЕРКИНС. Не беспокойтесь. Я ни с какой Анной Карениной встречаться не намерен, если она даже лучшая красавица в мире. Меня никто не проведет. Мы перехитрим их. Не теряйте времени. Идите преодолевайтесь. (Даун и Хэмп уходят. Перкинс напевает песенку, откручивает чемодан, достает мяту, красную рубашку, широкие синие штаны и сапоги с непомерно широкими голенищами, снимает свой пиджак. В это время стук в дверь. Перкинс схватывает вещи и уходит за штору. Стук снова.)

ПЕРКИНС. Войдите. (Входит Ольга Петренко.)

ПЕТРЕНКО. Кажется, никого здесь нет. (Голос Перкинса из-за шторы: «Кажется, блондинку прислал!».)

ПЕТРЕНКО (по-английски). Мистер Перкинс, где вы?

ПЕРКИНС (из-за шторы). Говорите по-русски. Мне очень важно иметь практик русский язык. Как вы называется?

ПЕТРЕНКО. Ольга Петренко. Я ваш гид.

ПЕРКИНС. О-кей. Вы блондинка?

ПЕТРЕНКО. Да. А что?

ПЕРКИНС. Я знал, что вы будет блондинка.

ПЕТРЕНКО. Может быть, я зайду позже?

ПЕРКИНС. Нет, нет, я сейчас.

ПЕТРЕНКО. Я хотела только узнать. Если вы не устали, мистер Перкинс, то сегодня вы могли бы познакомиться с достопримечательностями Москвы.

ПЕРКИНС. О-кей. Как себя чувствует мисс Анна Каренина?

ПЕТРЕНКО. Если вы интересуетесь «Анной Карениной», то это можно устроить. Она у нас пользуется огромным успехом. Я уверена, что вы получите большое наслаждение.

ПЕРКИНС (тихо). Ого, наслаждение. Сразу наступает, Хэмп прав.

ПЕТРЕНКО. Что вы?

ПЕРКИНС. Я вас прошу, передайте мисс Анне Карениной мой привет и скажите ей, что мистер Перкинс очень занят и к ней заехать не может. У него большой бизнес.

ПЕТРЕНКО. Что такое?..

Из-за шторы выходит мистер Перкинс переодетый. На нем яркая красная рубака, синие штаны, огромные сапоги. На голове большой картуз с лакированным козырьком, во рту сигара.

ПЕТРЕНКО (ф а с с м е я л а с ь). Послушайте, вы, чучело гороховое! Что вы меня разыгрываете? Мне нужен мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Чучило... Что это будет чучило?

ПЕТРЕНКО. Посмотрите в зеркало, и вы поймете.

ПЕРКИНС (с м о т р и т в з е р к а л о). Очень хорошо. Настоящий русский человек.

Входит Хэмп. На нем чесучовый пиджак, из под которого видна яркая желтая рубака. На голове соломенная шляпа.

ПЕРКИНС. Знакомьтесь. Мистер Гарри Хэмп, журналист из Чикаго.

ПЕТРЕНКО. Да что вы дурака ваяете? Мне нужны американцы.

Входит мисс Даун, она в ярком сарафане, повязана платком.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, моя секретарша.

ПЕТРЕНКО. Что за чертовщина! (Подходит к телефону, берет трубку.) Директора. Иван Семенович, в сорок пятом номере никаких американцев нет. Здесь живут какие-то наши чудаки. Что?.. (С л у ш а е т.) Так... Так...

ПЕРКИНС (тихо). Не узнала она нас. Здорово я придумал.

ХЭМП. Не может быть, она притворяется. Это опытный агент.

ПЕТРЕНКО. Да... (С м о т р и т н а П е р к и н с а.) Похож. Ну, хорошо. (К л а д е т т р у б к у.) Так вы говорите, что вы мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. Да, мисс... мисс...

ПЕТРЕНКО. Петренко.

ХЭМП. Мисс Петренко, вы хотите нам предложить осмотреть метро?

ПЕТРЕНКО (с м о т р и т н е д о в е р ч и в о). Да, осмотреть метро.

ХЭМП (П е р к и н с у). Поняли, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. О-кей, мистер Хэмп. А вечером «Лебединое озеро»? Так?

ПЕТРЕНКО. Да, вечером на «Лебединое озеро».

ПЕРКИНС. Мистер Хэмп, вы блестяще все предвидели. (С м е е т с я.)

ПЕТРЕНКО. Что такое? (Подходит к телефону, берет трубку.) Директора. Иван Семенович, я еще раз утверждаю, что в сорок пятом номере живут какие-то чудаки и, по-моему, пьяные. Что?

Я еще с ума не сошла, но если сейчас сюда не придете, то это может со мной случиться. (Кладет трубку.)

ПЕРКИНС. Что вы нам хотите еще предложить, мисс Петренко? Может быть, библиотеку осмотреть? (Смеется.)

ПЕТРЕНКО. Скажите, гражданин, из какого вы театра?

ПЕРКИНС. Я из Чикаго.

ПЕТРЕНКО. Но, но... Вы артист:

ПЕРКИНС. Я кишечный король. Я покупаю кишки во всем мире.

ПЕТРЕНКО. Какие кишки?

ПЕРКИНС. Любые. Кишки свиные, овечьи. У вас очень хорошие кишки, мисс Петренко. Почему вы не продаете? Скажите, почему вы не хотите продавать кишки?

Петренко взволнованно смотрит на Перкинса, отстужает.

ХЭМП (подходит). Меня тоже интересует, почему вы не продаете кишки?

Петренко в ужасе отстужает, но ей навстречу идет Даун.

ДАУН. Мы очень хорошо платим за кишки.

ПЕРКИНС. Вы можете очень хорошо заработать.

ПЕТРЕНКО. Одну минутку... Спокойно, спокойно, граждане. Я все сделаю... Сейчас придет директор... Я все сделаю, что вы хотите. Только прошу вас, граждане, спокойно, спокойно...

ПЕРКИНС. Ваши кишки — самые лучшие кишки в мире. Они самые длинные...

Входит директор.

ПЕТРЕНКО (бросается к нему. Тихо). Осторожно, они сумасшедшие.

ДИРЕКТОР. Как?

ПЕТРЕНКО. Все о кишках говорят, хотели у меня...

ДИРЕКТОР (тихо). Так он же кишечный король. (К Перкинсу.) Как вы себя чувствуете у нас, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. О-кей. Очень примечательно.

ДИРЕКТОР. Вам очень идет этот костюм. В нем вы настоящий богатырь а ля рюс.

ПЕРКИНС. Мы будем путешествовать по вашей стране. Мы не хотим иметь разницу от средней русский человек.

ДИРЕКТОР. Очень хорошо. Мистер Перкинс, если нужно будет, пожалуйста, звоните мне непосредственно. Гуд бай.

ПЕРКИНС. Гуд бай.

Директор выходит.

ПЕТРЕНКО. Извините, что я вас приняла за... за других.

ПЕРКИНС. Это очень примечательно. Мисс Петренко, мы сегодня будем ехать в колхоз. Мы хотим видеть русский мужицкий крестьянин. Это можно?

ПЕТРЕНКО. Можно.

ПЕРКИНС. Как скоро это можно?

ПЕТРЕНКО. Хотя бы сейчас. Я вызову машину и поедем.

ПЕРКИНС. О-кей. А в какой колхоз мы поедем? (Подмигнул своим.)

ПЕТРЕНКО (вынимает карту). Можно в этот колхоз. (Показывает.) Вот колхоз «Партизан». Это сорок километров на север от Москвы. Тридцать пять по шоссе и только пять по грунтовой дороге. Будем через час. Очень хороший колхоз. (Все смотрят на карту.)

ПЕРКИНС. Примечательный колхоз. (Подмигнул Хэмп.)

ПЕТРЕНКО. Да. Вы будете довольны. Дорога туда хорошая, не устанете.

ХЭМП. Вы поняли, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. О-кей, мистер Хэмп. Колхоз «Партизан» на север от Москвы, а мы хотим на юг. Что здесь такое? (Показывает на карте.)

ПЕТРЕНКО (читает). Грибное — это село.

ПЕРКИНС. Там есть колхоз?

ПЕТРЕНКО. Должен быть. У нас в каждом селе есть колхозы. Но я вам не советую сюда ехать.

ХЭМП. Вы поняли, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. О-кей, мистер Хэмп.

ПЕТРЕНКО. Как видите, к нему только грунтовая дорога. Эти дни перед вашим приездом у нас были сильные дожди.

ХЭМП. Вы поняли, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. О-кей, мистер Хэмп.

ПЕТРЕНКО. Возможно, дороги размыло, и мы на машине не доберемся.

ПЕРКИНС. Вы здесь были когда-нибудь?

ПЕТРЕНКО. Нет, в селе Грибном я не была.

ПЕРКИНС. Примечательно, мы хотим ехать только в село Грибное.

ПЕТРЕНКО. Можно, но я предупреждаю вас: поездка может быть очень тяжелая. Если там прошли такие же дожди, как у нас...

ПЕРКИНС. Ничего, мы — американцы, мы любим что-нибудь из тяжелостей.

ХЭМП. Мы хотим ехать в Грибное. (Подмигнул Перкинсу.)

ПЕТРЕНКО. А может быть, выберем какое-нибудь село поближе к автостраде?

ХЭМП. Вы поняли, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. О-кей, мистер Хэмп. Мисс Петренко, мы едем сюда. Грибное.

ПЕТРЕНКО. Хорошо. (Подходит к телефону, берет трубку у.) Гараж. Говорит Петренко. Скажите Матрене, чтобы подавали машину. Да, сейчас. Поедем километров пятьдесят по грунтовой дороге. Пусть цени возьмет. Да...

ХЭМП (тихо). Видели птичку? Что я вам говорил?

ПЕРКИНС. Да.: Я сразу заметил. Она меня к Анне Карениной приглашала. Говорит, наслаждение получите. Нет, меня не проведешь. Долго вам придется ждать, очаровательная мисс Каренина, мистера Перкинса... Займитесь лучше продажей кишек, тогда я быстро к вам приду. А наслаждения меня не интересуют.

З а н а в е с .

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина вторая

Лунная ночь. Над озером склонились вербы. Вдали мерцают огни села. За плотиной виден кузов автомобиля. Автомобиль толкает группа людей. Слышен звонкий голос шофера Матрены: «Господа американцы, еще разочек подтолкните машину! Только дружно, больше жизни, а ну разом... раз!» Мотор зашумел и остановился. Снова голос Матрены: «Еще разочек! Веселее, господи!.. Сейчас выскочим. Господин миллионер, больше жизни!» Зашумел мотор. Голос Матрены: «Пошла». Голоса Перкинса и других: «Пошла, пошла». Блеснул свет фар на плотину, мотор зашумел и заглох. Голос Матрены: «Еще разочек, господин миллионер, больше жизни!» Голос Перкинса «Нет разочек, нет больше жизни». На плотину выходят мистер Перкинс, мисс Даун и Хэмп.

ПЕРКИНС (раздраженно). Нет разочек, нет больше жизни. (Втирает лицо платком.)

ДАУН. Это невозможно, мистер Перкинс! У меня промокли ноги, я рискую получить насморк.

ХЭМП. У меня тоже одна нога очень промокла. (Надевает очки, смотрит на ноги.) Кажется я потерял в грязи туфлю...

ДАУН. Какой ужас, вы действительно потеряли туфлю.

ХЭМП. Да, это печальный факт! Пойду поищу. (Уходит.)

ДАУН. Вам не холодно, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. Тысяча дьяволов, мне в Африке не было так жарко, как сейчас! Больше жизни, сто тысяч дьяволов!

Входят шофер Матрена и Петренко.

МАТРЕНА (весело). Не ночевать же нам здесь, господа американцы. Давайте еще разочек попробуем, я выверну руль влево, а вы подтолкните.

ПЕРКИНС (сел на платину). Нет больше разочек, нет больше жизни. Я не могу больше толкать ваш дрянной автомобиль.

МАТРЕНА. Вы мою машину не ругайте. Она отличная, американская.

ПЕРКИНС. Американская?

МАТРЕНА. Да.

ПЕРКИНС. Вы любите американские автомобили?

МАТРЕНА. Да, они очень хорошие.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, запишите: они любят наши автомобили.

ДАУН. Мистер Перкинс, я при этом лунном свете не могу записывать.

ПЕРКИНС. Тогда запомните, запишите утром.

ДАУН. Слушаю, мистер Перкинс.

МАТРЕНА (тихо Петренко). Эге... записывать хочет. А не шпионы они?

ПЕТРЕНКО. Что ты, Матрена, это же американцы, наши друзья.

ПЕРКИНС. Скажите, мисс Матрена, после войны вы будете покупать у нас автомобили?

МАТРЕНА. Что ж, если цена будет сходная, купим, чего же не купить.

ПЕРКИНС. Что такое сходная цена?

МАТРЕНА. Чтобы нам было выгодно.

ПЕРКИНС. Чтобы вам было выгодно. Хорошо. Вы торговали когда-нибудь?

МАТРЕНА. Нет.

ПЕРКИНС. Ну, а если нам не выгодно будет вам продавать автомобили?

МАТРЕНА. Так не продавайте и катайтесь на них сами.

ПЕРКИНС. Значит, вы не будете покупать у нас автомобили?

МАТРЕНА. Почему? Если вы станете продавать нам по сходной цене, купим.

ПЕРКИНС. Вы хотите нам диктовать цены, сто тысяч дьяволов! Мы, американцы, этого не допустим. Вы должны нам платить так, как платят нам все страны мира, и ни цента меньше.

ПЕТРЕНКО. А если все страны не захотят вам платить так, как вы хотите, что тогда будет?

ПЕРКИНС. Тогда они будут сидеть на своих дорогах так, как я здесь сижу вместе с вами и даром теряю время.

МАТРЕНА. Ну, вы бросьте, мистер. Если бы не вы, то мы тут не сидели бы.

ПЕРКИНС. Выходит, виноваты мы, американцы?

МАТРЕНА. Да. Подтолкните разок, только как следует. И тогда не станем терять даром время, выедем сразу.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, запомните, я /кажется нашел их слабое место.

ПЕТРЕНКО. Я говорила вам, мистер Перкинс, что эта дорога будет трудной.

ПЕРКИНС. Ничего, мы пойдем пешком.

ПЕТРЕНКО. Пешком далеко. К селу Грибному отсюда километров двенадцать будет.

ПЕРКИНС. А это что за огни?

ПЕТРЕНКО. Это какое-то село. Я не знаю, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Очень отлично, мы пойдем туда.

ПЕТРЕНКО. Лучше я пшлю Матрену, она попросит лошадей или трактор, и нашу машину вытянут.

ПЕРКИНС. Нет, мы сами это сделаем. Мы пойдем пешком в это село. Я — американец, я не могу сидеть и ждать.

МАТРЕНА. Ну идите. Я как-нибудь без вас выберусь. Не по таким дорогам ездил и сама выбиралась. (Уходит.)

Выходит Хэмп, он держит в руках туфлю.

ДАУН. Нашли туфлю, мистер Хэмп?

ХЭМП. Да, я нашел правую, но, к сожалению, потерял левую. Искал, искал и не мог найти. Придется ждать до утра.

ПЕРКИНС. Хорошо. Вы оставайтесь здесь, ищите свою туфлю, а мы идем пешком в это село, попросим трактор, и вас вытянут.

ДАУН. Скажите, мисс Петренко, здесь волков много? Мне говорили в Америке, что у вас очень много зверей.

ПЕТРЕНКО (улыбаясь). Волки встречаются.

ДАУН. И медведи?

ПЕТРЕНКО. И медведи.

ПЕРКИНС. И много здесь медведей?

ПЕТРЕНКО. Порядочно.

ДАУН. Какой ужас!

ПЕРКИНС. У вас есть оружие?

ПЕТРЕНКО. Нет. Вы не беспокойтесь. Сейчас такое время, что медведи начали строить берлоги в лесу.

ПЕРКИНС. Что такое берлога?

ПЕТРЕНКО. Это такая яма, куда забирается медведь на всю зиму. Он лежит в ней, сосет свою лапу, и его ничего не интересует в мире.

ПЕРКИНС (смеется). Они большие изоляционисты, эти медведи.

ПЕТРЕНКО. Да. Из берлоги они выходят только тогда, когда их крепко бьют по башке. Очень большие изоляционисты.

ПЕРКИНС. Странное животное.

ПЕТРЕНКО. И очень. В Америке их много?

ПЕРКИНС. В лесах у нас мало, но в конгрессе еще много. (Смеется.)

ПЕТРЕНКО. И что ж, они строят уже берлоги?

ПЕРКИНС. А почему им не строить, мисс Петренко? Кто знает, чем кончится эта война, что принесет она...

ПЕТРЕНКО. Свободу от фашизма.

ПЕРКИНС. Деловому человеку этого мало.

ПЕТРЕНКО. А что же еще нужно деловому человеку?

ПЕРКИНС. Во-первых, и это главное, я вложил свои деньги в пуговицы для солдатских мундиров, пряжки для поясов, в пулеметы и консервы, чтобы убить Гитлера и его паршивую банду...

ПЕТРЕНКО. А во-вторых?

ПЕРКИНС. Во-вторых, я хочу после войны покупать кишки во всем мире, и чтобы перед моим носом никто не закрывал дверей.

ПЕТРЕНКО (отстывает). Опять кишки...

ПЕРКИНС (схватывает ее за руку). Да, мисс Петренко. Мне нужны гарантии.

ПЕТРЕНКО. Мистер Перкинс, надо скорее кончить войну. Это главное. О кишках мы договоримся потом.

ПЕРКИНС. Нет, нет, я не могу потом. Война всё равно кончится. Люди не могут воевать всю жизнь. Я должен знать, что будет происходить на нашей сумасшедшей планете.

ПЕТРЕНКО. Ваш президент, мистер Рузвельт, в Атлантической хартии сказал...

ПЕРКИНС (перебивает). Не говорите мне о хартии. Я не занимаюсь гуманизмом. Это бизнес политиков. Меня интересует торговля товарами. Вы меня поняли, мисс Петренко? (Идет к автомобилю за ним Петренко.)

Входят мисс Даун и Хэмп.

ДАУН. Мистер Хэмп, я очень сожалею, что вы остаетесь один с этой мисс Матреной. Я вспоминаю вашу статью о советской морали. Какой ужас!

ХЭМП. Да. Здесь каждая девица может броситься на мужчину, как пантера.

ДАУН. Какой ужас! Мистер Хэмп, ради бога будьте очень осторожны!

ХЭМП. Она весьма груба. Настоящая русская мисс, хотя и недурна собой.

ДАУН. Берегитесь, мистер Хэмп.

ХЭМП. Я буду очень осторожен. Я не дам ей никакого повода.

ДАУН. Но вы же писали, что русские женщины так распушены, что они бросаются на мужчин без всякого повода.

ХЭМП. О, да, мисс Даун, обыкновенно у них так бывает.

ДАУН. Я попрошу у мистера Перкинса разрешения остаться с вами.

ХЭМП. Что вы, мисс Даун! Ни в коем случае. Вы не должны оставлять мистера Перкинса.

ДАУН. Дайте мне слово, что вы с ней не будете разговаривать.

ХЭМП. Я буду нем, как рыба.

ДАУН. О, мистер Хэмп.

ХЭМП. О, мисс Даун... (Берет ее за руку)

ДАУН. Как вы хороши, мистер Хэмп, при этом лунном свете.

ХЭМП. Моя дорогая...

ДАУН (делает шаг к нему. Хэмп вскрикивает). Что с вами?

ХЭМП. Вы, как копытом, наступили мне на мозоль. Ведь я без туфля. Ай...

ДАУН. Мистер Хэмп, у меня не копыто. Я участвовала на выставке в Голливуде. Мои ноги премированы. Вы — хам.

Входят Перкинс, Петренко и Матрена.

ПЕРКИНС. Мистер Хэмп, мы сейчас уходим. Я должен вам сказать, что эта Матрена... (Говорит шопотом.)

ПЕТРЕНКО. Мы сейчас уходим. (К Матрене.) Если мистер Хэмп захочет есть, сделай ему бутерброд.

ПЕРКИНС. Пошли.

ПЕТРЕНКО (тихо). Матрена, только деликатно с ним.

МАТРЕНА. Не беспокойся.

ПЕРКИНС. Не падайте духом, мистер Хэмп. Мы скоро пришлем за вами помощь. Развлекайте мисс Матрену.

ХЭМП. С большой радостью.

ПЕРКИНС. Пошли.

Уходят Перкинс, Петренко и Даун.

ХЭМП. Какая хорошая ночь!.. (Тихо поет.) Какие звезды!

МАТРЕНА (тихо). Со звезд начинается.

ХЭМП. Милая мисс Матрена, не кажется ли вам, что свежий воздух вызывает аппетит?

МАТРЕНА. Оно, конечно, да. Я сейчас, мистер Хэмп. (Уходит.)

ХЭМП (смотрит вслед). А она ничего, хороша, даже очень хороша. Эх, если бы вы знали, мисс Даун, как я желаю сейчас оказаться жертвой большевистской морали, вы бы лошнули от злости. Как бесконечно доверчивы наши американки, что ни напишешь — верят. Боже мой, что было бы с нами, если бы не было простофиля! Конеч цивилизации. Интересная мысль, мистер Хэмп. (Достает записную книжечку.) Чорт возьми, эта лампа плохо устроена.

Входит Матрена, в руках у нее большой ящик с продуктами.

МАТРЕНА. Что-то пищет, дьявол. А может план снимает?

ХЭМП. Разрешите, мисс Матрена, я вам помогу.

МАТРЕНА. Ничего. Как вам здесь, сподручно будет кушать?

ХЭМП. О да, милая Матрена. Я так рад, что потерял туфлю. Я рад, что мы остались вдвоем...

МАТРЕНА. А чего радуетесь? Туфлю-то потеряли...

ХЭМП. Что туфля, милая Матрена. (Достает бутылку из ящика.) Выпьем, птичка.

МАТРЕНА. Пейте, я не буду.

ХЭМП. Почему? Не пьете?

МАТРЕНА. При исполнении служебных обязанностей не полагается.

ХЭМП. Ерунда. (Наливает, подает.)

МАТРЕНА. И не просите, ничего не выйдет.

ХЭМП. Какая вы, мисс Матрена, упорная. За ваше здоровье! (Пьет, наливают вторую.) Люблю русский водка. (Опять пьет.) Скажите, дорогая мисс Матрена, сколько вам лет?

МАТРЕНА. Двадцать.

ХЭМП. А муж у вас есть?

МАТРЕНА. Нет.

ХЭМП. Почему? Разве вас мужчины не интересуют, мисс Матрена?

МАТРЕНА. Интересуют, но парни-то наши все на войне.

ХЭМП (подвигается ближе к Матрене). Ай, ай, ай... какая неприятность. Скучно вам, канареечка? (Кладет руку на ее плечо.)

МАТРЕНА. Не очень, грач.

ХЭМП. Что это — грач?

МАТРЕНА. Птица такая.

ХЭМП. О-кей, мисс Матрена. Вы канареечка, а я — грач. Очень хорошо. (Хочет ее обнять.)

МАТРЕНА. А у вас в Америке тоже так нахально лезут к женщинам?

ХЭМП. У нас в Америке, милая мисс Матрена, с женщинами разговор короткий. Мы не можем терять время на сентименты. У нас время — деньги.

МАТРЕНА. И они молчат?

ХЭМП. О, они к этому привыкли. (Обнимает ее.)

МАТРЕНА. Не верю я, не может быть, чтобы американская женщина такой была. У нас же за такой короткий разговор бьют морду. Понял, грач?

ХЭМП (убирает руки). Мисс Матрена, это некультурно.

МАТРЕНА (встает, улыбнулась). Зато честно, мистер Хэмп. (Идет к машине.)

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Хата председателя колхоза Степаниды Орловой. За большим круглым столом сидят Степанида, Чумаченко, его невеста Наталья Чумаченко, ее дочь Оксана и Маруся, дочь Степаниды.

ЧУМАЧЕНКО (курит трубку, смотрит на радиоточку). Снова хрипит... Простуженное у вас радио, Степанида Ивановна, наверно, ангину схватило.

СТЕПАНИДА. Маруся, выключи, не станет оно уже говорить.

МАРУСЯ. Пусть, может, сводка будет.

ЧУМАЧЕНКО. В это время сводки не бывает, в это время (вынимает часы, смотрит) или легкая музыка, или певица, которая под гармонию поет.

СТЕПАНИДА. Ох, и поет же она крепко.

ЧУМАЧЕНКО. Хорошая певица. У нас в Полтаве была такая.

СТЕПАНИДА (поднимает рюмку). За нашу освобожденную Полтаву.

НАТАЛЬЯ. Благодарствую, Степанида. За наших мужей.

СТЕПАНИДА. Три месяца ничего не слышать от моего артиллериста.

НАТАЛЬЯ. А мой летчик полгода молчит.

ЧУМАЧЕНКО. За сыновей наших, чтобы здоровые вернулись с победой. (Чокнулись, выпили.) Не печальтесь, бабы. Не пишут, потому дела у них сурьезные. Днепр скоро форсировать будут, а это стратегия великая. Когда мы через Сиваш шли, о, что было!..

СТЕПАНИДА. И рада я, что село ваше под Полтавой освободили... И жалко мне расставаться с вами Наталья Тарасовна, и со всею вашей семьей. Колхозники наши полюбили вас за труд, за сердце хорошее, за песню душевную, украинскую.

НАТАЛЬЯ. Спасибо, Степанида Ивановна, за слово доброе. Никогда и мы не забудем, как в горе вы помогли нам. Если бы не сад наш вишневый на Полтавщине да песня родная, остались бы мы у вас на всю жизнь.

ЧУМАЧЕНКО. Думал Гитаер, выгонит нас из хаты в степь, на мороз, и погибнем мы. Забыл глухой немец, что окромя Полтавы есть Рассея наша неисходимая.

СТЕПАНИДА. А куда он подается, когда мы границу его перейдем?

ЧУМАЧЕНКО. По моей стратегии, ему одна дорога — в землю.

СТЕПАНИДА. За это следует выпить. (Н а л и в а е т.) Спой, Наталья, вашу, о парнях, что невеселые.

НАТАЛЬЯ. Пусть Омелько начинает.

ЧУМАЧЕНКО. Начинай, а я чарку выпью и пособлю.

НАТАЛЬЯ. (З а п е в а е т п е с н ю: «Стоить гора високая» Все подтягивают. Стук в дверь. Оборвалась песня.)

СТЕПАНИДА. Кто же это в пору такую? Открой, Маруся. (М а р у с я в ы ш л а.) И душевные ж песни у вас.

ЧУМАЧЕНКО. А мне уж больно к сердцу пришла одна ваша песня. (Поет первый куплет песни о Ермаке. Входит М а р у с я.)

МАРУСЯ. Мать, какие-то американцы пришли.

СТЕПАНИДА. Американцы? Откуда же они взялись?

МАРУСЯ. Машина у них возле плотины застряла, вот они пешком к нам и добрались.

СТЕПАНИДА. А сколько их?

МАРУСЯ. Трое. Две женщины и один очень толстый мужчина.

ЧУМАЧЕНКО. Ну? Полнее меня будет?

МАРУСЯ. Такой как вы.

ОКСАНА. Наверное, капиталист.

ЧУМАЧЕНКО. Не обязательно, почему? У меня ведь болезнь. (Б е р е т г р а ф и н, н а л и в а е т р ю м к у.)

МАРУСЯ. Я их заведу в школу, пусть там переночуют, а утром мы их машину трактором вытянем.

СТЕПАНИДА. Нет, доченька. Американцы — наши союзники, надо их к столу пригласить. Угостить как следует. А то домой возвратятся и скажут своему Рузвельту: «И еще были мы в России, в колхозе «Факел революции». Колхоз хороший, а председатель колхоза Степанида Орлова скупая, весьма скупая женщина». Опозорят меня на всю Америку.

ЧУМАЧЕНКО. А это вполне возможно. Американец — человек деловой и на все глаз имеет.

СТЕПАНИДА. Проси их в хату.

МАРУСЯ. Хорошо. (В ы ш л а.)

НАТАЛЬЯ. Может, нам встать у порога встретить?

СТЕПАНИДА. Когда войдут, тогда и поднимемся.

ЧУМАЧЕНКО. А я не поднимусь. Поскольку у меня с ними расхождение насчет стратегии.

СТЕПАНИДА. Получается, политику будешь лержать.

ЧУМАЧЕНКО. А как же? Политика есть такая вещь, что без нее не посеешь и не пожнешь.

СТЕПАНИДА. Хоршо. Тогда вы сидите, а я одна встану, встречу их. (В х о д я т: М а р и я, П е р к и н с, м и с с Д а у н, П е т р е н к о. Степанида поднимается из-за стола им навстречу.)

ПЕТРЕНКО. Здравствуйте, товарищи. У нас авария с машиной. Просим помочь нам.

СТЕПАНИДА. Здравствуйте: А вы кто будете?

ПЕТРЕНКО. Я из московского «Интуриста». А это мистер Перкинс и мисс Даун, американцы. Приехали к нам, чтобы познакомиться с Советским Союзом.

СТЕПАНИДА. А я председатель колхоза «Факел революции». Объявляю вас моими гостями. В беде вам поможем, а сейчас — прошу покорно к столу. Знакомьтесь. Это мои друзья из Украины: товарищ Чумаченко, Наталья Чумаченко — его невестка, Оксана — дочь Натальи и вот Маруся — моя дочь.

ЧУМАЧЕНКО. Садись, товарищ мистер, рядышком со мною.

СТЕПАНИДА. А вы, девушки, садитесь сюда. (Показывает.)

ПЕРКИНС (садится рядом с Чумаченко, смотрит на него). Вы бизнесмен?

ПЕТРЕНКО. Мистер Перкинс интересуется, какая у вас профессия.

ЧУМАЧЕНКО. Я колхозник, заведу свинофермой. Толк в свиньях понимаю, товарищ мистер.

ПЕТРЕНКО (переводит по-английски).

ПЕРКИНС. У вас много свиней?

ЧУМАЧЕНКО. В нашем колхозе было четыреста пятьдесят.

ПЕРКИНС. А что вы делаете с кишками? Кому продаете?

ПЕТРЕНКО (тихо). Снова о кишках начинает.

ЧУМАЧЕНКО. Колбасы делаем. Я с Украины. У нас очень уважают колбасу. Спросите украинца: какая в мире наилучшая птица? Он вам и ответит: наилучшая в мире птица — колбаса.

ПЕРКИНС (рассмеялся). Наилучшая в мире птица — колбаса. Это я у вас покупаю. Чудесная реклама: Это будет знать вся Америка. А овечьи кишки вы продаете?

ЧУМАЧЕНКО. Продаем, а как же? И свиньи продаем.

ПЕРКИНС. Я очень рад, что попал к вам, в советский мужицкий колхоз. У нас авария с автомобилем. Вы нам вытяните автомобиль. Я буду вам платил за это. Я американец. Я плачу хорошо. Мы, американцы, платим за все и больше всех.

Пауза.

СТЕПАНИДА. Скажите, товарищ мистер, как поживает гражданин Рузвельт?

ПЕРКИНС. Не понимаю.

СТЕПАНИДА. Как поживает гражданин Рузвельт? Как его здоровье?

ПЕТРЕНКО (переводит по-английски).

ПЕРКИНС. А-а! О-кей! Мистер Рузвельт сейчас делает большой бизнес. (К Чумаченко.) Значит, вы овечьи кишки продаете?

СТЕПАНИДА (перебивает). А как себя чувствует жена гражданина Рузвельта?

ПЕТРЕНКО (переводит).

ПЕРКИНС. О, мистрис Элеонора Рузвельт все время в воздухе, на самолете. Она летает по всей Америке, а сейчас полетела в Австралию. (К Чумаченко.) Какие цены у вас?

СТЕПАНИДА. Нам весьма приятно слышать, что жена гражданина Рузвельта боевая летчица. За ее здоровье и за здоровье гражданина Рузвельта. (Поднимает рюмку, все встают.)

МИСС ДАУН. За мистера Сталина! (Все выпивают.)

ПЕРКИНС. Хороший русский водка. О-кей, русский виски! Отшень.

ЧУМАЧЕНКО. Закусывайте, товарищ мистер. Поросенка откусайте. Я вам сейчас подложу. (Кладет на его тарелку голову поросенка.)

ПЕРКИНС. О, как много мне.

ЧУМАЧЕНКО. А чего там! Вы такой же формы, как и я. Так что кушайте на здоровячко и не интересуйтесь. Поросенок сам себе место найдет.

СТЕПАНИДА. Наливай, Чумаченко, гостям. Выпьем за их здоровье.

ЧУМАЧЕНКО. В таком деле я никогда не отстану.

СТЕПАНИДА. За ваше здоровье, товарищ мистер, за вашу дочь.

ПЕТРЕНКО. Мисс Даун — секретарша мистера Перкинса.

СТЕПАНИДА. Секретарша? А какой пост занимает товарищ мистер в Америке?

ПЕТРЕНКО. Мистер Перкинс промышленник, миллионер из Чикаго.

ОКСАНА (тихо и взволнованно к Марусе). Смотри, живой буржуй.

МАРУСЯ. И настоящий.

ОКСАНА. Акула.

МАРУСЯ. Капитализма.

СТЕПАНИДА. За гостей-американцев. (Чокаются.)

ПЕРКИНС. За русский мужик.

ДАУН. За русский женщин. (Пьют.)

Маруся и Оксана встали из-за стола и отошли!

СТЕПАНИДА. А вы куда, девочки?

МАРУСЯ. Мама, на минутку подойдите к нам. (Степанида подходит.)

ОКСАНА (взволнованно). Мы члены комсомола. Мы не можем сидеть за одним столом с живым буржуем.

МАРУСЯ. С эксплуататором.

ОКСАНА. С акулой империализма.

МАРУСЯ. С гидрой капитализма.

СТЕПАНИДА. Тише.

ОКСАНА. Не будем.

МАРУСЯ. Не станем. Посмотри на его секретаршу, какая она бледная, худая. Разве непонятно?

ОКСАНА. Ясно, он из нее все соки высосал, жестокий эксплуататор.

СТЕПАНИДА (смеется). Эх, вы, галчата мои! (Обняла их, тихо.) В нашей воде это не акула, а карась. Идите к столу.

МАРУСЯ. Ты приказываешь как мать или как председатель колхоза?

СТЕПАНИДА (улыбнулась). Как председатель колхоза. (Пошла к столу.)

ОКСАНА. Что же делать?

МАРУСЯ. Сохраним дисциплину. Пойдем к столу. А завтра соберем комсомольское собрание в школе и сделаем доклад о живом капиталисте.

ОКСАНА. И о его секретарше, как примере жестокой эксплуатации американского народа.

МАРУСЯ. Правильно.

СТЕПАНИДА (к Перкинсу). Прошу покорно, угощайтесь еще, подкрепляйтесь. Вот хрен.

ПЕРКИНС. Спасибо. Хороший маленький свињья. Это вам колхоз давал?

СТЕПАНИДА. Нет, это дома выкормлено.

ПЕРКИНС. Вам разрешают иметь дома маленький свињья?

СТЕПАНИДА. А почему ж нет?

ПЕРКИНС. А корову вы содержали тоже дома?

СТЕПАНИДА. Есть и корова. Каждый колхозник имеет одну, а некоторые две.

ПЕРКИНС. Один корова. А вы хотели бы иметь много коров, овец, свиней? Хотели бы быть богатой?

СТЕПАНИДА. А конечно. Только дурень хочет быть бедным. Мы все за богатство.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, садитесь возле меня, запишите: они хотят быть богатыми. Это очень интересно, чорт побери!

ДАУН. Слушаю, мистер Перкинс. (Записывает.)

ПЕРКИНС (к Степаниде). Вы хотели бы иметь двадцать коров и один автомобиль?

СТЕПАНИДА. Нет.

ПЕРКИНС. Почему? Вы ведь только что говорили, что хотите быть богатой. Вам не разрешают.. Понимаю.

СТЕПАНИДА. Да разве это богатство, двадцать коров и один автомобиль? Чепуха, товарищ мистер. Я до войны имела триста пятьдесят коров, чистокровные, одна в одну. Золотую медаль моя ферма получила. Если бы не война, то по моему плану в нынешнем году было б вдвое больше у меня. А машин-то у меня было восемь грузовых и две легковых. Теперь все на фронте, одна только осталась.

ПЕРКИНС. Не понимаю. Разве у вас разрешают столько иметь?

ПЕТРЕНКО. Мистер Перкинс спрашивает не о колхозном хозяйстве, а о вашем собственном. Вы его не поняли.

ПЕРКИНС. Да, да. Не колхоз, нет. Ваш хозяйство.

СТЕПАНИДА (к Петренку). А ты тоже из Америки прибыла?

ПЕТРЕНКО. Я из Москвы. Переводчица.

СТЕПАНИДА. А какую школу окончила?

ПЕТРЕНКО. Институт иностранных языков.

СТЕПАНИДА. Институт окончила, а.. Счастье твое, что американские гости тут, а то я тебя за твою темноту хорошенько бы отругала. (К Перкинсу.) Товарищ мистер, колхозное хозяйство — это мое хозяйство. Мое собственное.

ПЕРКИНС. Только ваше?

СТЕПАНИДА. Нет. Мое и всех колхозников моего колхоза.

ПЕРКИНС. Ваше и всех колхозников?

СТЕПАНИДА. Верно.

ПЕРКИНС. У вас мертвый система. У вас не может существовать частный инициатива.

СТЕПАНИДА. Почему же?

ПЕРКИНС. У вас все равны. А если все равны, то инициатива быть не может.

СТЕПАНИДА. Нет. У нас не все равны. Мы против этого.

ПЕРКИНС. Мисс Даун запишите, это интересное открытие.

ДАУН. Слушаю, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. У вас в колхозе есть богатые и бедные?

СТЕПАНИДА. Да, есть богатые и есть бедные. Кто споро работает хорошо, тот богатый. Мы за богатых и против бедных.

ПЕРКИНС. О, мисс Даун, записывайте точно.

ДАУН. Слушаю, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Получается, ваша власть переменила свою политику?

СТЕПАНИДА. Нет, не меняла.

ПЕРКИНС. Как же так, вы были за бедных и против богатых?

СТЕПАНИДА. Когда были богатыми одни только помещики и, извиняйте, товарищ мистер, капиталисты, мы были против богатых, а теперь, когда их у нас не имеется, мы за то, чтобы все были богатыми. Такая наша линия, товарищ мистер.

ПЕРКИНС. Записывайте мисс Даун. Они все хотят быть богатыми.

ДАУН. Есть, мистер Перкинс. Это очень хорошо.

ПЕРКИНС. Я вас не спрашиваю. Пишите.

ДАУН. Слушаю, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Получается, у вас есть колхозы бедные и богатые?

СТЕПАНИДА. Есть. Но правительство их заставляет работать лучше.

ПЕРКИНС. Ваш правительство навязывает свою волю мужикам. Получается у вас мужики не имеют свободы?

СТЕПАНИДА. Тот, кто отстаёт, тот свободы не имеет. Как же, его подгонять надо, чтобы линию нашу не портил.

ПЕРКИНС. В Америке это невозможно. У нас каждый живет, как хочет. И никто не имеет права вмешиваться в его жизнь. У вас нет полной свободы для всех, полной демократии.

СТЕПАНИДА. Да. Мы со своими лежебоками да дураками воюем. Правда, у нас еще много свободы в этом деле. Этот класс в нашем государстве еще не имеет полного угнетения. А пора бы, очень уж надоело они нам. Путаются в ногах, задерживают движение.

ПЕРКИНС. Запишите, мисс Даун. У них нет полной демократии.

ДАУН. Мистер Перкинс, я думаю, что...

ПЕРКИНС. Молчите и записывайте.

ДАУН. Слушаю, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Вы хотели бы с нами торговать после войны?

ЧУМАЧЕНКО. Ну а как же? Торговля — дело великое, без нее хозяйства нет.

ПЕРКИНС. А что бы вы хотели покупать у нас?

СТЕПАНИДА. А вы что у нас?

ПЕРКИНС. Америка — самая богатая страна в мире. Она все может купить.

СТЕПАНИДА. Тогда привезите нам товаров побольше, мы купим.

ПЕРКИНС. Вам разрешит мистер Микоян торговать с нами?

СТЕПАНИДА. Не понимаю вас, товарищ мистер.

ПЕРКИНС. Мистер Микоян не хочет, чтобы мы торговали с вами. Он хочет, чтобы мы торговали только с ним.

ПЕТРЕНКО. Мистер Перкинс желает, чтобы у нас была частная торговля, а не государственная.

ЧУМАЧЕНКО. Понятно.

СТЕПАНИДА. У нас есть такая торговля. Одна баба яички продает, другая курицу. Товарищ мистер вполне свободно может купить себе на завтрак курицу в каждой хате.

ПЕРКИНС. А все курицы я могу у вас купить? Все кишки я могу у вас купить?

СТЕПАНИДА. Как-то все?

ПЕРКИНС. Все, что есть в вашем государстве.

ЧУМАЧЕНКО. Конечно. Коль выгода от этого государству будет, продать можно.

ПЕРКИНС. Выгода государству, а вам?

СТЕПАНИДА. Раз государству, значит, и нам, товарищ мистер. Государство — это мы все.

ПЕРКИНС. Если государство — это вы все, тогда почему каждый из вас не может торговать со мною, а только один мистер Микоян?

ЧУМАЧЕНКО. Вот и мы торгуем вместе с товарищем Микояном. Мы его и уполномочили дела с вами вести.

ПЕРКИНС. А зачем вы его уполномочили?

ЧУМАЧЕНКО. А гражданина Рузвельта зачем вы уполномочили политику делать?

ПЕРКИНС. То политика, а это торговля.

ЧУМАЧЕНКО. А разве вы, товарищ мистер, без политики торгуете?

Пауза. Слышны гармонь и песня девушек.

ПЕРКИНС. Русский песня. Люблю русский песня... (Все слушают нарастающую песню.)

НАТАЛЬЯ. Пойду с девушками попрощаюсь. Завтра-то утречком на Полтавщину. Пойдем, Оксана.

ПЕТРЕНКО. И я с вами. Мистер Перкинс, я вас оставляю на несколько минут.

ПЕРКИНС. О-кей.

Выходят Петренко, Наталья и Оксана.

ПЕРКИНС (подтягивает песню без слов. Вступает Чумаченко. Степанида поддерживает. Когда стихает песня, слышна только гармонь). Русский гармошка, русский балалайка. Очень отлично. Я очень люблю. Америка любит. (Наливает.) Выпьем за русскую песню.

ЧУМАЧЕНКО. О-кей, товарищ мистер.

СТЕПАНИДА. И за американскую песню. Жаль, ваших песен мы и не знаем.

ПЕРКИНС. Не знаете?

СТЕПАНИДА. Никогда не сдыхала.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, мы им будем петь американскую песню. (Начинает петь, мисс Даун подтягивает.)

ЧУМАЧЕНКО. Чувствительная песня. Восьма. Видать, про любовь. Про вишневые сады. Все понятно. На нашу, украинскую, похожа.

ПЕРКИНС. Да.

СТЕПАНИДА. У него все песни на украинские похожи. (Смеется.)

ЧУМАЧЕНКО. А оно так и есть. Сколько тысяч песен у вас в Америке?

ПЕРКИНС. Не знаю. Я на песнях бизнеса не имел.

ЧУМАЧЕНКО. У нас на Украине записано только шестьдесят тысяч песен. Кто где бы какую песню ни сочинил, в Америке ли, или даже во Владивостоке, — есть уже такая на Украине.

СТЕПАНИДА. Товарищ мистер спрашивали нас о жизни нашей! Позвольте и вас спросить: как живут в Америке, на какой линии вы стоите и по какому плану вы жить собираетесь?

ПЕРКИНС. О, Америка... Америка все может. В мире не было никогда такой богатой страны, как теперь наша Америка. Факты. Хороший костюм в Америке, не такой, как на мне теперь, а такой (пробует рукой костюм Чумаченко), вот такой, знаете, сколько стоит в Америке.

ЧУМАЧЕНКО. Какая цена ему?

ПЕРКИНС. Тридцать долларов. А ваш сколько?

ЧУМАЧЕНКО. Я перед войной заплатил за него восемьсот рублей.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, запишите.

ДАУН. Слушаю, мистер Перкинс.

ЧУМАЧЕНКО. Раз такое дело, бери, Маруся, карандаш, бумагу, садись возле меня, тоже записывать будешь.

МАРУСЯ. Хорошо. (Взяла карандаш, тетрадь, садится возле Чумаченко.)

ПЕРКИНС. У нас лучший в мире жизненный стандарт. У нас все можно купить. И сколько хочешь.

СТЕПАНИДА. А почему ж вы, товарищ мистер, в таком плохоньком костюме, да еще старомодном уж больно?

ПЕРКИНС. Это я такой специально взял с собой, когда в вашу страну ехал. Не хотел отличаться от вас.

ЧУМАЧЕНКО (пробует рукой костюм Перкинса). Интересно, запиши, Маруся.

МАРУСЯ. А чего писать?

ЧУМАЧЕНКО. Молчи и пиши. Ехал к нам и одел дрянь: думал, что у нас так одеваются.

МАРУСЯ. Есть. (Пишет.)

ПЕРКИНС. Америка имеет двадцать два миллиарда золота. Это двадцать две тысячи тонн золота. Вы понимаете наш вес?

ЧУМАЧЕНКО. О-о! Двадцать две тысячи тонн золота! Хороший вес. Это, пожалуй, и по нашим масштабам много будет. Запиши, Маруся. Цифра интересная.

ПЕРКИНС. Наша промышленность — самая большая в мире. Мы можем собрать один парокход в десять тысяч тонн за восемьдесят четыре часа. У нас с конвейера каждые пять минут сходит военный самолет. У нас миллионы автомобилей. У нас наилучшая в мире организация труда. Америка не знает слова «невозможно». Я прошу вас ответить мне, только совсем откровенно, как у вас говорят — по сердцам..

СТЕПАНИДА. По душам.

ПЕРКИНС. По душам. Я желаю знать ваше мнение, среднего советского человека. Почему у вас не понимают нас, американцев? Почему ваше правительство не хочет, чтоб знал весь ваш народ всю гигантскую силу и богатство Америки? Только по душам.

ЧУМАЧЕНКО. Хорошо. Ежели по душам, так по душам.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, записывайте дословно.

ДАУН. Слушаю, мистер Перкинс.

ЧУМАЧЕНКО. Ошибаетесь, товарищ мистер. Знаем мы о вас больше, нежели вы о нас. У вас наибольшее, чем во всем мире, золота, наилучшая техника, ну и англичане нельзя сказать чтобы бедные были, не скажу этого про них. Чего ж там, вы сами, поди, говорите, что для Америки нет ничего невозможного. Раз мы запряглись в один плуг, так уж давайте тянуть его как следует. Вы мне прямо отвечайте по душам и не крутите хвостом за этим круглым столом.

ПЕРКИНС. Мы не виновны, что Гитлер на вас напал. Ваша война с ним — это прежде всего ваше дело.

ЧУМАЧЕНКО. Конечно, но по душам, товарищ мистер, а кто немцу деньги давал и помог так вооружиться?

ПЕРКИНС. Английские банки.

ЧУМАЧЕНКО. А американские?

ПЕРКИНС. Это была ошибка.

ЧУМАЧЕНКО. Запиши, Маруся.

МАРУСЯ. Записала.

ПЕРКИНС. Вы знаете, как Америка помогает вам? Вы цените нашу помощь?

ЧУМАЧЕНКО. Знаем и весьма ценим. У меня сын летает на вашей «Кобре». Очень хвалит. Пишет, что сбил на ней десять немецких самолетов. За нее вам благодарствую. У нас каждый гражданин знает, что Америка наш друг.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, запишите. Америка это должна знать.

ДАУН. Слушаю, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Вы много израсходовали на эту войну?

ЧУМАЧЕНКО. Очень много.

ПЕРКИНС. Вам тяжело будет платить нам за помощь после войны.

ЧУМАЧЕНКО. Заплатим. Нам честь дороже денег.

ПЕРКИНС. Честь дороже денег. Прекрасный ответ. Запишите, мисс Даун. Америка всегда была верна этому принципу. И поэтому американские фирмы пользуются доверием во всем мире.

ЧУМАЧЕНКО. Заплатим вам все до копейки, товарищ мистер. Но, конечно, надо будет подсчитать все в точности.

ПЕРКИНС. Америка всегда ведет точный счет. Мы народ деловой. Мы не любим много слов, мы любим язык цифр.

ЧУМАЧЕНКО. Это очень хорошо. Получается, нам легко будет рассчитаться.

ПЕРКИНС. Да. Мы на вас зарабатывать не собираемся. Мы знаем, что у вас большие расходы. Вы наши союзники... компаньоны в одном деле.

ЧУМАЧЕНКО. И мы не собираемся зарабатывать на наших союзниках. Полагаю я, что после войны соберемся мы все, возьмем в руки карандаши, счеты и, как компаньоны в одном деле, подсчитаем все наши расходы и приходы в полной точности. Против Америки стояло столько-то дивизий Гитлера и сражались они столько-то дней, а расходы были, мол, такие-то. Ей и полагается столько-то. Против нас стояло столько-то дивизий Гитлера, и сражались мы столько-то дней, нам полагается столько-то. Против Англии стояло столько-то дивизий немцев, и расходы она понесла такие-то, значит, ей столько-то. А еще есть, товарищ мистер, такие государства, что очень много расходовали на агитацию, чтобы народы ихние не воевали, жизнь

свою сохраняли и богатства, и дожидались пока им другие мир завоюют. Тоже подсчет произвести надо будет аккуратный.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, запишите, Америка должна об этом знать как можно скорее.

ЧУМАЧЕНКО. А разве Америка не знает?

ПЕРКИНС. Нет, Я вынужден это телеграфировать немедленно.

ЧУМАЧЕНКО. А вы же говорили, что американцы — народ деловой, что у вас цифру уважают и слова не любят.

Большая пауза. Перкинс встал.

ПЕРКИНС. Если так, тогда нам придется много платить.

ЧУМАЧЕНКО. А почему только вам? Разве англичане не несут расходов или вы? Нет, мы не позволим, чтобы кто-то в нашей честной компании чужими руками жар загребал. Правда, товарищ мистер?

ПЕРКИНС. Правда.

ЧУМАЧЕНКО. Значит, вы со мною согласны?

ПЕРКИНС. При одном условии — если будете вести войну до конца, сколько б она ни длилась. Согласны?

ЧУМАЧЕНКО. Вести войну, сколько бы она ни длилась?

Пауза.

ПЕРКИНС. Да. Только по душам.

ЧУМАЧЕНКО. Мы согласны. Только, конечно, тоже при одном условии: если против вас будет стоять столько же немецких дивизий, сколько сейчас против нас. А против нас столько, сколько сейчас против вас. Согласны? Только по душам.

ПЕРКИНС. По душам. Я бизнесмен. Я ничего не понимаю в военном деле. Мне тяжело вам отвечать.

ЧУМАЧЕНКО. Коль не сила, не отвечайте. Я и так понимаю.

ПЕРКИНС. Вы хотите сказать, что ваша армия сама...

ЧУМАЧЕНКО. Про армию ничего сказать не могу. Я тоже человек не военный. Я — колхозник.

ПЕРКИНС. Я должен немедленно ехать в вашу армию. Я должен знать, что там думают. Мы перестроили всю нашу промышленность на войну. Вы понимаете, что это значит? Мы вложили все, чтобы помочь вам и всем союзникам. Я должен знать, что думают в вашей армии.

Входит мистер Хэмп.

ХЭМП. О-кей, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. О-кей, мистер Хэмп. (Подождал к Хэмпу.)

ХЭМП. Мистер Перкинс, мы можем следовать дальше.

ПЕРКИНС. Нет, мы возвращаемся обратно. И завтра же едем в армию, на фронт. Я должен знать, что думают там...

ХЭМП. Нам прежде всего следует знать, что думают тут.

ПЕРКИНС. Я уже знаю. Все знаю, что думают тут.

ХЭМП. Вы нашли их слабое место? Это будет сенсация для всей Америки.

ПЕРКИНС. Да, это будет сенсация.

ХЭМП. Я поздравляю вас, мистер Перкинс. Я вам говорил, что эти наивные русские...

ПЕРКИНС. О чем вы мне говорили, тысячу дьяволов?

ХЭМП. Что этих наивных русских раскусить не так трудно.

ПЕРКИНС. Сто тысяч дьяволов! В их душе столько же наивности, сколько в вашей газете правды. (Подходит к столу.) Прощайте. Я вам очень признателен. Я расскажу в Америке обо всем, что видел и слышал у вас. Если приедете в Америку, будете моими гостями. (Хлопнул по плечу Чумаченко.) Вы хороший бизнесмен, мистер. Я хотел бы иметь с вами дело.

ЧУМАЧЕНКО. О-кей, товарищ мистер. Счастливого пути.

СТЕПАНИДА. Счастливой дороги.

ПЕРКИНС. О-кей.

Прощаются, выходят.

СТЕПАНИДА (к Чумаченко). Как ты думаешь, с такими после войны можно дела вести?

ЧУМАЧЕНКО. Конечно, можно. Люди они весьма деловые. Только надо хорошенько в оба глядеть, чтобы не крутили хвостом за круглым столом. Тогда дело будет.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Замаскированное тростником орудие. Вдалеке виден высокий правый берег Днепра. Вечереет. Возле орудия сидят: сержант Колотов, сержант Вернигора, мистер Перкинс, мисс Даун, Хэмп, Петренко. Колотов открывает банку консервов, Вернигора из баклаги наливает в стакан водку.

ВЕРНИГОРА. Просим вас, гражданин американец, откусать фронтую чарку.

ПЕРКИНС. За Красную Армию. (Выпил.)

КОЛОТОВ. Закусывайте. Вот рыбка наша, а эти консервы — ваши.

ПЕРКИНС (берет банку). О, Чикаго! Это консервы моей компании. Они вам нравятся?

КОЛОТОВ. Очень. Мы их любим.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, запишите. Как вы называется?

КОЛОТОВ. Гвардии сержант Колотов.

ПЕРКИНС (к Даун). Пишите: гвардии сержант мистер Колотов дает блестящую оценку нашим консервам на передовой линии фронта.

ВЕРНИГОРА. Мы их называем: второй фронт.

ПЕРКИНС. Как вы называется?

ВЕРНИГОРА. Гвардии сержант Вернигора.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, пишите: гвардии сержант мистер Вернигора называет консервы Перкинса-Брайн и компания второй фронт. Америка должна это знать. Мистер Хэмп, вы должны написать, что эти консервы из Чикаго, что я, Перкинс, делаю второй фронт.

ПЕТРЕНКО. И куда это наш неудачный провожатый исчез?

КОЛОТОВ. Капитан из штаба?

ПЕТРЕНКО. Да. Сбился с пути, оставил нас здесь, а сам где-то бродит.

КОЛОТОВ. Придет. Не беспокойтесь. Наш капе отсюда три километра:

Слышен гул моторов. Перкинс смотрит вверх. Гул нарастает.

ВЕРНИГОРА. Это наши несут гостинцы на тот берег. Сейчас немцы начнут палить.

Все наблюдают за самолетами.

КОЛОТОВ. Хорошо идут, красиво.

ПЕТРЕНКО. Двадцать шесть.

ПЕРКИНС. Это американские машины?

ВЕРНИГОРА. Нет, гражданин американец. Это наши штурмовики. Их немцы называют «Черной смертью». Глядите, немецкие зенитки завесу ставят.

ПЕРКИНС. Это невозможно. Там тысячи разрывов. Они должны итти выше.

КОЛОТОВ. Сейчас увидите.

ПЕРКИНС. Они летят прямо в ад, это гибель.
ВЕРНИГОРА. Не обязательно, гражданин американец.

Слышны взрывы бомб.

КОЛОТОВ. Смотрите, как красиво один за другим ныряют.
ДАУН (кричит). Ай! (показывает рукой).

ПЕТРЕНКО. Горит один.

ВЕРНИГОРА. Да, упал. Прощай, друг...

ХЭМП (тихо к Перкинсу). Я думаю, мистер Перкинс, что наш прожоратый не заблудился. Он специально привез нас сюда. Это все спектакль.

ПЕРКИНС. Не может быть, мистер Хэмп. Они не могли предвидеть, что мы именно сюда попадем.

ХЭМП. Они предупредили везде.

ПЕРКИНС. Как, весь фронт, мистер Хэмп?

ХЭМП. Всю Красную Армию. Большевики все могут, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Ну?

ХЭМП. Я уверяю вас.

ПЕРКИНС. Очень хорошо. Продолжайте ваши наблюдения.

КОЛОТОВ. Вот и тихо стало. (Берет гармошку. Сел возле пушки, играет и тихо поет: «Вышел в степь донецкую парень молодой».)

ПЕТРЕНКО (к Даун). Хорошая песня...

ДАУН. Хороший парень.

ПЕТРЕНКО. Да, красивый...

ДАУН. Мисс Петренко, если бы мне разрешили, я бы тут осталась.

ПЕТРЕНКО. Мисс Даун, если бы мне разрешили, я бы здесь тоже осталась.

ДАУН (кладет руку на плечо Петренко). Хорошая песня.

ПЕТРЕНКО. Хороший парень...

ПЕРКИНС. У вас очень любят песню?

ВЕРНИГОРА. Это вещь врожденная.

ХЭМП. Это потому, мистер сержант, что у вас медленно работают, у вас много свободного времени. Америка имеет такой темп, что у нас песни не поют.

ДАУН. Неправда, Америка любит песни.

ХЭМП (удивленно). Мисс Даун...

ДАУН. Да, мистер Хэмп.

ПЕТРЕНКО (к Колотову). Я пойду потороплю капитана. (Уходит.)

ПЕРКИНС. Мисс Даун, мистер Хэмп имеет основание, у них темп жизни не наш.

КОЛОТОВ. Смотря где. Я шахтер, забойщик. Скажу вам откровенно, граждане американцы: до войны у меня в забое был такой темп, что и вашим потягаться трудно было бы.

ВЕРНИГОРА. Сколько ты давал на-гора?

КОЛОТОВ. Сто восемьдесят тонн за одну смену.

ВЕРНИГОРА. Слыхали? (К Колотову.) Пой дальше, дружок.

ХЭМП. Не каждый у вас так может.

ВЕРНИГОРА. А у вас все одинаково работают?

ХЭМП. Да. Кто отстаёт, того выбрасывают на улицу.

ВЕРНИГОРА. Мы не выбрасываем, мы учим.

ДАУН. Запишите, мистер Хэмп. Это будет иметь успех в Америке.

ХЭМП. Не беспокойтесь, мисс Даун.

ПЕРКИНС. Что вы знаете об американцах?

КОЛОТОВ. Слышали о вас много и читали...

ПЕРКИНС. Что вы читали?

КОЛОТОВ. Люблю Марк Твена. Вот он со мной. (Внимает из полевой сумки три книжки.). Вот ваш Марк Твен. Помоему, он самый веселый человек в мире.

ДАУН (взяла книжку). А это что?

КОЛОТОВ. Это под Сталинградом осколком пробило и меня поцарапало. Я ее с первого дня войны ношу с собой.

ВЕРНИГОРА. Когда под Сталинградом в один день полторы тысячи самолетов немецких стукнуло по нас, так к вечеру, конечно, немного скушно стало. Колотов стал читать нам из этой книжки, как ваш Марк Твен редактировала сельскохозяйственную газету. Смеялись так, что о бомбах забыли...

ДАУН. Мистер Колотов, я была бы счастлива, если бы вы мне подарили эту книгу на память...

КОЛОТОВ. Можно.

ДАУН. Я дам вам свой адрес, и вы мне пришлите в Америку. Эта книга будет для меня самой дорогой в мире.

КОЛОТОВ. Возьмите сейчас, а то еще осколки попадут, совсем испортят.

ДАУН. Нет, сейчас она вам нужна. Я горда тем, что наш Твен вместе с вами здесь на войне.

ВЕРНИГОРА. Берите, берите. Он ее знает на память и в точности.

ДАУН. На память?

КОЛОТОВ. Да, а книгу дарю вам.

ДАУН (торжественно). От имени всех американок... (Обняла Колотова, целует.)

ПЕРКИНС (тихо). Не кажется ли вам, мистер Хэмп, что она это делает больше от своего имени?

ВЕРНИГОРА (смеется). Эге, надо и свои книги достать.

КОЛОТОВ. От имени нашей гвардейской батареи передайте всем американкам. (Поцеловал Даун.)

ПЕРКИНС. А это кто придумал, мистер Хэмп, они или мисс-Даун?

ХЭМП. Мисс Даун.

ПЕРКИНС. Я тоже так полагаю. Вас лихорадит, мистер Хэмп?

ХЭМП. Нет, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. А это что за книга у вас, мистер сержант? (Берет, смотрит.) Кто этот генерал?

КОЛОТОВ. Этот генералиссимус Суворов, великий русский полководец.

ПЕРКИНС. У вас в армии его любят?

ВЕРНИГОРА. Очень любят. Он оружие наше прославил во всем мире. Он знал и любил солдата и за ним солдат шел в огонь и в воду. Его никто не побеждал. Суворов прошел всю Европу.

ПЕРКИНС. А вы тоже думаете пройти всю Европу?

ВЕРНИГОРА. Если маршал Сталин прикажет — пройдем.

ПЕРКИНС. Вам придется пройти много стран и положить много сил.

КОЛОТОВ. Нам помогут союзники. Они скоро высадятся во Францию, нажмут, и тогда с Гитлером разговор короткий.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, чорт побери, вы не записываете!

ДАУН. Нет, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Почему, тысяча дьяволов?

ДАУН. Это забыть нельзя, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Правильно, сто тысяч дьяволов!

ВЕРНИГОРА. За нами пойдут все народы, которые сейчас под Гитлером.

ХЭМП. А если не пойдут, мистер сержант?

ВЕРНИГОРА. А вы будто, уважаемый мистер, с луны упали. Если бы вы попались немцам в руки на один день, то таких вопросов не задавали бы.

Пауза.

ДАУН (смеется). Мистер Хэмп, почему вы замолчали?

ПЕРКИНС. Мисс Даун, еще одно слово, и я вас утоплю в этой реке, которая называется Днепр.

КОЛОТОВ. О, это не выйдет, гражданин мистер. Вам придется иметь дело с моей пушкой.

ПЕРКИНС. Это моя секретарша, и я имею право делать с ней, что угодно.

КОЛОТОВ. Здесь наше право.

ДАУН. Мистер Перкинс шутит, он любит покричать.

ПЕРКИНС. Какие шутки, сто тысяч дьяволов! Еще одно слово, и я вас оставляю здесь, мисс Даун.

КОЛОТОВ. Скажите одно слово, гражданка, не пожалеете, ручаюсь. (Взял гармонию, подошел к ней, играет и тихо поет.)

ДАУН. С какой радостью я осталась бы с вами...

Большая пауза.

ХЭМП (тихо). Это невозможно. Она может остаться здесь. Это скандал.

Перкинс встает, отходит. Хэмп подходит к нему.

ХЭМП. Почему вы молчите? О чем вы думаете, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. Вы понимаете, что это значит?

ХЭМП. Как она на него смотрит! Это неприлично. Она компрометирует Америку.

ПЕРКИНС. Мистер Хэмп, вы ничего не понимаете. На него так смотрит сейчас вся Америка.

ХЭМП. Америка — это вы, мистер Перкинс, и я, а не она.

ПЕРКИНС. Америка — это я и она, средний американец, а вы только тень бизнесмена Херста. (Идет и садится возле Вернигора. Слышен шум мотора, все смотрят в небо.)

ВЕРНИГОРА. Наш за «Мессером» гонится.

Далеко слышны пулеметные очереди.

ПЕРКИНС. Он падает.

КОЛОТОВ. Нет.

ДАУН. Горит.

ВЕРНИГОРА. Вот теперь падает немец.

ДАУН. Летчик на парашюте.

ПЕРКИНС. Он упадет нам на голову.

ВЕРНИГОРА. Прямо на нас летит.

ХЭМП. Мистер Перкинс! (Вхватил блокнот. Я возьму у него интервью. Это необыкновенный случай.)

ПЕРКИНС. А может быть, это они специально для нас придумали, мистер Хэмп?

ХЭМП. Возможно. Однако сейчас мы убедимся, мистер Перкинс.

КОЛОТОВ (берет автомат). Пошли, Вернигора. А вы ложитесь, граждане американцы, а то он гранату, чего доброго, бросит, или из автомата очередь покропит. (Пошли. Все ложатся.)

ХЭМП. Это они придумали, мистер Перкинс. Специально нас положили, чтобы мы ничего не видели.

ПЕРКИНС (раздраженно). Встаньте и посмотрите, мистер Хэмп.

ХЭМП. Когда он приземлится, я встану.

ДАУН. Мистер Перкинс, немца ведут.

Колотов и Вернигора вводят пленного немецкого летчика.

ВЕРНИГОРА. Видите, какой сопьяк. (Обыскивает, достал документы.) Кто читает из вас по-немецки?

ДАУН. Я. (Читает.) Рудольф Кречмер, лейтенант.

КОЛОТОВ. Переведите ему мой вопрос. Где находится твой аэродром?

ДАУН (спрашивает. Кречмер отвечает). Он не хочет говорить, где аэродром.

КОЛОТОВ. Звони, Вернигора, в штаб, чтобы за ним пришли, там он поразговорчивее будет.

ВЕРНИГОРА. Есть. (Уходит.)

КОЛОТОВ. Сколько тебе лет? Кто ты?

ДАУН (переводит, Кречмер отвечает). Восемнадцать. Воюет шесть месяцев, студент Берлинского университета.

ХЭМП. Могу ли я задать вопрос пленному?

КОЛОТОВ. Спрашивайте только по-русски, чтоб мы знали, какой разговор будет.

Входит Вернигора.

ХЭМП. Вы верите Гитлеру?

ДАУН (переводит, Кречмер отвечает). Он говорит «да»...

ХЭМП. Вы верите в победу Гитлера?

ДАУН (переводит, Кречмер отвечает). Он говорит, что верит в победу Гитлера.

ПЕРКИНС. Переведите точно, как он говорит, мисс Даун.

ДАУН. Он говорит: я верю в победу Гитлера.

КОЛОТОВ. А почему ты бежал за Днепр?

ДАУН (переводит, Кречмер отвечает). Он говорит: мы не бежали, мы отступали по плану фюрера.

КОЛОТОВ. А здесь ты очутился тоже по плану фюрера?

ДАУН (переводит, Кречмер молчит).

КОЛОТОВ. Молчит, не хочет признаться, что план фюрера невыполнил.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, спросите его, верит ли этот немецкий юноша, что наша коалиция — Америка, СССР и Англия — не разобьет Гитлера.

ДАУН (переводит). Он говорит, мистер Перкинс: мы, немцы, в этом убеждены.

ПЕРКИНС. Спросите его, знает ли Германия, что мистер Рузвельт торжественно заявил: Америка будет вести войну до полной капитуляции Германии.

ДАУН (переводит). Мистер Перкинс, я не могу повторить его ответ.

ПЕРКИНС. Переводите, мисс Даун

ДАУН. Он сказал, что мистер Рузвельт подведет.

КОЛОТОВ. За оскорбление на нашей территории президента союзных нам Соединенных Штатов Америки, известного нам гражданина Рузвельта, я сейчас дам ему в морду. (Ударяет. Кречмер закричал: «Гитлер капут! Гитлер капут!») А теперь, Вернигора, убери эту арийскую жабу.

ВЕРНИГОРА. С охотой. Пойдем, фриц. Ты сейчас поймешь наши союзные отношения с американским народом. (Берет Кречмера за плечо и ведет. Кречмер кричит: «Гитлер капут!»)

ПЕРКИНС (торжественно). Мисс Даун, мистер Хэмп, я прошу вас встать. От имени Соединенных штатов Америки я искренне благодарю вас, мистер сержант, за то, что вы защитили честь американского народа и его президента мистера Рузвельта. (Пожимает Колотову руку, за ним Хэмп и Даун.)

КОЛОТОВ. Не за что благодарить. Я полагаю, что если бы на вашей территории кто-либо разрешил себе оскорбить наш народ или нашего маршала, товарища Сталина, то вы поступили бы так же, как и я. Правда?

ХЭМП. У нас это невозможно. У нас свобода слова и печати.

ПЕРКИНС. Сто тысяч дьяволов, если вы, мистер Хэмп, не замолчите! Я за себя не отвечаю!

Входит Вернигора.

Издали доносится нарастающий сильный артиллерийский грохот.

Вернигора подошел и что-то тихо сказал Колотову.

ПЕРКИНС. Что это может быть, мистер сержант?

ВЕРНИГОРА. Это наши бьют.

ХЭМП. Что это горит?

ВЕРНИГОРА. Это село Поланка горит на том берегу. Хорошее село. До войны я там был. Все оно в садах, прямо как на картинке.

ПЕРКИНС. Много сел у вас сгорело? Мы по дороге видели везде развалины.

ВЕРНИГОРА. Да, много придется нам строить, очень много.

ПЕРКИНС. Ничего, не беспокойтесь, мистер сержант. Мы, американцы, после войны поможем вам отстроиться. Мы очень хотим вам помочь.

ВЕРНИГОРА. В рассрочку или как?

ПЕРКИНС. Не понимаю вас, мистер сержант.

ВЕРНИГОРА. За помощь брать с нас будете в рассрочку или как раньше, деньги сразу на бочку?

ПЕРКИНС. Вы, мистер сержант, имели бизнес с нами?

ВЕРНИГОРА. Для нашего завода когда-то покупали у вас станки. Я знаю, как вы торгуете. Хорошо торгуете.

ПЕРКИНС. Мисс Даун, идите и запишите: они хотят долгосрочные кредиты.

ВЕРНИГОРА. Я вам этого не сказал.

ПЕРКИНС. Я понимаю вас без слов. Кажется, я нашел то, что искал, — я нашел ваше слабое место.

ДАУН. Мистер Перкинс, смотрите, горит... Мистер Перкинс, смотрите...

ПЕРКИНС. Не мешайте, мисс Даун, я приехал сюда не для того, чтобы смотреть эти иллюминации.

ДАУН (оскорбленно). Мистер Перкинс...

ПЕРКИНС. Молчите, сто тысяч дьяволов! (К Вернигоре.) Вы думаете у нас покупать только станки?

ВЕРНИГОРА. А чем вы собираетесь нам еще помочь?

ПЕРКИНС. Я вас спрашиваю, мистер сержант, что вы собираетесь у нас покупать?

ВЕРНИГОРА. Думаю, что в первую очередь станки.

ПЕРКИНС. Ну, а сервис вас интересует, мистер сержант?

ДАУН. Мистер Перкинс, смотрите, горит полнеба, смотрите!

ПЕРКИНС. Мисс Даун, пусть оно горит. (К Вернигоре.) Мистер сержант, разве ваши люди не хотят жить с комфортом, как американцы?

ВЕРНИГОРА. А кто вам сказал, что не хотят?

ДАУН (кричит). Что это?

КОЛОТОВ (издали). Это «катушки» бьют.

ДАУН. Мистер Перкинс, посмотрите на «катушки».

ПЕРКИНС. Вы с ума сошли, мисс Даун! Меня никакие Катушки не интересуют уже много лет. Не мешайте мне. (К Вернигоре.) Мы, американцы, должны сейчас знать, как вы думаете жить после войны.

ВЕРНИГОРА. Жить думаем хорошо и будем жить хорошо, мистер американец.

ПЕРКИНС. Это зависит не только от вас, мистер сержант.

ВЕРНИГОРА. А от кого же?

ПЕРКИНС. Без нас вам трудно будет стать на ноги.

ВЕРНИГОРА. Даже когда вся Европа лежит под гитлеровским каблуком, мы стоим на ногах, мистер американец, и крепко.

ПЕРКИНС. Это сейчас. А вот после войны разве вы без нас сможете скоро восстановить все свое опломное хозяйство?

ВЕРНИГОРА. Это вы кого уговариваете — себя или меня?

ПЕРКИНС. Я говорю вам. Мы знаем, что вы можете и что не в ваших силах.

ВЕРНИГОРА. Знаете?

ПЕРКИНС. Да.

ВЕРНИГОРА. Тогда скажите, только правду: у вас в Америке думали, что с наших пятилеток ничего не выйдет?

ПЕРКИНС. Мы ошибались.

ВЕРНИГОРА. У вас в Америке думали, что из наших колхозов ничего не выйдет?

ПЕРКИНС. Мы ошибались.

ВЕРНИГОРА. У вас в Америке думали, что немец возьмет Москву и загонит нас за Урал?

ПЕРКИНС. Не все.

Пауза.

ВЕРНИГОРА (улыбается). Вы знаете, что там происходит? (Показывает рукой.)

ПЕРКИНС. Вы стреляете через Днепр по немцам, а они по вас. Это как на Аа Манше.

ВЕРНИГОРА. Нет, это наша танковая армия пошла через Днепр. Скоро и наша батарея будет там.

ПЕРКИНС. Не может быть!

ВЕРНИГОРА. Это факт. Бой кипит уже на той стороне. Мы идем вперед.

ПЕРКИНС. Поздравляю вас, мистер сержант. Вы, русские, всегда были хорошими войнами. Америка очень высоко ценит ваших солдат.

ВЕРНИГОРА. Да, солдат у нас хороший.

ПЕРКИНС. Россия царская всегда выигрывала войны, но редко выигрывала мир. Вы думали над этим, мистер сержант?

ВЕРНИГОРА. Это правильно, но одно непонятно: почему она занимала одну шестую земного шара? Над этим вы думали, гражданин американец?

Загудел телефон. Вернигора пошел.

ПЕРКИНС (вслед Вернигоре). С таким сержантом можно делать хороший бизнес.

Вбегает Даун. Кричит.

ДАУН. Мистер Перкинс, наши танки перешли Днепр!

ПЕРКИНС. Как наши, мисс Даун?

ДАУН. Наши, советские, союзные..

ПЕРКИНС. Ага, понимаю, мисс Даун.. (Входит Хэмп.)

ХЭМП. Мистер Перкинс, вы видите, какую комедию они устроили для нас.

ПЕРКИНС. Какую?

ХЭМП. Нашего гида нет до сих пор, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Что же из этого следует, мистер Хэмп?

ХЭМП. Где наш проводник — капитан, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. Тысяча дьяволов! Что вы этим хотите сказать, мистер Хэмп?

ХЭМП. Они сообщили в штаб о нашем приезде, организовали всю эту штуку с переходом танков, а теперь явятся сюда, чтобы нам сказать. (Входит Петренко.) Вот вы видите, она уже идет.

ПЕТРЕНКО. Мистер Перкинс, наши танки переходят Днепр.

ХЭМП. Вы поняли, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. О-кей, мистер Хэмп. Я вас хорошо понял.

ПЕТРЕНКО. Мы можем ехать к штабу. Капитан ждет нас в машине.

Слышен шум трактора. Пушка, стоявшая в стороне, покатила и исчезла. Колотов и Вернигора выносят ящики со снарядами. Перкинс внимательно смотрит, но, когда остался последний ящик со снарядами, Перкинс быстро снял пиджак, взял ящик, взвалил его на спину и лонес. Вскоре на сцену возвращаются Перкинс, Вернигора и Колотов.

ХЭМП. Что это?

ПЕРКИНС. Они тоже едут, мистер Хэмп, на ту сторону реки.

КОЛОТОВ. Прощайте, друзья американцы. Идем за Днепр, на Киев.

ВЕРНИГОРА. Передайте от нас привет американцам.

ПЕРКИНС. О-кей! Счастливой дороги! (Прощается, их провожает Даун.)

ПЕТРЕНКО. Мистер Перкинс, мы можем ехать к штабу.

ПЕРКИНС. Нет, мы возвращаемся в Москву.

ХЭМП. Как в Москву, мистер Перкинс?

ПЕРКИНС. Моя миссия в страну большевиков закончена, мистер Хэмп. Завтра мы возвращаемся в Америку. Позовите мисс Даун.

ПЕТРЕНКО. Хорошо. (Уходит.)

ХЭМП. Мистер Перкинс, какое счастье, вы нашли их слабое место? Я вас поздравляю. Это будет сенсация для всей Америки.

ПЕРКИНС. Да, мистер Хэмп, я нашел их слабое место.

Входит Даун.

Запишите, мисс Даун.

ДАУН. Слушаю, мистер Перкинс.

ПЕРКИНС. Вопрос: в чем слабое место советского народа?

ХЭМП. Отстадость, низкий жизненный стандарт, отсутствие частной инициативы, отсутствие сервиса...

ПЕРКИНС. Замолчите мистер Хэмп. Мисс Даун пишите: в чем слабое место советского народа?

ХЭМП выхватывает блокнот, карандаш.

ХЭМП. В чем?

ПЕРКИНС. Слабое место советского народа заключается в том, что он сам еще не постиг того, что он сделал и что он может сделать... Так было и с нами... Да, так было. (У Хэмпа выпадает из рук блокнот. Загорелось небо снова. Перкинс отошел, снял шляпу, смотрит в сторону зарева. Тихо говорит.) Так было и с нами...

Вдалеке заиграла гармонь. Большая пауза.

ДАУН (тихо). Счастливой дороги, мистер Колотов.

ПЕТРЕНКО (тихо). Счастливой дороги, товарищ Колотов.

Занавес

(Перевод с украинского)

Павшим с честью — ничего
не надо,
Утешать утративших — грешно.

По своей такой же скорби — знаю,
Что, неукротимую — ее
Сильные сердца не обменяют
На забвенья и небытие.
Пусть она — чистейшая, святая,
Душу нечерствеющей хранит;
Пусть, любовь и мужество питая,
Навсегда с народом породнит.

Незабвенной спаянное кровью
Лишь оно — народное родство —
Обещает в будущем любому
Обновление и торжество.

— ...Девочка, в январские морозы
Прибегавшая ко мне домой, —
Вот — прими печаль мою и слезы,
Реквием несовершенный мой.

Все горчайшее в своей утрате,
Все, душе светившее во мгле, —
Я вложила в плач о нашем брате,
Брате всех живущих на земле...

...Неоплаканный и невоспетый,
Самый дорогой из дорогих,
Знаю — ты простишь меня за это,
Ты, отдавший душу за других.

Ленинград.
Май 1944 года.

РОБЕРТ ГРИНВУД ОТРЯД ВЫХОДИТ

Роман

Перевод с английского М. Абкиной

Глава первая

Несмотря на свою молодость, м-р Браунинг относился к вещам и событиям весьма серьезно, отчего на лбу его даже образовалась небольшая складка. Ему казалось, что товарищи его по санитарному отряду противовоздушной обороны проявляют небрежность и легкомыслие. Это раздражало его: склонный несколько важничать, он считал все их ошибки и недостатки «типично бермондсейскими». Сам он жил не в Бермондси, и сегодня ему не было необходимости присутствовать здесь, — он мог бы провести это утро где-нибудь на реке со своей невестой. Однако Браунинг отказался от воскресного отдыха, чтобы участвовать в проверке противовоздушной обороны в этом лондонском пригороде. М-р Браунинг считал, что если он способен проявлять интерес к этому делу, то и товарищи должны следовать его примеру.

На хорошеньком личике Дженни Дэдс, выглядывавшем из-под стальной каски, можно было прочесть радостное предвкушение интересных событий. Шерсть для вязания и начаты серые перчатки, которые, казалось, никогда не будут окончены, лежали забытые на ее коленях. Лоусон пришел без каски. Он вспомнил, что хотел выяснить, куда ее девали его ребята, только в тот момент, когда, появившись из-за угла, увидел своих товарищей одетыми по форме. Теперь Лоусон — единственный из добровольцев — стоял без каски, вытянувшись не по правилам и позоря весь отряд. Юный м-р Браунинг (в отряде его звали просто Брауни) решил сделать замечание Лоусону и тем самым выполнить свой начальнический долг. Брауни был командиром отряда.

Выговор только углубил уже имевшуюся трещину в отношениях между Брауни и Лоусоном. Впрочем, перебранка, к которой Дженни прислушивалась с неослабевающим интересом, вскоре прекратилась. Наступило молчание, тягостное, ибо в нем чувствовалось раздражение.

По мнению Брауни, Лоусон был вообще глуп, а если у него имелась весьма смутная и расплывчатая способность мыслить, то более отчетливо проявлялась она лишь тогда, когда дело касалось его личных обид. Лоусон не желал признавать за Брауни права делать ему замечания, заявляя, что, во-первых, он — доброволец, а, во-вторых, это лишь «практические занятия». Он и всегда готов был спорить со всяким начальством, сегодня же в его протестах заметен был какой-то издевательский оттенок.

Сейчас он, прислонившись к санитарной машине, свертывал себе папиросу — табак был у него в жестяной коробочке — и ожидал начала занятий. Брауни был терпелив и настроен стойчески. Дженни наслаждалась, сидя за рулем машины, а Лоусон злился — лицо у него подергивалось, и он ворчал, словно продолжая спор. Брауни, сделав Лоусону замечание насчет каски, не разрешил ему пойти за нею домой. Лоусон решил, что командир отряда зазнался и хочет показать свою власть. И почему это Брауни — командир отряда, а не он, Лоусон? Не потому ли, что Брауни барин и учился в колледже и занимает хорошее место в конторе какого-то архитектора? Все это было ненавистно Лоусону.

Брауни направился в дежурку. Лоусон, без сомнения, был бы удивлен, если бы знал, как болезненно ощущал Брауни взгляд, устремленный ему в спину. Этот взгляд, казалось, пронизывал его насквозь.

Брауни считал Лоусона человеком «второго сорта», существом, которое пресмыкалось и раболепствовало, и которое, прежде всего, нуждалось в хорошей горячей ванне с нашатырным спиртом. Тем не менее взгляд Лоусона приводил Брауни в замешательство и заставлял его уйти в контору за справкой, отчего задерживалось начало занятий.

Проходя в дежурку сквозь защитный занавес, Брауни услышал, как Дженни, желая проверить, в порядке ли машина — она относилась к недоедем ко всякого рода механизмам — завела мотор. Прodelала она это с явным пренебрежением к инструкции, Брауни до сих пор еще помнил, как расспрашивал Дженни, сколько времени она была шофером до войны. Помнил он и ее ответ — взгляд Дженни выразил удивление, когда глаза их встретились.

— Она, наверное, водила их семейный «Даймлер»¹, — сказал Лоусон, — когда хотела, чтобы шофер отдохнул.

Такой образец ист-эндского остроумия заставил Брауни покраснеть. Он ничего не сумел ответить Лоусону и чувствовал себя преглупо.

После томительного ожидания на улице дежурка показалась Брауни насыщенной особенным деловым оживлением. Здесь Брауни был вроде как дома: он ведь причислял себя к тем, кто стоит на высоких ступенях культуры.

Капитан Скарджил склонился над большой картой, разложенной на столе, объясняя предмет занятий. В комнате велось одновременно несколько телефонных разговоров, но его голос без особого напряжения перекрывал их. Скарджил импровизировал, изменял планы, стараясь до предела использовать все возможности; короче говоря, занимаясь решением уравнения со многими неизвестными, — двадцать пять лет пребывания в английской армии приучили его к этому. Он пришел к бесспорному, но шаблонному решению. Он несколько раз повторил его всем стоящим вокруг, сформулировал в виде отчета начальству, наметив план занятий — обширный и мало эффективный — на много месяцев вперед. Но серьезность, с которой он относился к этому заданию, превозмогла все его разочарование. Он сказал торжественно, словно впервые выдвигая какую-то новую идею:

— При тех ресурсах, которыми мы располагаем в настоящее время, не представится возможности бороться со сколько-нибудь крупным налетом: у нас не хватает санитаров, нам требуется больше оборудования, большее количество свободных от всякой другой работы людей. По предположениям правительства, когда начнутся бомбежки, число несчастных случаев будет доходить до тридцати тысяч в сутки.

Он окинул всех взглядом своих серых спокойных глаз.

— Должен вас предупредить, друзья мои, что возможна паника. Но вы должны знать только одно: мы выдержим, несмотря ни на что.

Сделав такое заявление, он зажег бумажку, раскурил ею трубку и отпустил командиров отрядов на их посты. Он не высказал ни своих личных мыслей, ни личных ощущений. Может быть, их у него и вовсе не было, и он обладал лишь одной способностью — противопоставлять любым трудным обстоятельствам дисциплинированность воли и чувств.

Скарджил всегда говорил «когда начнутся бомбежки», а не «если начнутся бомбежки». Как солдат, он знал, что на войне всегда следует рассчитывать на худшее. Но тридцать тысяч жертв в сутки? Понимал ли Скарджил и любой из тех, кто стоял рядом с ним за столом, что означают эти слова? У Брауни было больше воображения, чем у других, и он внезапно почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Но потом он решил: «Скарджил ведь обязан это говорить, такая

¹ Автомобильная марка.

уж у него работа», и направился к своему отряду. Внешне он был бодр, как и все остальные.

— Перенесли на другой час, — сказал он, подходя к машине, — А мы уже почти готовы.

— Чорт возьми! — со злобой воскликнул Лоусон. — Я уже два раза успел бы принести его.

Брауни понял, что эти слова относились к шлему. Он не способен был догадаться ни об одной мысли Лоусона, пока она не была высказана. Они вызревали, распространялись, как тлеющий огонь, и, наконец, появлялись на свет божий, и каждая, была как бы комментарием к уже совершившемуся событию.

Усевшись на ступеньку машины, как можно дальше от Лоусона, Брауни вынул из кармана книгу и предался духовным наслаждениям. После нескольких лет зубрежки к экзаменам по архитектуре он, наконец, теперь мог читать для своего удовольствия. Сейчас у него в руках была небольшая книга по эстетике архитектуры: там говорилось о новых прекрасных городах, которые должны возникнуть на смену старым и безобразным. Там говорилось о новых, хорошо распланированных зданиях, которые должны будут веселить сердца, вместо того чтобы ввергать их в уныние, как эти убогие улицы вокруг. Воображение Брауни разыгрывалось с каждой прочитанной страницей. Чтение целиком поглотило его: он сидел отрешившись от всего и всех, точно на каком-то пустынном холме, наедине с собой и со своими честолюбивыми грезами.

Дженни с любопытством следила за ним со своего шоферского места; Брауни нравился ей. До этого времени она не знала никого, похожего на него. Она считала Брауни невероятно умным и постоянно прислушивалась к его словам, точно они всегда были интересны и значительны. Однако в нем было что-то забавное: серьезность и важность, какие бывают у маленьких мальчиков, и, кроме того, ее огорчала его сдержанность. Порою ей хотелось подойти к нему, протянуть руку и разгладить морщинку у него на лбу.

Она сняла с головы шлем, положила его на колени (шлем сразу же утратил тот обаятельно женственный вид, который был у него, когда он украшал ее голову) и легким движением отбросила назад волосы.

— Когда же мы начнем, Брауни?

— Как всегда, все перепуталось, — проворчал Лоусон, неожиданно возвращаясь к жизни. — И это называется воскресное утро? Дали бы хоть немного поспать...

— Выступление назначено на...

— Вы уже нам говорили, — прервал его Лоусон. Еще немного — и он затеял бы новый спор с начальством, но в этот момент заметил, что Брауни вынимает папиросы. Постоянное жадное стремление получить что-нибудь даром заставило его умолкнуть.

Но Брауни еще не успел прикурить, как Дженни воскликнула:

— Слушайте! Сигнал! Ура, мы выступаем!

— А теперь, Дженни, «выключайте мотор», «запускайте мотор», «принесите шлем», «оставьте дома шлем»... И снова, как белка в колесе... — начал было Лоусон.

— Садитесь в машину и прекратите воркотню, — сказал Брауни с раздражением.

Они вошли в автомобиль скорой помощи, только недавно сошедший с конвейера. Он еще блестел, и от него даже пахло заводом. Брауни, неизменно озабоченный тем, чтобы у него в отряде все было в порядке, занялся ящиком с бинтами. Когда он перебирал их, его охватило странное острое предчувствие реальности того, что может случиться. Кровь, смерть, крики и взрывы, смещение и ужас кругом и, может быть, всего сильнее в его собственном сердце. Страшное дело! А ведь главная работа выпадет на их долю, — его, Дженни, Лоусона, но отвечает за все он, Брауни. И, чтобы как можно лучше подготовиться

к будущему, он старался вообразить, на что все это будет похоже во мраке, во время затемнения, когда зенитки будут гроыхать в ответ на бомбы, летящие сверху, а дома превращаться в бесформенные массы кирпича.

— Следуйте за головной машиной, Дженни. Мы должны направиться в район Траннер-стрит и подобрать людей, пострадавших от налета. Лоусон, вы будете снимать носилки с машины, а я перевязывать.

Раздался скрежет — как всегда, когда Дженни переводила скорость. И машина, накренившись, рванулась вперед.

Лоусона не интересовало, куда его везли: чем дальше, тем лучше. Он сидел, удобно откинувшись на спинку машины, и пока был доволен: вот сейчас он наконец-то получает кое-что от правительства, которое до сих пор только обирало его. А что правительство сделало для него теперь во время войны, когда он потерял работу? С самого начала войны Лоусон беспрестанно говорил об этом. Он был первым на Паулингс-сквер, лишившимся работы. И ответ на вопрос, «а что правительство для меня сделало?» — был один: ровнехонько ничего. Его призывали и плакаты и радио идти добровольцем только потому, что Англия была «его страна». Ну да, конечно, Англия — его страна, когда он ей нужен.

Когда он пришел в отряд, все только и слышали, что главным пострадавшим в этой войне был он, Чарли Лоусон.

— Как это произошло, что вы из-за войны потеряли работу? — спросил его Брауни, плохо знавший, как живут в бедных кварталах Лондона.

Но Лоусон не желал подвергаться перекрестному допросу.

— Разрешите-ка вас спросить, вы давно не видели бананов?

— Давно, пожалуй. Но при чем тут это?

— Лоусон хочет сказать, — вмешалась Дженни, — что до войны он занимался торговлей бананами.

— О, вы продавали бананы?

— Ничего подобного, — презрительно возразил Лоусон, точно Брауни полагалось знать, в чем дело. — Я работал на складе, где им дают вырезать. Понимаете? Бананы приходят к нам зелеными. Их отправляют на такие склады, где они доходят в тепле.

— Понимаю, — отвечал Брауни, которому никогда не приходило в голову, что могли существовать подобные Лоусону специалисты по наблюдению за созреванием бананов.

Но бананы для Лоусона были древней историей. Теперь он служил у Бэттерсби, собирал квартирную плату с жильцов и еженедельные взносы на платье и мебель. Ну и работа в военное время, — выколачивать долги со съемщиков, а особенно для Бэттерсби! Мысль о Бэттерсби отрезвила его, словно в его гороскопе внезапно обнаружили зловещие приметы. Гнилые зубы закусил верхнюю губу, взор устремился куда-то в пустоту.

— Вам-то легко говорить, — еще вчера сказал он Бэттерсби, когда они вместе обсуждали вопрос о задолженности жильцов. Бэттерсби, едя за столом, в изношенном котелке, постоянно испачканном чем-то белым, ответил: — Мое дело — говорить, ваше — слушать, — и прочел Лоусону целую лекцию о том, как надо взыскивать деньги. Бэттерсби, приземистый, беспечно болтавший, грубый и веселый до первой ссоры, любил деньги. Он, кроме того, любил пиво и женщин, но больше всего любил деньги, — они были ключом ко всему остальному.

Если бы когда-нибудь Бэттерсби вздумал сравнить суммы, которые приносил ему он, Лоусон, с теми расписками, которые он давал жильцам, он догадался бы, почему так растет их задолженность. И началась бы тогда история!

— Чорт побери! — пробормотал Лоусон. Он понимал, что избежать неминуемой катастрофы ему не удастся. Но непосредственного выхода из создавшегося положения у него не было. Отдаленная перспектива,

заманчивая до крайности, о которой он так мечтал и которая полностью удовлетворила бы все его потребности, заключалась в том, чтобы выбраться из Лондона и открыть где-нибудь трактирчик. Например, в Норфольке, на его родине, среди цветущих маков и соловьев Маленький придорожный трактирчик, с садиком позади дома, с залом, украшенным флагами, пахнущим пивом и древесными опилками. Вот это была бы жизнь! Если бы Лоусон верил в силу молитв, он стал бы молиться. Но он был неверующий. Последние десять лет он бывал на футбольных состязаниях, где бился об заклад, или принимал участие в конкурсах объявлявшихся газетами. Ему казалось, что только таким образом можно заставить фортуна повернуться лицом к таким людям, как он, Чарли Лоусон. В течение ряда лет мечты о своем собственном трактирчике где-нибудь в деревне, мечты, которые могли стать реальностью еще две недели тому назад, поддерживали его так же как отшельника в его суровой келье укрепляет мысль о царствии небесном. Но все газетные конкурсы были отменены с начала войны.

Ну, а что все-таки, если Бэттерсби обнаружит истинное положение со сбором долгов?

Лоусон отбросил толстый окурок папиросы, прежде чем он успел обещать ему губы. Легкая жизнь у парней, подобных Брауни! Ни жены, ни ребят, на которых нужно работать; он получает в неделю семь фунтов, даже не запачкав рук. И эти парни презирают его, Лоусона! Он хорошо это знает, он умеет читать чужие мысли. Они тебя презирают за то, что ты не так много знаешь, как они, за то, что ты вечно, недоволен. Пусть не воображают, что он, Лоусон, поступил в отряд противовоздушной обороны, чтобы доставить удовольствие правительству! Лоусон часто объяснял, зачем он пошел добровольцем: чтобы хоть как-нибудь помочь детям городской бедноты и их матерям, если начнутся бомбежки.

Он рассчитывал, что если когда-нибудь станут бомбить Бермондси, первая бомба, с божьей помощью, упадет на контору Бэттерсби, и все его приходные книги сгорят. Это была единственная возможность упорядочить дела Лоусона и его последняя надежда. Чем яснее Лоусону рисовалось как это все было бы удачно, тем больше он убеждался в достижимости подобного счастья — был бы только воздушный налет. Несмотря на убежденный пессимизм, он обладал неистребимой способностью верить в чудо.

Шедшая перед ними машина неожиданно остановилась, сделала поворот и пошла по новому направлению. Брауни внимательно осматрелся по сторонам.

— Газ! — крикнул он. — Улицу перегородили.

— Я тоже поверну, — сказала Дженни, которой нравилось делать резкие повороты.

— Придется надеть маски.

— К чему это? — спросил Лоусон. — Мы же сейчас выберемся отсюда.

— Кроме того, — сказала Дженни, — газ-то ведь условный. На самом деле никакого газа нет.

— Надо соблюдать правила — настаивал Брауни и помог Дженни надеть противогаз. Надев свой, он услышал приглушенный смех Дженни.

— Брауни, у вас устрашающий вид.

— Какой?

— Устрашающий.

Он покачал головой, не расслышав, и они поехали за уходящей передней машиной: ее шофер, очевидно, не надел противогаза, так как сумел очень сильно опередить их. Впрочем, Брауни мог убедиться, что вообще ни на ком, кроме него и Дженни, не было противогаза. Несколько дежурных по ПВО, мимо которых они проезжали, с удивлением посмотрели на них. У Брауни появилось неприятное ощущение, что он свалил дурака. Для мнительных людей даже противогаз не защита.

Завернув за угол, они подъехали к головной машине. Вокруг нее толпились какие-то мужчины и мальчики со знакомыми красными повязками на руках.

— Пожалуй, лучше снять противогазы,— сказал Брауни,— Здесь имеются пострадавшие.

Ему стало жарко, душно. Он задохнулся, поднимая реснички и снова, в который раз, ощутил головокружение и сжатие в груди. Его часто предупреждали, чтобы он избегал чрезмерно физического напряжения, но Брауни всегда было легче дойти до предела своих сил, чем уклониться от порученного ему дела. Как только он останавливался на миг, чтобы перевести дыхание, Лоусон нетерпеливо оборачивался, не понимая, чего он там канителился. Несмотря на свой болезненный вид и сгорбленные плечи, Лоусон с легкостью поднимал большие тяжести, а лекарством от одышки у него всегда служила новая папироса.

— У нас нехватает санитаров,— возмущенно заявила Дженни, заметив, что для Брауни эта работа слишком тяжела.

— Санитары вообще есть, но не все явились.

— Жалко, что явились все пострадавшие,— заметил Лоусон.

— А не могут ли наиболее грузные сами добираться до машины?

— Да ведь они — пострадавшие, Дженни. Предполагается, что они беспомощны, и мы должны их переносить.

— А разве нельзя предположить и то, что мы переносим их, фактически не делая этого? Так будет легче.

— Ясное дело. Почему бы нет, Брауни? Скажите, чтобы они сами добрались до машины, и там перевязывайте.

Такая постановка вопроса рассердила Брауни,— она показалась ему типично «бермондсейской». — Да ведь во время настоящего налета мы не сможем этого делать? Что за окошечко!

— Ничего себе! — воскликнул Лоусон. — Слышите, Дженни?

Они тронулись, выгрузили пациентов на пункте и отправились обратно. Брауни сидел рядом с Дженни и все время смотрел вперед, стараясь, чтобы глаза его не встретились с испытующим взглядом Дженни, время от времени устремлявшимся на него. Он все еще тяжело дышал. «Я слишком много курю», сказал он себе, повторяя слова, которые произносил во время переосвидетельствования, когда стетоскоп останавливался на его груди, а доктора, покачивая головой, изрекали неуловимый приговор. Брауни старался дышать ровнее и отводил глаза от глаз Дженни. Конечно, она будет настаивать, чтобы на пункте он подкрепился чашкой чая. Но Брауни не любил таких проявлений симпатии. Они были членами одной команды и поэтому должны вести себя, как в команде, не думая о себе, как об отдельных личностях. Но его огорчало это проверочное занятие. — «На полный ход!» — приказал Скарджил. Они проводили занятие на «полный ход», только оно было и плохо организовано, и недостаточно продумано. Его отряд, состоявший всего из трех человек, должен был обслужить еще одну машину. А что было кругом? Одни бесконечные ошибки, несогласованность в действиях различных отрядов, трения, а главное — целая куча вопросов, на которые никто не мог дать ответа. Неподготовленность города пугала Брауни.

Посреди улицы их остановил дежурный.

— Проезд здесь закрыт. Разве вы не видите?

— Но вы пропустили головную машину.

— Мне не удалось ее остановить. Предполагается, что здесь улица засыпана обломками.

— Господи! Теперь мы оторвемся от головной машины и не будем знать, куда ехать,— сказал Лоусон таким тоном, точно предвидел это с самого начала.

— Ведь это глупо! — протестовал Брауни.

— Ничего не могу поделать. Поворачивайте обратно!

Дженни сделала неудачный поворот, машина въехала на тротуар и остановилась, наткнувшись на перила. Брауни выглянул из кабины.

перила погнулись. Он подумал (мысль была неожиданной для него самого), — «Неважно, теперь война», и велел Дженинн выбиратья отсюда как можно быстрее. Он не узнавал себя в это утро.

Они направились на Тули-стрит, где можно было осмотреться. И вот тут-то начались трудности. Машина, за которой они должны были следовать, исчезла. В поисках ее они пересекли перекресток, доехали до конца улицы, сделали несколько поворотов наугад и, наконец, очутились в тупике.

Дженинн остановила машину и даже выключила мотор. Она чувствовала, что они во всех смыслах попали в тупик.

— Интересно знать, что же нам теперь делать? — сказал Брауни, забыв, что он — начальник.

Лоусон вылез из машины и стал бессмысленно осматриваться, точно ему требовалось убедиться в том, что и без того было очевидно.

— Вы — начальник, — сказал он и снова взобрался на свое место.

— Хотел бы я знать, что скажет Скарджил, — заметил Брауни. — Как все это глупо!

Брауни больше всего не любил делать то, что могло кому-нибудь показаться глупым. Где-то головная машина будет ждать их с тремя тяжело ранеными на носилках и четвертыми носилками — пустыми. Начнутся споры между пострадавшими и шофером, а на конечном счете будут криковать Брауни и его отряд.

— А может, нам лучше вернуться на пункт первой помощи? — предложила Дженинн, без особой спешки выбираясь из тупичка. — Вина-то ведь не наша.

Лоусон поддержал это предложение выразительным «да-а»; и при этом не преминул добавить, что все их предприятие потерпело фиаско.

— Давайте сделаем разведку, — сказал Брауни, не зная, с чего начать.

— А вот еще один пострадавший, — сказала Дженинн. — Да это Билл Бэттерсби!

Они сперва не заметили Бэттерсби, стоявшего на краю тротуара и усердно размахивавшего газетой, точно он хотел задержать автобус на на положенной остановке. На его просторном пиджаке болтался ярлык, и так как Бэттерсби надоело ждать, он указывал на него, стараясь дать понять, что имеет право попасть в машину. Брауни словно впервые увидел Бэттерсби, крупного, неряшливо одетого мужчину с толстощеким желтоватым лицом. Теперь, когда его, наконец, заметили, глубочайшее уныние, сквозившее во всем облике Бэттерсби, исчезло, сменившись живостью и даже веселостью. Очевидно, он был существом общительным, которому противно было болтаться в полном одиночестве безо всякой разумной цели и разыгрывать из себя пострадавшего.

— Слава тебе, господи! Да никак это вы, Лоусон, — воскликнул он, приветствуя их с таким ликованием, будто они подобрали его с пласта где-нибудь в просторах океана. — Наконец-то! Я истекаю кровью от перелома малоберцовой кости... Представьте себе: не переходи я через улицу выпить кофе, меня бы не зацапали. А вы, Лоусон, что-то раненько поднялись сегодня.

— Да, — ответил Лоусон, не ожидавший, что во время своей добровольной работы в отряде он неожиданно столкнется с хозяином. Его выцветшие серые глаза осторожно всматривались в лицо Бэттерсби.

— Теперь я, по крайней мере знаю зачем столько ждал. Я оказался среди отставших, — сказал Бэттерсби и громко расхохотался, как будто смех, даже над собственной шуткой, согревал его.

Пошарив у себя на груди, он нашел конец веревочки, на которой был привешен ярлык; в другой руке у него был огромный сэндвич, завернутый в рваную газету. Сэндвич, слитком большой и какой-то неаппетитный на вид, был явно приготовлен не женской рукой, — Бэттерсби сделал его сам.

— Понимаете, Дженинн? Перелом малоберцовой кости, — он произнес это слово так, словно это была загадка, над разрешением которой он долго мучился.

— Это просто означает перелом ноги.

Бэттерсби взялся за ярлык и начал внимательно его рассматривать.

— Так вот оно что! Этому вас, верно, и учат на курсах ПВХО.

— Да, берцовые кости, бедренные кости, лопатки и бог знает что еще,— сказал Лоусон.— Ох, уж эти студенты-медики. Почему они не могут говорить просто, как старый доктор Патрик?

— Да, вы тяжело ранены и нужны носилки,— проговорил Брауни, нахмурив брови при встрече с этим новым затруднением. Бэттерсби не понимал, в чем дело. Дженни принялась объяснять ему:

— Мы отстали от санитарной машины с носилками.

Глаза Бэттерсби, блуждавшие по сторонам, точно в поисках чего-нибудь «забавного», прояснились. Он закинул назад голову и раскатисто захохотал. Каждому представился бар, наполненные до краев кружки, и Бэттерсби как единственный центр компании, рассказывающий о последнем «забавном случае» — об отряде, потерявшем свою санитарную машину.

— Вы, того... Немножко, видимо, засвеслись. Верно? — заметил он, и взгляд его стал насмешливым, словно что-то в облике Брауни — может быть, краска, выступившая на лице — выдавало его неспособность быть командиром.

Мысль Брауни вернулась к вопросу, что же ему делать, когда необходимо пустить в ход носилки, а санитарной машины нет. Он сосредоточился на разрешении этой проблемы, как будто она была задачей по геометрии. Такая вещь легко может случиться во время воздушного налета. И правда, во время воздушного налета может произойти что угодно. Достаточно и того, что происходит на учениях. Но разрешить эту проблему он был не в состоянии.

— Я знаю.— неожиданно предложила Дженни.— Пусть он будет раненый, но такой, которого можно везти в сидячем положении.

— Как? С переломанной ногой?

— Какие глупости! Нет, конечно, придется только заменить его ярлык.

Брауни почувствовал, что все к радости готовы принять его предложение.

— Мы не можем этого делать,— решительно возразил он. Он все хотел представить себе, как придется поступать, если подобный случай произойдет на самом деле. Он — командир и должен будет принять быстрое и окончательное решение а не стоять и морщить брови в то время, как Лоусон и Дженни смотрят на него скорее как на помеху, чем как на источник вдохновения.

— Мы должны либо найти нашу санитарную машину, либо связаться со штабом и обождать, пока оттуда не придет другая машина.

— Мне все равно, что вы сделаете, только решайте поскорее! — сказал Бэттерсби.— Я хочу есть. Я с утра съел всего лишь один сэндвич.

— У вас будет перелом руки, Билл, и мы возьмем вас в машину.— сказала Дженни успокоительным тоном.— Тогда мы все сможем позавтракать.

— Но ведь этого нельзя будет сделать во время налета,— протестовал Брауни.

— Я знаю, что нельзя будет.— ответила Дженни таким тоном, точно говорила с маленьким мальчиком.— Тогда нам придется придумать, что-нибудь другое. Но ведь сейчас не воздушный налет, и мы можем это сделать. Понимаете. Брауни?

— Да,— согласился Лоусон.— Давайте сюда ваш ярлык, мистер Бэттерсби.

Брауни понял, что все учение из целеустремленной игры превращалось в какой-то балаган. Дженни уже забрала ярлык и принялась слюнить карандаш.

— Если вы все же намерены проделать это, то во всяком случае надо писать чернилами,— раздраженно произнес Брауни, сдавшийся на

капитуляцию, и написал печатными буквами: «Перелом плечевой кости».

Они медленно возвращались в штаб. Рука Бэттерсби была в огромной трехугольной повязке, которую он время от времени рассматривал хозяйским взглядом. Иногда он вынимал из нее руку, чтобы зажечь спичку или стереть пятно со своего котелка. Этот Бэттерсби, как и другие, не придавал никакого значения окружающему и не видел в нем смысла. Бэттерсби пересказывал последние известия и прочел выдержки из газеты о немецком вторжении в Бельгию.

— Скоро они завязнут в грязи. Бельгия — такая страна. Я был там в прошлую войну. Мы сидели по горло в грязи.

★ ★ ★

До слуха Дженни, сидевшей за рулем, доносились обрывки стратегических разглагольствований Бэттерсби, хриплые поддакивания Лоусона и восклицания Брауни, выражавшие сомнения, но она не обращала на все это внимания. Ей казалось удивительным, как это мужчины могут до такой степени интересоваться войной. Тысячи их проводят всю свою жизнь, учась, как убивать друг друга, что, по мнению Дженни, было глупо и ствратительно.

Дженни исполнилось девятнадцать лет, когда началась война: теперь ей было уже двадцать. Все ее мечты были связаны с прошлым, все ее жизненные планы были нарушены войной. А война продолжается, и ей теперь двадцать первый, скоро будет двадцать второй. Это казалось ей ужасным. Ее бросало в дрожь при мысли, что когда-нибудь ей минет и тридцать.

Дженни не занималась самоанализом. Но когда все это пришло ей в голову, она вздохнула. В этот миг вытлкнуло солнце, и в его ярких лучах словно растаял ее вздох, ибо даже в Бермондси солнце озаряет все, возвращая мысли людей к настоящей минуте.

Она вела машину не спеша; ее внимание было поглощено солнечным светом и всем происходившим на улице. Насколько она понимала — учение закончилось. Был не очень ранний час. Окна, выглядывшие такими слепыми, когда за ними висели затемняющие шторы, теперь широко открыли глаза. В одном из них виднелась клетка с птицей, в другом — куст герани, в третьем — какая-то женщина с пыльной тряпкой. Вот два мальчика: один в синем костюмчике, а другой — в защитном, напомнимшем ей о тех, которые, казалось, никогда не придут в отпуск. Тут же, на углу, была балетная школа Фила Марша, где она училась с тех пор, как с успехом выступила в одной пантомиме. А теперь здесь помещался штаб батальона, и у входа стоял часовой: из-за этой глупой войны военные накладывают руку на все, что раньше красило жизнь.

Не будь войны, Дженни танцевала бы свой первый летний сезон в концертной бригаде «Огни эстрады». Достаточно одного взгляда на это законченное здание, чтобы вызвать сладкие воспоминания: репетиции, Фил Марш, сидевший за роялем и смотревший в полоборота, что делается за его спиной; Бэттерсби, — он был материально заинтересован в предприятии, — грузно облокотившийся на кресло в последнем ряду. Девушки, которые теперь так же, как и мужчины, разбрелись по стране, поднимались на сцену, ходили по ней, обнявшись; их звонкие, веселые голоса раздавались в пустом зале. Дженни вновь переживала то особенное чувство, когда выходишь на сцену кланяться в ответ на воображаемые аплодисменты. В это время возбужденный Бэттерсби обычно хватался за свой котелок и кричал Филу: «Эх, дружище, да все прямо вскачут с мест!» А какие заманчивые разговоры о костюмах велись дома после спектакля!

У нее было розовое платье с белым кружевным воротом и волнистыми оборками — самый лучший наряд, который Дженни когда-либо имела. Но ей даже ни разу не пришлось надеть его. После того как их группа распалась, платье лежало в комодe, тщательно сложенное и за-

вернутое в папиросную бумагу. Время от времени Дженни вынимала его и гладила рукой, точно оно было предметом, оставшимся на память о счастливых днях.

Дженни стала тихонько напевать:

Мы — Нора, и Лора, и Кора, и Тора —
Веселый балетный квартал.
Мы кружимся вчетвером,
Кацаемся и поем.
И лучше квартета — нет.

Знакомые звуки оторвали Бэттерсби от газеты. — Это, — сообщил он Брауни, — один из номеров, придуманных Филом Маршем. Номерок оригинальный, — добавил он, — такой не всюду бывает, — и спросил. не случилось ли Брауни видеть Дженни на сцене. — Лучшей фигурки, чем у нее, я ни у кого не видал, — сказал он вполголоса, — а я перевидал их не мало на своем веку, поверьте мне.

— Пропал хороший номер, Дженни? — спросил он.

Дженни кивнула головой и посмотрела внутрь машины.

— Веселей, Брауни! — сказала она, — не огорчайтесь

— Я нисколько не огорчен. Мне только кажется, что мы сегодня не сделали ничего путного.

— Точно также бывало у нас на репетициях. А спектакль проходил отлично.

Они поехали на пункт первой помощи, поставили машину в гараж, а затем всей компанией направились в столовую. Лоусон, пребывавший в подавленном настроении с того момента, когда они подобрали Бэттерсби, повеселел — в столовой было тепло, чай подавали бесплатно. Бэттерсби передали на попечение доктора. Лоусон сел на скамейку, прислонившись спиной к стене. Дженни пошла за прилавок разливать чай — занятие, не доставлявшее ей особенного удовольствия.

— А вот мистер Кэнтль, — представила она высокого и унылого человека, вернувшись с чайным подносом. — Брауни, вы можете угостить меня папиросой.

Лоусон также взял папиросу, хрипло выдавив из себя великодушное «благодарю, Брауни» и дав тем самым понять, что примирение состоялось. Кэнтль уселся на скамью рядом с Лоусоном, он также был «пострадавший». Его глаза беспокойно и пристально вглядывались в лицо любого, кто с ним говорил, а столь пессимистически опущенных усов Брауни еще ни у кого не видывал.

— М-р Кэнтль живет рядом с нами, — сказала Дженни, знакомя его со всеми остальными.

— Я заведую одной из лавок Мете, — сказал Кэнтль и, вспомнив о всех тревожениях дня, глубоко вздохнул.

— Он имеет в виду бакалейную торговлю «Метрополитен», — объяснила Дженни, заметив, что Брауни не знает этой известной торговой фирмы, хотя ее магазины имеются на каждом углу Ист-Энда.

— Да, в Мете, — грустно повторил Кэнтль, точно ему хотелось быть где-нибудь в другом месте и наслаждаться жизнью, как и все остальные. Мало кто представляет себе, как сложно заведовать бакалейной лавкой в военное время; Кэнтль решил поведать собравшимся о своих затруднениях.

— Продовольственные карточки — еще полбеда. Главное то, — (он сделал паузу, — что в министерстве продовольствия сидят люди, ничего не смыслящие в бакалейной торговле.

Он ждал, что ответит Брауни на это утверждение; глаза его выжидающе уставились на чашку с чаем.

— Они не практики, — повторил Кэнтль. — Вот в чем беда.

— Понимаю, — вежливо заметил Брауни. Он видел и Дженни, которую необычайно веселил этот разговор, склонившуюся над плечом Кэнтля, и Бэттерсби, вышедшего из перевязочной уже без повязки. Глазами Бэттерсби искал среди присутствующих утренних спутников.

— А, Кэнтль тут!—воскликнул он, садясь на скамейку и расталкивая всех.— Ноете, по обыкновению? А что, есть у вас в лавке пикули?

— Теперь пикулей не достать,— безнадежно ответил Кэнтль. В его ответе ощущалась мировая скорбь.

— А вы поищите и найдете. Да, знаете, ребята? Я, между прочим, записался в санитарный отряд.

— В какой? В наш? — спросила Дженни.

— Да. Этот парень в штабе сообщил мне, что у вас нехватает людей, я и сказал, чтобы он записал и меня. Не заслужил ли я за это чашку чая?

Он провел руками по коленям, обнаружил потертый шов и оторвал несколько вылезших ниток. Затем обследовал состояние пуговицы на пиджаке и успокоился, решив, что непосредственная опасность потерять ее пока не угрожает. Одет он был небрежно, но относился к этому философски.

— Ничто так не освежает, как чашка чаю,— заметил Бэттерсби; произнес он это таким тоном, словно чай, напиток трезвенников, нуждался в защите. Двумя медленными глотками он допил свою чашку, со стуком поставил ее на стол и объявил о своем намерении «немного промочить горло». — На это уйдет каких-нибудь три минуты,— сказал он, вынув большие серебряные карманные часы. Его интересовало сколько остается времени до открытия бара. Затем он выравнял вмятину на своем котелке, сжал руку Брауни своей огромной рукой, казалось, не имевшей костей, и объявил, что рад встрече с ним. Если Брауни пожелает познакомиться с ним поближе, его всегда по вечерам можно найти в «Драконе»,— добавил он. Затем поднялся и побрел по направлению к любимому пристанищу, захватив с собой Кэнтля.

Брауни и Дженни вышли на Бэжес-Лэйн. В течение всей недели по этой длинной и серой улице тянулись бесконечным потоком грузовики; мужчины и женщины толкались между ларьками. Но сегодня утром здесь было пустынно, тихо и скучно, как только может быть в Лондоне в воскресенье. У магазина, неподалеку от угла, Дженни остановилась и выгнула ключ из своей дешевой сумочки. Над дверью была надпись: «Генри Дэс. Починка часов». Дженни жила здесь со своим дядей. Других родственников у нее, повидимому, не было. Судя по отсутствию настоящей вывески и по двери, давно требовавшей ремонта, дела Генри Дэса были не блестящи. Мастерская находилась между бакалейной лавкой «Метрополитен», которой заведывал Кэнтль, и засиженным мухами ресторанчиком, вокруг которого стоял даже по воскресеньям, тяжелый запах бесчисленного количества изготовлявшихся там бифштексов. Место где жила Дженни, был грязный уголок Лондона; с узенькими улочками. «Удивительно,— подумал Брауни,— когда видишь девушек, танцующих на сцене в свете ярких разноцветных огней,— никогда нельзя представить себе, что эти очаровательные существа могут вести какую-то иную жизнь и, несомненно, совсем не такую, как в этом своеобразном театральном мире».

— Ну, пока, Брауни! — Ее глаза улыбались. Казалось, они проникли ему в душу и даже читали его мысли.

Брауни направился домой. На автобусной остановке он купил газету и тут же прочел все заголовки. Брюссель пал. Английская армия отступает. Италия угрожает напасть на Францию с юга.

Брауни погрузился в размышления о всех последствиях этих бедствий. У него, как у любого англичанина, было недоверие к хорошим вестям, когда же он слышал дурные вести, ему казалось, что вот, наконец, настоящая правда. Все происходящие события представились ему теперь в свете опыта сегодняшнего утра. В последние месяцы, с тех пор как Скарджил застал его в одной из старых церквей Бермондис обзревающим ее архитектурные красоты и тут же завербовал в отряд,— Брауни являлся сюда, на пункт первой помощи, три раза в неделю, дежурил ночью, обучаясь и помогая обучать других, привыкая болтаться без дела, мириться со всякого рода задержками, и запаздываниями, и переменами сроков, привыкая к новым товарищам и

к прозвищу «Брауни», которое, по мнению Дженни, вполне ему подходило. И после всех этих месяцев учебы они сегодня не могли показать лучшей организованности! Какая же в таком случае судьба уготована Лондону?

В это солнечное июньское утро перед Брауни вставало видение конца — конца многовековой гордой истории Лондона, превращенного в черные, дымящиеся развалины. Помимо страха, проникавшего в душу, его удручала мысль о стольких человеческих жертвах. Старый, седой Лондон взлелеял многое, что делало достойной жизнь человечества. А теперь все это было под угрозой — и достижения мысли, и красоты искусства, даже та свобода, при которой только и может рождаться все это.

Перед ним заворчал автобус. Брауни вошел в него, все еще оставаясь под впечатлением происшедшей за рубежом катастрофы и бедствий, грозящих теперь его родной стране. Чтобы избавиться от этих беспокойных мыслей, он обратился к книге по архитектуре и попытался еще раз заняться чтением. Но теперь оно не увлекало его. Вообразить себе город будущего — с широкими улицами, с большими зелеными парками, с бульварами, обсаженными деревьями, и с фабриками и заводами без дыма, — вообразить себе все это после прочтения газеты было похоже на возвращение в нормальную жизнь из дома для умалишенных. А он должен вернуться обратно в сумасшедший дом: нормальная жизнь кончилась.

Светлые видения будущего, карьера и успехи, на которые Брауни так надеялся, — все было позади. Война подошла к нему, как обволакивающий туман. Брауни продолжал свой путь, и морщинка у него на лбу не разглаживалась.

Глава вторая

Звон колоколов приходской церкви, плывя над крышами Бермондси, разбудил м-ра Генри Дэдса в комнате над лаякой часовщика и ювелира. Он открыл глаза и вспомнил, что в мире происходит война. Теперь она докатилась и сюда. Но кругом было так тихо и мирно, что звон колоколов св. Климента, доплавший до спальни м-ра Дэдса, растекаясь по всем ее углам и тотчас же замер. Что касается самого м-ра Дэдса, то он как раз начал просыпаться, а в этом деле он не привык торопиться. Он любил полностью насладиться постепенным возвращением из неведомых областей сна к своему дневному «я». Куда уходит сознание, когда засыпаешь? Этот вопрос сильно занимал его. М-ра Дэдса вообще занимали многие вещи, не только карманные и настольные часы.

Поэтому он продолжал лежать, ощущая, как пробуждающееся сознание мало-помалу овладевает телом словно его тело — какое-то одеяние, в которое сознание облекается, как он, м-р Дэдс, облекается в свою черную альпаговую спецовку. Он взглянул на свои руки, лежащие поверх одеяла. Некогда розовые, мягкие, они сейчас потемнели, покрылись морщинами и сетью узловатых синих жил. Сейчас его тело, да и душа, совсем уже не те, с какими он родился, и все же он остается самим собою, тем же человеческим существом, известным под именем Дэдса, чье физическое тело медленно изнашивается. У этого человека были всевозможные странные мысли о вещах ни в какой мере не имеющих отношения к ремеслу часовщика, а он любил называть себя именно часовщиком.

Так лежал он в своей кровати, постепенно просыпаясь. — в комнате, которая казалась ему тихой, как горное озеро, ибо из сознания его автоматически выключались все внешние шумы, доносившиеся с улицы. В нем все было тихо и мирно, а таким и должно быть внутреннее существо человека, как бы ни безумствовал вокруг него окружающий мир.

Солнечный луч, скользящий в комнату из-за края светомаскировочной шторы, дрожал на потолке словно капли ртути, когда штору

колебал ветер. Еще одно напоминание о войне. А вот и еще одно, более определенное: на кровати лежал вчерашний номер вечерней газеты. Он посмотрел на него, все еще не веря в вычитанные оттуда известия: немцы шли на Париж, англичане оставили Дюнкерк, происходили такие ужасающие, катастрофические события, с которыми не могли примириться ни он сам, ни его газета. Конечно, у м-ра Дэдса было весьма слабое представление о происходящем. Но утром он услышит все подробности от м-ра Кэнтля. Отмерив линейкой по своей карте военных действий, м-р Кэнтль совершенно точно скажет ему, насколько немцы ближе к Бэкерс-Лэйн, чем они были на прошлой неделе.

Во все еще смутное сознание м-ра Дэдса проникли звуки из кухни — шаги Дженни и попыхивание газа. Утренняя чашка чая! Он сел на кровати, взяв с ночного столика трубку и зажег ее. Его домоправительница, миссис Долиш, бесконечное число раз отодвигала столик и блюдо, которое он приспособил под пепельницу. Она считала куренье трубки в постели исключительно скверной привычкой, хуже, чем куренье папирос. М-р Дэдс никак не мог уразуметь, почему это так, но бесконечное число раз соглашался с нею и затем спокойно ставил столик на прежнее место и наполнял блюдо обгорелыми спичками. Обычный способ, помогавший ему умерять самодержавные поползновения домоправительницы, состоял в симуляции забывчивости, ибо человек он был мягкий, как подушка, не способный возразить, но зато очень рассеянный.

По лестнице поднялась Дженни, бодрая, несмотря на свое ночное дежурство на санитарном посту, — шагам ее вторило позвякивание чайной чашки. М-р Дэдс старательно разгладил одеяло и принял должное положение, как больной в госпитале. Раньше в доме была всего одна женщина, теперь их стало две. Одна осуждала куренье трубки в постели, другая относилась к этому терпимо, но у обеих были весьма строгие представления относительно чистоты и порядка в спальне.

Вошла Дженни румяная и улыбающаяся, как утро которое она впустила в комнату, подняв светомаскировочные шторы. В жизни м-ра Дэдса, при котором никогда не состояла ни одна женщина, за исключением миссис Долиш (а она для него была не столько женщиной, сколько присутствующим рядом живым существом), Дженни была самым крупным происшествием с начала войны. Она приехала помогать ему в лавке, когда Томас, его подмастерье, ушел в армию. В результате же этой чисто прозаической сделки жизнь его обогатилась бесконечным количеством каждодневных сюрпризов — открывались совершенно неожиданные точки зрения, смущающие противоречия; от них требовали, чтобы он высказывал свое мнение относительно дамских шляп, его баловали неожиданными мелкими знаками внимания, например, таким баловством, как подавание чая в постель. Получается вроде брачной жизни, — думал он. Он пошел на эту сделку не без опасений, а теперь сам все время придумывал мелкие знаки внимания как человек, который, заметив, что к нему в сад слетаются щеглы, начинает сыпать им крошки, чтобы они не улетели, не перестали его посещать.

— Сегодня ночью давали желтый сигнал.

— А что это значит, Дженни?

— Что неподалеку вражеские самолеты.

— Неподалеку, — повторил м-р Дэдс, на мгновение призадумавшись. — А что же вы тогда делаете?

— Мы приводим все в боевую готовность. Приготовляемся на всякий случай, — объяснила она, сбросив официальную терминологию. — Я запускаю мотор, и мы ждем налета. Но вчера так ничего и не было. Думаю, они сбросили бомбы где-нибудь в другом месте.

М-р Дэдс помешал чай, размышляя о всем, что происходило, пока он лежал здесь, свернувшись под одеялом, — материальная оболочка, лишенная сознания, которое блуждало где-то в неведомом. Группы мужчин и девушек, приводившие себя в состояние боевой готовности,

пыхтящие санитарные машины, приготовленные носилки, уши, прижатые к телефонным трубкам,— все ожидали. Мало у кого из этих людей, думалось ему, были менее ясные представления о том, чего именно следовало ждать, чем у Дженни.

— Да что ты все время помешиваешь чай? Пей его.

Ее властный тон внезапно вернул Дэдса к действительности; он стал послушно пить, говоря, что чай замечательный, ибо при всяком удобном случае старался высказать одобрение.

Дженни, собираясь уже выйти из комнаты, вдруг остановилась.

— Да, я, кажется, тебе не говорила: ходят слухи, что французы капитулировали.

Сидя в постели и прислушиваясь к удаляющимся шагам Дженни, Дэдс почувствовал, что от лица его отлила вся кровь. Франция капитулировала,— немислимо! В вечерней газете на это не было даже намека. Во время прошлой войны Франция и Англия держались друг друга даже в самые тяжелые дни. Если бы они не... М-ру Дэдсу уже не хотелось чая. Тем не менее, чтобы избавиться от него, он вылил весь остаток в ту безжизненную пустоту, которую ощущал внутри себя; чай оказался совсем холодным, из чего м-р Дэдс заключил, что он в течение нескольких минут просидел, словно в трансе, совершенно оглушенный ужасной новостью.

Но, может быть, это только необоснованный слух? Впрочем, он услышит все подробности от Кэнтля, глгшатага бедствий, который с самого начала войны не сообщил еще ни одной хорошей новости. Конечно, не по своей вине. Хороших новостей не было.

М-р Дэдс натянул брюки и приготовился встретить новый день. В каких бы таинственных областях ни блуждал дух во время сна, ему приходится возвращаться обратно к мирским делам,— к ботинкам и брюкам, к бекону, поданному на завтрак, к посетителям. Это была уже познанная часть тайны, именуемой человеком. О другой ее половине можно было только строить догадки или же избавляться от мысли о ней с помощью объяснений, не удовлетворявших м-ра Дэдса, который верил в психическое и мистическое начала и зачастую не доверял органам чувств.

Он услышал, как внизу открываются ставни магазина. Проблема ставень, подобно многим другим проблемам, разрешилась сама собой с приездом Дженни благодаря одному лишь ее женскому очарованию. Ставни приходилось пронести через коридор Кэнтля в сарай на заднем дворе. В прежнее время, как только Томас — подмастерье м-ра Дэдса — начинал их убирать, Кэнтль появлялся на тротуаре, усиленно жестикулируя и доказывая, что для «этой возни со ставнями» нарочно выбирается такой момент, когда ему самому нужно перетаскивать через коридор мешки с мукой или ящики с чаем. Метод, применяемый Томасом, состоял в том, чтобы тыкать Кэнтля краем ставень или же загоразживать ими дверь его лавки и молчаливо, но сознательно мешая Кэнтлю, тем самым, наконец, расчищать себе дорогу. Теперь же ставни убирались как бы по мановению волшебной палочки. Каждое утро юный Перси Кэнтль, только что умывшись, быстро выскекивал на улицу и предлагал Дженни посмотреть, как он снимает ставни одной рукой, и пощупать мощные мускулы, позволяющие ему так легко предельывать эту операцию. Весь секрет, объяснял он, состоит в системе глубокого дыханья. Дженни следовало бы, по его мнению, упражняться в глубоком дыханьи, но гирь не трогать,— Перси полагал, что женскому полу такая вещь не по силам. Он сообщал ей также что не собирается быть бакалейщиком, ибо разрезать сыр или бекон это не настоящее дело, а большая часть вопросов, с которыми он обращался к Дженни; клонилась к тому, чтобы выпытать, кого она предпочитает,— моряков или солдат, или, может быть, ей больше по сердцу всруженные револьверами молодцы из Скотланд Ярда.

Последний разговор такого рода и донесся сейчас в комнату м-ра Дэдса, врываясь в его рассеянные мысли, пока он собирал одежду и облачался в нее. Внизу, в кухне, миссис Долиш тархтела каки-

ми-то металлическими предметами, напевая популярную песенку. На утро, после посещения кино или мюзик-холла миссис Долиш, вместо обычной воркотни наполняла кухню пением. Добравшись до кухни, м-р Дэдс проскользнул мимо своей домоправительницы незамеченным и очутился в лавке. Он все еще думал о падении Франции. Утренние газеты подтверждали это известие жирными заголовками, которые сменялись более мелкими. Буквы и слова словно прыгали до конца страницы. Почему, удивлялся м-р Дэдс, не могут сообщить о бедствиях в сдержанных английских выражениях, вместо того, чтобы излагать факты в припадке какой-то типографской истерики? Голых фактов нынче утром было бы совершенно достаточно.

Положение оказывалось серьезным, даже критическим, и это в первый раз полностью до него дошло! Вообще он не слишком сильно беспокоился, даже почти не думал о войне. Он старался избегать тщетных мыслей, а ведь было совершенно ясно, что никакие его соображения не окажут влияния на исход войны. И до сегодняшнего дня он не представлял себе, насколько этот исход может повлиять на его личную судьбу.

В лавке было все еще темно и холодно. Он поднял шторы и выглянул на улицу. Автобусы, легковые машины грузовики, проносились мимо, мужчины и женщины проходили под его окнами с самым, казалось, невозмутимым видом. Старик-подметальщик сваливал уличный мусор в ящик на колесах, какая-то женщина у овощной лавки с неодобрительным видом осматривала кочан капусты. На всем, что видел м-р Дэдс, лежала печать всевластности повседневного быта. И в голову ему пришла мысль, что все это он созерцает в роковом мгновении истории человечества. Точно также, наверно, занимались люди своими делами в Тире, Вавилоне и Риме. в то время как господствовавшая над ними власть уже шаталась, приближаясь к гибели.

Заметив, что он все еще продолжает держать в руках шнур от шторы, м-р Дэдс привязал его к крюку и принялся стирать пыль с прилавка. Очнувшись от таких внутренних созерцаний было, подобно пробуждению от сна, переходом из неизвестного в известное. Начинаешь снова ощущать свое тело, отдавать себе отчет — именно это происходило с ним сейчас — в таких вещах, как шипение бекона на сковороде или стук ножей и вилок, смешивающийся с пением миссис Долиш. Сознание уходило от действительности, или, может быть, наоборот, приближалось к ней, взволнованное каким-то проблеском из сверхчувственного мира. И этот проблеск иногда успокаивал м-ра Дэдса, а иногда пугал его, как сейчас.

Он подошел к другому окну — в лавке их было два — и поднял штору. Обе витрины были в запущенном виде, словно подчеркывая, что их хозяин-часовщик не гонится за торговой прибылью. Слева от двери выставлены были несколько штук старомодных часов, но все они не отличались красотой и не шли. Одни являли собой позолоченное сооружение, на котором возвышалась уже покрытая зеленым налетом особа женского пола в позе малютки Эроса, другие были в деревянной раме и с выщербленным циферблатом, походив на раскрытое очень ветхое пианино. Еще одни стояли, прикрытые стеклянным колпаком, под который каким-то образом проникла муха да там и подохла, видимо, от голода. На пьедестале этих часов лежала карточка, написанная рукой м-ра Дэдса: «Работа Баркера из Эгбастона, около 1750 г.» и указывавшая, что хотя нежественный зевака и счищает, может быть, все это старым хламом, существуют знатоки старинных часов, у которых на этот счет свое мнение.

В правой витрине разложена была разнохарактерная коллекция всевозможного старья: здесь имелись и керамика, и стекло, и книги, а также несколько старых часов-луковиц. Все эти разнородные вещи отнюдь не были произведениями искусства, но просто предметами, которые мистер Дэдс приобрел на распродажах, рассчитывая перепродать. В это утро на них лежал отпечаток какой-то особенной заброшенности, они казались никому не нужными наносами реки времен.

Книги, стопки для вина, картинки — некогда сокровища неведомых людей; их покупали совсем новыми, приносили домой, трогали с гор достают. А эта флейта, лежащая в уголке. — кто, думал м-р Дэдс, первый выдул на ней первую ноту, прислушиваясь, как она замирает, как исчезает в небитии, куда в свое время последовал за ней и сам музыкант? Все это очень грустно, думал м-р Дэдс. Но глупо стоять и предаваться подобным размышлениям. Он взял флейту, на которой некогда собирався учиться играть, и приложил к губам: раздался звук, и рот м-ра Дэдса оказался полным пыли. «Чорт!» тихо выругался он. Звук, вырвавшийся из флейты, был как-то очень резок, и м-р Дэдс прислушался, надеясь, что до миссис Долиш он не донесся. Но ничего не было слышно — миссис Долиш на кухне продолжала напевать себе под нос, да в лавке тикали часы — из этого составлялся аккомпанемент трудовой жизни м-ра Дэдса, являясь для него голосом текущего времени. Сейчас это время, безостановочно увлекавшее все и всех к неясному будущему, вызывало в нем страх. Да, сегодня утром м-р Дэдс был настроен невесело, полон мрачных предчувствий, неспособен улыбнуться или подумать о чем-либо мало-мальски приятном. Мысль о войне подавляла его.

— А, Джени! — воскликнул он, когда она вошла в лавку, покончив со ставнями; ощущение одиночества, закравшееся в его сердце, снова исчезло. Странно, подумал он, что никакая философия не умиротворяет его так, как присутствие этой хорошенькой девушки, ее смех, ее душевная легкость, даже ее мысли, всегда скользящие по поверхности вещей.

Она остановилась и поглядела на него, склонив голову набок.

— Что это такое с твоим ртом? Он весь вымазан чем-то.

— Я играл на флейте.

Он видел, что она удивлена и что ей смешно.

— На флейте играл? Вот еще выдумал! Дай-ка мне свой носовой платок. — Она вытерла ему губы и смотрела на него попрежнему, склонив голову набок.

— Теперь галстук, Нимрод.

Почему Джени называла его «Нимрод» он не знал, но сейчас он дотронулся до галстука, радуясь тому, что хоть как-то надел его.

— Поди сюда, ягненок, — сказала Джени и покрепче подвязала галстук. — А ты его не закальваешь? Где булавка?

— Я ее потерял, — объяснил Дэдс, который уже много лет не закалывал галстука.

— Значит, придется мне подыскать тебе булавку.

Она окинула его внимательным взглядом матери, осматривающей маленького ребенка. И затем спросила более мягким, почти ласковым тоном:

— В чем дело, Нимрод? Ты чем-то расстроен?

— Да все эта война, Джени.

— Понятно. Ну, вот тебе булавка. — Она показала ему булавку и объяснила. — Когда ты снимешь галстук, втыкай ее туда, и тогда не потеряешь. — Затем, вспомнив, о чем шла речь, она добавила: — А о войне ты не думай. Сейчас тебе надо хорошенько позавтракать.

— Полагаю, что ты права, — согласился м-р Дэдс. Если Джени не задумывалась над глубокими жизненными проблемами, она зато много смыслила в искусстве повседневной жизни. Может быть, она действительно права и ему просто нужно позавтракать.

— Надо насыщать тело, и нечего пытаться удовлетворить голодный ум или вечно алчущий дух. Что касается тела, то его насытить можно, — сказал м-р Дэдс, несколько прибодрившись. Когда ему подали овсянку, он начал развивать свою философию вслух, а при появлении бекона и яиц пришел в состояние полной восторженности.

— Положим, пайком военного времени не очень-то насытишься, — прервала его миссис Долиш, войдя в комнату. — Ну, ладно, завтракайте.

Отдав такое распоряжение, она секунду помедлила, но ей этого было достаточно, чтобы отдать себе отчет во всем, попавшем в ее поле.

зрения. А увидела она м-ра Дэдса в расстегнутом пиджаке и с крепко приколотым к рубашке галстуком. В ее острых темных глазах блестяла насмешка. «Баловство и нянчанье» — так называла подобные вещи миссис Долиш. Она просто из принципа не стала бы делать ни для одного мужчины чего-либо такого, с чем он сам может управиться. Дженни каким-то тайным чутьем уловила ее неодобрение. Не поднимая глаз, она сказала:

— Можете наливать чай, миссис Долиш.

— Он уже налит. И даже начинает остывать, — коротко промолвила миссис Долиш и выпшла из лавки. Дженни слегка толкнула м-ра Дэдса в живот и прошептала «Слушай!» Миссис Долиш у себя в кухне шумно мешала кочергой угли, выражая таким образом свое возмущение тем, что кто-то осмеливается ею командовать.

— Доктор Геббельс, — шепнула Дженни, тепло дыша ему в самое ухо.

— Э?

— Гремит железом, как Геббельс.

М-р Дэдс заморгал глазами. Иногда и до него доходила эта неприятная напряженность атмосферы, царившей в доме.

— Боюсь, что я...

— Ну, ладно, ладно, Нимрод. Давай лучше завтракать.

Среди многих достоинств Дженни м-р Дэдс обнаружил еще одно — руки у нее были сухие. Он заметил это, рассматривая ее ручки при всяком удобном случае, и одобрительно кивал головой. Он не объяснял своего поведения, и Дженни сперва приняла это рассматривание за ханжание хиромантией. У м-ра Дэдса было так много самых странных интересов и вкусов. — за прилавком у него висели астрономические и френологические таблицы. Если его интересовали черена, почему не могли интересоваться руки? С самого начала их совместной жизни она решила, что дядя ее несколько чудаковат.

Недавнее прошлое еще мерцало в ее повседневной жизни. Сидя за своим рабочим столиком в лавке, где каждые четверть часа раздавался перезвон, она думала об огнях рампы и рукоплесканиях, о мире, который, как она чувствовала, был ее настоящим миром. Она так много работала, столько ждала и томила, пережила столько разочарований, что теперь готова была требовать себе места в жизни, ловить счастливый случай. В прошлом между Дженни и ее честолюбивой мечтой стояло очень многое, но никогда не ожидала она, что изменится весь мир. Не будет больше летних сезонов на морском побережье. Они исчезли вместе со всем, что она так любила — освещенными улицами, веселыми толпами, базарными ларьками и уличными торговцами, которые предлагали бананы связками по двенадцать штук. А вот это, сейчас — это жизнь, говорила она себе, это действительность, а не сцена с передеванием в пантомиме, где знаешь, что страшное наваждение скоро кончится. Это будет длиться день за днем, месяц за месяцем, сколько времени — никто не знает.

Когда Дженни видела какую-нибудь танцовщицу, кружившуюся и сверкавшую в луче театрального прожектора, ей думалось: «Через несколько лет я уж не смогу этого делать». Да, она утратит изящество и гибкость. Ее члены, как и у других женщин, одеревенеют, заплынут жиром, ослабеют. Только не в пример прочим, в сердце ее будет жить все та же жажда крыльев. Вот что делают с человеком годы, проносящиеся, как верстовые столбы.

Руки Дженни были не только сухи, но также и ловки. Она отличалась терпеливостью, скоро научилась делать несложную починку часов и с интересом смотрела через плечо дяди, когда он был занят более тонкой работой. М-р Дэдс всегда так пристально вглядывался в часы, которые чинил, точно хотел уловить некую тайную жизнь внутри их. Он вытягивал губы, кивал головой и приговаривал: «Ну, ладно, ладно, мы вас немножко подгоним, вы что-то впади в летаргию» или: «Они хотят пить, Дженни. Дадим-ка им одну капельку масла».

И осторожно смазывал часы, словно они были живые и у них что-то болело.

— Нельзя чинить часы потными пальцами. Это то же самое, что дышать на механизм, — говорил он, по своей привычке давая косвенным образом полезные наставления. Так Дженни и узнала причину этого вечного одобрительного рассматривания ее рук. То обстоятельство, что для его странности отыскалось разумное объяснение, придало другим его странностям характер некоторой загадочности.

Она поняла, что у м-ра Дэдса на все есть какая-нибудь причина. Может быть, никому, кроме него, она не показалась бы разумной, но во всяком случае причина имелась.

— Единственное, что мы можем делать с часами, это заставить их ходить по солнцу. А измерять время мы не можем.

Когда м-р Дэдс начинала высказывать подобные мысли, Дженни с любопытством смотрела на него через рабочий стол и принималась за вопрос: — Но ведь часы для того и сделаны, чтобы измерять время?

— О нет, моя дорогая, никакие часы не измеряют времени. Тиканье, которое ты слышишь, это лишь топот пронесшихся минут. Но и здесь всегда одна и та же минута.

— Какая же минута?

— Да та, которую мы называем «сейчас». Единственная для нас уловимая.

— Ага, понимаю. Мы снова начали философствовать?

Он поднял голову. — Нет, это не философия. Это просто мысли.

— Но у меня сколько угодно минут. И я надеюсь, что их будет еще очень много. Если, конечно, на меня не упадет бомба.

— Не поминай о таких вещах, — сразу же запротестовал м-р Дэдс, — слишком это ужасно!

Бомбы — все действительно только о них и говорили; во всех газетах писали о бомбах. Словно внезапно вспомнив о войне, м-р Дэдс сидел тихо и с грустью думал о том, что мир весьма и весьма отличается от того, чем бы ему следовало быть.

Дэдс, — размышляла Дженни, — безобидный, маленький человек, беззащитный перед жизненными ударами и вызывающий в собеседнике внезапные порывы сочувствия. Она улыбнулась и несколько раз потыкала его указательным пальцем. Позвидимому, это вернуло м-ра Дэдса к действительности, ибо он протянул ей поднос с приготовленными для починки часами. Она нашла среди них и взяла с подноса часы Брауни, сиявшие золотой крышечкой.

— Все еще немного отстают, дядя. Для Брауни это не годится. Он любит точность.

Она открыла крышечку и прочитала имя, выгравированное внутри. И, как всегда, когда она видела где-нибудь его имя, Дженни улыбнулась: «Честер Браунинг». Как это на него похоже! Не совсем обычно, немного чопорно, тяжеловесно и важно. Не «Брауни» — это имя рисовало его таким, каким он мог быть, если бы немного оттаял или проснулся, или вообще как-нибудь переменял свою натуру и стал тем человеком, которого она в нем хотела видеть. «Честер». Она улыбнулась. Ну можно ли, например, назвать своего мужа «Честер», предлагая ему за завтраком бекон? Абсурдно! Это выражение употребляла сам Брауни, когда говорил о чем-либо совершенно нелепом.

— Отстают на две минуты. Но раз обе они в сущности одна и та же минута, я думаю, это не имеет значения. — Она захлопнула крышечку часов и положила их на поднос, словно не намереваясь больше ими заниматься.

— Кажется, Дженни, — мягко заметил он, — ты иногда надо мной подсмеиваешься. — И продолжал спокойно работать, пока не увидел, что она берет те же самые часы. Тогда он сказал: — Я не сержусь, дорогая. Ты ведь не думала, что я сержусь?

— Да нет же! — воскликнула она, дивясь тому, что сердце у нее вдруг как-то странно дрогнуло. — Я просто дурила.

— О! — заметил он, с минуту поковырял в часах и затем прыло-

жили их к уху. чтобы услышать, как они говорят по-своему. Он был настоящий мастер своего дела и любил, чтобы все, вышедшее из его рук, было в полном порядке. Но на его теории относительно времени это никак не влияло.

Зазвонил колокольчик, и в дверях появилась массивная, неопрятная фигура м-ра Бэттерсби. Сперва показала только его задняя половина (неизменно напоминающая заднюю половину слона), ибо он все еще продолжал разговаривать с кем-то, стоявшим на другой стороне улицы. Его голос и смех так громко отдавались и внутри лавки и снаружи, что, казалось, оконные стекла начинают дрожать. Затем он хлопнул дверью, — для него она, видимо, слишком легко висела на петлях, — и в тишине, которая напоминала тишину, наступающую после пронесшейся бури, повернулся лицом к прилавку.

— А, милая и прелестная, как всегда! — воскликнул он, и его взгляд, устремленный на Дженни, выражал откровенное восхищение. Он приветствовал ее, не сняв шляпы, а просто повертев рукой в воздухе и, наконец, слегка хлопнув по тулье. Удовлетворив таким образом требования вежливости, он отвел глаза от лица, которое называл «персиком», а мысль отвлек от плотских желаний и заговорил с м-ром Дэдсом.

— Лоусон занят, так что я сам зашел за деньгами.

Он надеялся, что это звучит убедительно, но наверное ведь никогда не знаешь, в особенности с жильцами. С точки зрения Бэттерсби, жильцы представляли собою совсем особую категорию существ: уста их всегда были полны жалоб, взгляды — подозрительности, а в карманах было неизменно пусто. Совершенно ненасытная порода. Ошибочно приняв пристальный взгляд, всегда сопровождавший усилия м-ра Дэдса сосредоточиться на чем-нибудь, за недоумение, он быстро переключился тему разговора.

— Замечательное утро, правда? Одного старик Гитлер не может сделать — помешать солнцу светить. Кроме того, я думаю, он специально заказал хорошую погоду для своего вторжения.

— Вторжения! — вскричал м-р Дэдс, уже собиравшийся было взять книгу, в которую записывал суммы, уплаченные за аренду помещения.

— Да, передавали по радио. Неужто у вас до сих пор нет радио, Дэдс? Мистер Иден призывает всех записываться добровольно для отражения гуннов. Я сам пытался записаться.

— Что это значит, пытались? — спросила Дженни.

— Меня не взяли. Сказали, что я уже в санитарной команде и, по правилам, никуда больше нельзя. Словом, дали по шапке. Я хотел хватить Фрица кулаком и в челюсть и под ложечку, штыком его проткнуть, а они стали справляться по книгам да по параграфам. Точно у адвоката.

Он послонил палец, раскрыл конторскую книгу и приступил к делу, которое представлялось ему нелегким. Надо было обнаружить необъяснимую недостачу в арендной плате. Прежде всего следовало найти страницу, с которой нужно начинать. Он всегда ненавидел цифры, но эти представляли для него отнюдь не академический интерес.

Он замолчал, тяжело дыша, голова склонилась, и котелок сползал вперед. Когда м-р Дэдс сказал ему, что Франция капитулировала, на это последовал только рассеянный ответ: — Да, кишка у них тонковата. — А пальцы его отстукивали счет на прилавке, помогая работе, совершавшейся в уме. Губы его сжались. Цифры как на ладони. Бумаги и карандаша под рукой не было, но без труда подсчитав в уме, он убедился в том, что по книгам Дэдса за последним ничего не числится. Ничего! А по книге Лоусона получается, что Дэдс должен два фунта. Кто же их в таком случае получил? Бэттерсби очень хорошо знал, кто именно, и если это случилось один раз, может случиться и в другой.

«Ах, он, паршивый жулик» — думал Бэттерсби, и в нем поднималось желание «набить морду» Лоусону. Дело было не в деньгах, хоть и деньги имели значение. Его надули — одна эта мысль прошибала

до мозга костей. Обычно, когда в делах, предпринятых Биллем Бэттерсби какую-либо из сторон надували, этой стороной был не Билл Бэттерсби.

Он сообразил, что пристально смотрит куда-то в пустоту, что губы его шевелятся и что маленький ювелир вопросительно глядит на него. Если у Бэттерсби в делах и был какой-нибудь принцип, то его можно было выразить одним словом «камуфляж». Никогда никому не раскрывать карт, покада не убедешься, что у тебя на руках все козыри.

Поэтому он выпрямился, захлопнул книгу и с улыбкой швырнул ее на прилавок. Губы его разжались, и он поправил котелок на голове. С Лоусоном он еще успеет посчитаться, Бэттерсби быстро вспыхивал, но стол же быстро отходил. Как война исчезла из его сознания, когда оно заполнилось Лоусоном, так и Лоусон, в свою очередь, испарился сейчас.

— Почему же вы не заведете себе радио, Дэдс? Дженни, наверное, была бы довольна. Она могла бы слушать всех звезд варьете.

— Дядя не любит радио. Правда, у него никогда еще не было радио, но все-таки он его не любит. Он не одобряет джаза, хотя еще никогда не слышал его, и не желает знать ничего о войне. Вследствие чего,— заключила она говоря языком эстрадного скэтча,— он и отказывается от приобретения установки.

— Что ты, Дженни! — воскликнул м-р Дэдс, надеясь, что она шутит.— Да что это ты, право!

— Каждая девушка любит джаз, Дэдс. Кроме того вы когда-нибудь сможете услышать голос Дженни в эфире. А, знаете, Фил Марш заключил договор на обслуживание воинских частей? Он сочинил новую эстрадную программу.

Дженни как и рванулась вперед:

— Билл, да неужели?

— Да, Фил в Лидсе и разрабатывает новую программу! Она будет называться «Прожектора». В духе военного времени, понимаете? Вы могли бы послушать в его труппу.

— Да верно ли это? Вы меня не морочите? — Голос ее и тон показывали, как мало она доверяет Бэттерсби.

— Вас, Дженни, я ни за что не стал бы морочить,— заверил Бэттерсби, подчеркивая, что в данном случае он благородно делает исключение из общего правила,— ни за какие коврижки! Да что там говорить,— если хотите, я ему напишу, чтобы он взял вас к себе.

— Напишите? Да вы просто ангел!

— А что,— спросил Дэдс,— радио это дорогая штука? То есть я имею в виду, если купить самый новый приемник.

Эти слова остались неслышанными. И поделом,— подумал он.— Ведь они тоже были проявлением его эгоизма, крошками, брошенными щегленку.

— Беда в том,— сказала Дженни,— что я не имела никакой практики, не танцевала с самого начала этой противной дурацкой войны. Как вы думаете, когда она, наконец, кончится, Билл?

— Я сам был бы не прочь узнать это от кого-нибудь,— ответил Бэттерсби и тотчас же стал серьезным. Он покачал головой и устремил пристальный взгляд на самую середину прилавка. Он-то уж никого не может подбодрить. В тысячный раз вспомнились ему никем не занятые магазины, первосортно оборудованные помещения, отстроенные им перед самой войной, для которых так и не нашлось съемщиков. Замороженный капитал, да еще в любой момент его разобьют к чертовой матери! К тому же в делах застой и никаких надежд на удачные спекуляции!

Бэттерсби не нравился оборот, который приняли военные дела. То, что случилось во Франции, превосходило его понятия старого солдата. Он часто и решительно заявлял в «Драгоне», что «их все равно задержат». Как-нибудь, где-нибудь, но задержать их во всяком случае должны, засыпят этих чертей свинцом, а затем пойдут насаживать на вертел! Да, а теперь таким парням, как он, проторчавшим на фронте

все четыре года прошлой войны, придется обороняться от врага на своих же собственных улицах или спасать людей, пострадавших от бомбежки! И это по вине все тех же проклятых немцев.

— Не забудьте взять арендную плату.

— Верно, черт бы меня побрал! Чуть было не забыл про деньги! — Он с некоторым изумлением поглядел на прилавок, где лежала грудка монет — явное свидетельство его душевного смятения. Книги подписал, а денег не взял.

«До чего я еще дойду? — подумал он: — Пора, наконец подтянуться».

Он указал большим пальцем на дверь, ведущую в жилое помещение: — Миссис Долиш поняла, что нужно делать. Вчера вечером она заходила ко мне насчет оборудования бомбоубежища. У вас ведь имеется подвал?

— Да, отличный подвал. Вход у вас за спиной.

— Я спущусь туда и осмотрю его немного. А вы успокойте де вушку.

— Слушай, — прошептала Дженни, когда Бэттерсби исчез за дверью прилавка. — Как по-твоему, он это серьезно говорил?

— Что именно, дорогуша?

Дженни посмотрела на него и покачала головой.

— Нимрод, ну о чем ты все время думаешь, скажи, пожалуйста? Я имею в виду то, что он говорил насчет меня и Фила Марша.

— Думаю, что вполне серьезно. Даже не сомневаюсь в этом. Я просто уверен, что он знает, о чем говорит.

Они услышали шаги Бэттерсби, возвращавшегося из подвала, и его меланхолическое пошвыстывание. Столкнувшись лицом к лицу с проблемой, касающейся его имущества, Бэттерсби обрел полное самообладание. Свист становился все громче и жизнерадостнее, по мере того как Билл поднимался по ступенькам, таким образом заранее создавалось впечатление, что из обхода своих владений возвращается довольный ими хозяин. Когда он появился в лавке с пятном извести на котелке, никого не удивили его слова:

— Чудесное местечко для бомбоубежища. Сухое, как старые кости, надежное, как Бэкингэмский дворец. Конечно, надо будет немножко побелить его. Она и сама может это сделать.

— Да? Может? — воскликнула миссис Долиш, неожиданно появляясь из соседней комнаты, где она обычно поджидала удобного момента, когда в лавке вели интересный для нее разговор. — А как насчет того, чтобы немножко укрепить там потолок и сделать запасный выход?

Услышав подобные требования, Бэттерсби перестал улыбаться. Еще вчера вечером, когда он угостил ее в «Драконе» стаканчиком, она высказала только пожелание, чтобы он зашел «взглянуть» на подвал. Она была уверена, что подвал в полном порядке, но просила его только осмотреть помещение. — он ведь мужчина и понимает в таких вещах.

— Ладно, — сказал он и сделал вид, что обдумывает ее замечание. Уж не воображает ли она, что эту войну затеял он, Билл Бэттерсби, и теперь должен за все платить? Это то же самое, что начинать ремонт. Только затеешь хоть самый маленький ремонт, как все съемщики являються к тебе в контору и требуют все новых и новых исправлений, так что конца этому нет. То же самое будет, если он начнет укреплять свод.

Но миссис Долиш, которая хотела, чтобы на ее вопрос ответили, спросила уже более определенно: — Как мы выйдем оттуда, если будет прямое попадание в дом?

— Да, это проблема — согласился Бэттерсби, который, впрочем, хорошо знал, как она разрешается. В случае прямого попадания выйти было невозможно, и вы оказывались в списке жертв налета. Если такая вещь случалась, никакое крепление потолка не спасало, с этим приходилось мириться. Но он не решался высказать миссис Долиш подобную точку зрения.

Странная вещь, как быстро меняется настроение у женщины! — подумал он. Вчера она была сама кротость и так робко упрасивала. А сейчас он получил откровенный ультиматум с совершенно непомерными требованиями. Да, это странно, и тем не менее вполне обычная вещь, даже у самых лучших женщин. Повести бы ее в «Дракон» и еще раз угостить стаканчиком, и она опять придет в норму. Если, конечно такова ее норма, на что Бэттерсби твердо надеялся, ибо она была женщиной, с его точки зрения, весьма приятная, представительная и к тому же вдова с большим жизненным опытом.

— Положитесь на меня, Пегги, — сказал он примирительным тоном. — Я уж все устрою.

— Смотрите не забудьте, — заметила она и снова ушла в комнаты.

Бэттерсби облегченно вздохнул и встал с жесткого кресла — единственного предмета мебели, имевшегося в лавке. Все часы вокруг него с полнейшим единодушием указывали время — ровно одиннадцать. Проблема подзала уступилась у него из головы. Часы напомнили ему, что сейчас самая пора выпить. Он ощутил во рту особенную сухость, придающую первому выпитому стакану вина тот исключительный вкус, которого все последующие уже не имеют.

Дженни проводила его до двери.

— Не забудьте написать Филу Маршу. Обещайте мне.

Он оглядел ее с высоты своего роста. Она была молоденькая и хорошенькая, но больше всего восхищали его в ней именно юная жажда жизни, какая-то утренняя свежесть и детскость, обреченная со временем на исчезновение, та невинность, с которой ему уж столько лет не приходилось соприкасаться. Его голос стал грубовато ласковым:

— Слушайте, палюйте мне в морду, если я не устрою вас в эту новую программу. Я ведь могу это сделать!

— Верно?

— Верно, как то, что господь бог сотворил красные яблочки, — заявил он и, произнеся эти слова с несвойственной ему искренностью, направился в «Дракон», торопясь, как человек, который ходит по своим делам, сообразуясь с правилами военного времени.

Наверху у себя в комнате Дженни выдвинула ящик туалета, вынула розовое платье и осторожно разложила его на кровати. Все эти разговоры насчет Фила Марша могли быть выдумкой и обманом. Возможно, что не было ни письма от Фила к Бэттерсби, ни новой программы — словом, ничего. Но, вся загоревшись надеждой, она вынула из мягкой бумаги, в которую завернуто было платье, булавки, извлекла его из обертки и стала разглядывать, держа перед собой. Она прижимала его к груди, словно это был ребенок, которого можно было любить и ласкать. Она осматривала себя в маленьком зеркале, то задерживаясь, чтобы получше разглядеть ворот в белых кружевах, то становясь на стул, чтобы обозреть белоснежные пышные оборки. Платье предназначалось для ее сольного танца. Убрав его, она словно спрятала в ящик все свои надежды, но теперь, если Бэттерсби действительно говорил всерьез, если он сможет сделать то, что обещал..

Наверно, когда хочешь чего-нибудь так страстно, что оно означает для тебя все в жизни, — в конце концов добиваешься своего. Жизнь стала бы бессмысленной, если не добиваться. Хочешь, надеешься, ждешь и в конце концов получаешь то, что тебе так нужно. Так всегда бывает с кинозвездами, и с влюбленными тоже, и вообще со всеми, кто очень страстно желает.

Она набросила на себя платье и стояла напряженная, словно ожидая выхода на сцену. Это было мгновение, когда музыка начинает играть, и кажется, что вылетаешь на ней, как на крыльях, из-за кулис, она подхватывает, поддерживает тебя, как воздух летящую птицу. Публика становится только фоном, который ждет, задерживая дыхание, в напряженной тишине. С первой же паузы, когда стараешься уловить такт, до последнего дрожания струны, когда уже раскланиваешься с публикой, знаешь и ощущаешь только одно — восторг движения, чувствуешь такую легкость, воздушность, что в течении не-

которого времени после ухода со сцены каждое обычное телодвижение кажется неуклюжим и грубым.

Но люди только смеются, когда пытаешься объяснить им такое состояние. По их мнению, все это глупости.

Она разглядывала себя так, словно ее отражение в зеркале было образом какой-то неизвестной ей девушки. Волосы густые, красивые, глаза серые и лучистые, тело стройное, благодаря чему она казалась выше, чем была на самом деле. Скулы у нее немного выдавались, и губы, может быть были чуточку толстоваты, но с этим уж все равно ничего не поделаешь. Такова была оболочка, которую дала ей природа, которую никак не изменить, ибо она часть ее существа. Напрасно дядя Дэдс уверяет, будто бы то, что она видит, не есть ее подлинная сущность. Такие утверждения вызывали у Дженни насмешливую улыбку. Она была совершенно убеждена в том, что никакая незнакомка не скрывается за ее отражением в зеркале, как уверяет дядя. Это уж наверняка Дженни Дэдс, создание, не имеющее от нее никаких тайн.

Бедный старый дядя, ей было жаль его — он ведь старик и со всякими странными фантазиями. Ей было жаль и миссис Долиш, ибо ее молодость, во всяком случае, миновала. Но для Дженни все еще сияло утро. Глаза встречавшихся на улице мужчин старались встретиться с ее глазами, и она очень хорошо понимала, что означают их взгляды. Да, она была хорошенькая, — не лучше многих других, но достаточно хорошенькая, чтобы мужчины засматривались на нее, все — кроме, пожалуй, «высоколобых» интеллигентов, которые вовсе не интересуются девушками.

Она опять завернула платье — сперва в папиросную бумагу, затем в плотную коричневую. Теперь она прятала его совсем по-другому: это было только «до свидания». Потом она спустилась вниз, погруженная в свои мысли, но счастливая, и, открыв дверь лавки, встретилась глазами с м-ром Дэдсом, Казалось, он все время сидел совсем тихо, прислушиваясь, не откроется ли дверь.

— А, Дженни, — мягко сказал он, словно успокоенный тем, что она действительно пришла. Он снял очки, которыми пользовался только когда пристально разглядывал что-нибудь во время работы, и посмотрел ей в лицо.

Ее сердце странно сжалось. Она обняла дядю за плечи.

— Тебе будет нехватать меня, если я уйду?

Он моргнул глазами. — Ну, конечно, я буду скучать. Но ведь ты иногда будешь приезжать. Ведь теперь это твой дом, правда? Куда ж тебе возвращаться, как не ко мне?

Она наклонилась еще ниже и прошептала, почти как влюбленная.

— Ты не хочешь, чтобы я уходила, Нимрод?

— Дорогуша моя! — вскричал он. — Конечно, ты не должна оставаться здесь, ведь там вся твоя карьера. Кроме того, есть и еще одно обстоятельство, — добавил он, ласково похлопывая ее по рукам. — Бомбы. Ты избавишься от бомбежек.

— Да, конечно, мне придется уйти из нашей команды.

Примечательно, что это естественное следствие ее отъезда только сейчас пришло ей в голову. Уехать в Лидс, чтобы стать членом труппы «Прожекторов» — это значит оставить Бермондси и все, что с ним связано: м-ра Дэдса, лавку, Лоусона, Брауни, все и всех.

— Дядя, — спросила она вдруг. — А что ты будешь делать, если начнутся налеты?

— Что я буду делать? А что можно делать во время налетов? Только помогать другим.

— Но ведь ты останешься один в доме. Миссис Долиш может уйти к родственникам.

М-р Дэдс с минуту размышлял. — Ну, я буду не совсем один. Разве только в том смысле, в каком мы, в сущности, всегда одиноки.

— О, Нимрод! — воскликнула она. — Я просто не знаю, что и сказать.

Противоречивые стремления вызывали в ней бурю. Как легко было принимать решение до войны, как это трудно теперь! Будущее стало так походило на прошлое. Ничего нельзя было предрешать заранее.

— А ты не волнуйся, Дженни, — сказал м-р Дэдс. — Не загадывай на завтра. Живи сегодняшним днем.

* * *

Когда ставни закрывались, а часы и недорогие предметы ювелирного искусства убирались в ящики, м-р Дэдс обычно заявлял, что пойдет подышать воздухом. Но воздухом дышать не приходилось, — его в Бэкерс-Лэйн было не больно много, а м-р Дэдс не ходил далеко, только до черной решетки церкви св. Климента. С точностью мусульманина, внемлющего призыву муэдзина, он проходил через маленькое заброшенное кладбище, добирался до скамьи под колонной и садился на нее, положив шляпу на колени. Церковь св. Климента была старинная. Она так долго простояла на своем месте, чернея на фоне Бермондси и постепенно сливаясь с этим фоном, что Бермондси уже не замечал ее. Впрочем, она сама себе почти не замечала. По воскресеньям в ней служились какие-то службы и произносились проповеди, но во все прочие дни недели она стояла открытая, пустая, безлюдная — единственными посетителями были такие верные друзья ее, как м-р Дэдс или молодые люди, изучающие архитектуру, вроде м-ра Браунинга. Но она была очень старая, и в ее древних пределах не замечалось никаких изменений, а, по мнению м-ра Дэдса, то, что избегало перемен, спасалось от разрушающего времени. Снаружи разрастался и расширялся город, доползая до самых дверей св. Климента, его шум и грохот все приближались и приближались. Но внутри были только покой и полумрак, и бесшумно передвигавшиеся пятна солнечного света. В воздухе царил тишина, даже эхо там было иным, чем в других местах. Резной дуб, готические своды казались не тронутыми временем. Какой-нибудь лондонец времен Елизаветы, сидящий там, где сидел м-р Дэдс, узнал бы каждую их деталь и даже, подобно м-ру Дэдсу, считал бы все это весьма древним. Здесь можно было укрыться от торопливых минут, которые несут людей, как ветер переносит листья с места на место. Здесь казалось, что время стоит неподвижно.

Потому-то м-р Дэдс и ходил в церковь, чтобы обрести недвижность и покой — в мыслях, в сердце, во всем теле.

Входя в церковь, он казался себе глубокоим стариком, уже похожим на ребенка — он был такой маленький, — и торжественная тишина храма наполняла его той же робостью, которую он испытывал еще мальчиком, когда впервые вошел туда. Его шаги были почти бесшумны. Он мог бы проникнуть в церковь незамеченным даже в середине проповеди, когда там особенно тихо. В эти часы он стремился оседлать разум и душу, это было для него время раздумья и созерцания.

М-р Дэдс верил в существование души. Многие люди тоже верили в это, но не так, как м-р Дэдс. Он верил в то, что обладает душой, так же просто, как в то, что у него есть желудок. Он представлял себе ее, как некое второе «я», живущее в нем и не имеющее ничего общего с его телесной оболочкой. Более того — он верил не только в то, что его душа бессмертна, но также и в то, что она неспособна к греху и недоступна превратностям земной жизни. Где-то внутри него и по ту сторону его человеческого разума жила его подлинная сущность. В течение всей жизни он забывал о ней, пренебрегая ею, но она была молчаливым свидетелем всех его поступков и источником всех желаний. Может быть, заставив умолкнуть свои мысли, ожидая и прислушиваясь, в конце концов можно услышать слабый голос души? Если человек позабудет про разум и тело, но сохранит чуткость сознания, ему, быть может, откроется эта душа — третье измерение его существа, — и он почувствует безграничное богатство и красоту той жизни, на грани которой пребывают все люди, будучи не в силах переступить эту грань? Разве эта мысль так уж фантастична, спрашивал себя м-р Дэдс, разве она совершенно нелепа?

Иногда в той же церкви появлялся Брауни. Он ходил из угла в

угол, словно осматривая музей, на все накладывая ученый ярыж, одобряя тот образчик архитектуры и не вполне положительно расценивая другой. Брауни был великий знаток церквей: в известном смысле он коллекционировал церкви, как другие люди собирают остатки ископаемых тварей. Бряд ли на милю вокруг имелась хоть одна церковь, которой бы он не знал от подземья до шпиля.

Однажды он прервал размышления м-ра Дэдса, указав ему на исключительно изящный изгиб свода, которым никогда не уставал любоваться. Но, пока он говорил, его стремление разделить с кем-то свое удовольствие от созерцания прекрасного, сменилось чувством острой растерянности. Он собрался, что этот маленький человек явился сюда не для того, чтобы восхищаться красотой здания, а ради каких-то совершенно иных целей. И голос его зазвучал неуверенно, и Брауни совсем смутился, словно внезапно ворвался в уединение чьей-то чужой комнаты. И по самым различным причинам м-ру Дэдсу стало ужасно жаль его.

Но м-р Дэдс был очень рад, что в этот вечер м-ра Браунинга в церкви не было, что вообще он находился там совершенно один. Он смотрел на цветные стекла окон, сквозь которые в церковь струились последние лучи солнца, и пытался оторваться от своих мыслей. Он старался отвлечься от мира и идущей в нем борьбы и обрести тот покой, который не в силах будет отнять у него или хотя бы нарушить даже война, свирепствующая в мире. А где же человек может найти подлинный мир, если не в своем собственном сердце, где он, к тому же, всего нужнее человеку?

Но вот звон, раздавшийся на колокольне, вывел его из забытья. Он встал, задумчиво покачал гологой и вышел на улицу.

Было уже почти темно. Мимо него пронеслось несколько блестящих точек, — это машины мчались по несвещенным улицам. Когда он вернулся домой, Дженни уже надевала свой стальной шлем и противогаз.

Так вот что дало ему возвращение к действительности — он увидел девушку, которая вооружалась, чтобы обезопасить себя от новейших достижений науки. М-ру Дэдсу именно это и показалось нереальным, — какое-то представление, фантазмагория немислимго зла. Только мгновение умственного покоя и созерцания, которые он оставил позади себя, были реальны, только они и являлись подлинной действительностью.

Но неразумно было думать о подобных вещах больше, чем думала та же Дженни. Она расхаживала по комнате, все время весело болтала, словно собиралась итти на безобидную прогулку. Когда она вышла из лавки на улицу, он взял электрический фонарик и осветил бледные лунные лики циферблатов. В сером просвете открытой двери Дженни остановилась, улыбнулась и помахала рукой, желая ему доброй ночи.

Глава третья

В таком микроекосме, как Лондон, на запад от Бермондси обычно ездят путем, который избрал Брауни, — по более широким и более благоустроенным улицам, окаймленным красивыми фасадами и палисадниками.

Вся масса закоулков за рекой становилась нереальной; люди, как персонажи прочитанной книги, переставали существовать. Но нельзя забывать, что жизнь их продолжалась там так же, как и жизнь Брауни, с той лишь разницей, что у него она протекала в более приятном месте — в Олдерней-Крезент. Эта спокойная заводь в двух шагах от остановки автобуса была погружена в ту странную, удивительную тишину, которую можно встретить в самых неожиданных уголках Лондона.

В листья платанов Крезента птицы поют так же сладко, как в деревенских садах. Звуки уличного движения здесь едва слышны и на-

поминают жужжание пчел летом. Брауни любил эти окна восемнадцатого столетия, пилястры у входных дверей и вообще все благородство старинных архитектурных форм. Крезент — в Лондоне и вместе с тем далек от него, совершенно так же, как и сам Брауни, живя в пансионе Олдерней, был далек от всего, что там происходило, благодаря миссис Парменцер. Она знала потребности молодых людей, увлеченных наукой, и поселила его в самой изолированной комнате. Чтобы не быть навязчивым, он после еды удалялся из столовой от болтовни доктора Хантера, щebetанья двух мисс Пилчер, от тихой загадочной улыбки мисс Уингрэв и предложений мистера Эрроудейль научить его играть в бильярд.

Он направлялся вверх, а остальные гости (в Олдерней принимали именно «гостей», не постояльцев) внезапно обнаруживали его отсутствие.

Брауни был необщителен. Он намеревался достигнуть в своей профессии самых вершин, а это означало отдавать занятиям все время и жертвовать обычными развлечениями. Пожалуй, он мог бы быть более общительным с другими людьми. Но доктор Хантер донимал его цитатами из «Таймса», мисс Пилчер, бросив на него какой-то птичий взгляд, подставляла ему стул и настоятельно требовала, чтобы он сидел рядом с ней, Эрроудейль, манеры которого свидетельствовали о том, что он научился им, будучи уже взрослым, оказывался слишком увертливым, чтобы можно было задержать на нем внимание, и словно старался, чтобы его не слишком замечали в этом обществе, где он являлся, видимо, случайным пришельцем из более низких общественных слоев.

Впрочем, в известном смысле это было даже лучше: не возникало искушения бросить книги.

Брауни не мог критиковать только мисс Уингрэв. Она была хорошенькая, элегантная, танцевала, пила коктейли, и он никогда не мог понять зачем она живет в пансионе Олдерней. Ее улыбка чем-то напоминала знаменитую улыбку Монны-Лизы, и он не знал, что за ней скрывалось. Она вызывала в нем смущение. Он, конечно, был застенчив и хорошо знал это. Где-то он прочел, что этот недостаток всегда сопровождает в юности силу мысли.

В это вечер он сидел у себя в комнате за столом, разложив чертежные инструменты и, поставив пепельницу на такое место, чтобы не глядя, доставать до нее. К чертежной доске был прикреплен кнопками незаконченный план города. Он должен был послужить иллюстрацией к статье, над которыми он работал и собирался после войны издать отдельной книгой.

Он сделал все обычные тщательные приготовления, но работать не мог. Мысли путались, блестящие идеи ускользали от него.

В этом, собственно, не было ничего нового. Он давно уже научился терпеливо ждать вдохновения. Новым было всепоглощающее чувство бесцельности и пустоты.

Он потерял веру в то, что старался создать. Строительство никому не было нужно, и никто им не интересовался. Нужду испытывали в способах не строительства, а разрушения городов, и терпеливая работа всех творческих умов оказывалась тщетной. Он хорошо знал, что в мире, подчиненном «народу господ», не могло быть места ни для чего, что было ему дорого. Очень немногие вещи вызвали в Брауни отвращение. Но он питал глубочайшую антипатию к немцам. Два года он жил среди немцев и возненавидел их.

Живо вспоминалась ему немецкая молодежь, марширующая серыми фалангами или проходившая «бодрящую муштровку» накануне партийного митинга. Глаза этих юношей и девушек горели фанатизмом: они были совершенно развращены, и зачастую добровольно поддавались этому. Для него различия между немцами и фашистами не существовало. Он считал, что вторая мировая война разразилась благодаря слабохарактерным людям, которые отказывались верить прав-

де о немцах. А теперь всю созидательную работу приходится отложить до тех пор, пока прусский зверь не будет снова посажен в клетку.

На чертежных столах Брауни в конторе Хейторпа были только планы фабричных бомбоубежищ, примитивных подземных сооружений для спасения жизни. Эти чертежи имели одно преимущество — они не вызвали никаких споров между Брауни и Хейторпом. Понятия Хейторпа об архитектуре просто мхом поросли. Он не понимал, к чему стремятся новаторы. Он часто обращался к Брауни, требуя, чтобы тот разъяснил ему свои чертежи. «Чудесно!» — восклицал он саркастически, после того, как Брауни растолковывал ему свою мысль. «Сказочно!» — словно он не принимал всерьез Брауни ни как архитектора, ни как будущего зятя. — Таким штукарством вы никогда не добьетесь практических результатов, — этим заявлением он всегда заканчивал разговор, ибо суть подобных споров заключалась для них обоих в том, будет ли Эльси Хейторп благодаря его смелым, идеалистическим проектам жить с тем же комфортом, какой дают ей прилизанные и второсортные.

Войдя сегодня утром в контору, Брауни был приятно поражен: Эльси сидела одна в отцовском кабинете. В этой унылой конторе она, озаренная ярким солнечным светом, напоминала ему букет белых лилий. Глаза их встретились, и на одно острое мгновение он забыл все ее капризное легкомыслие, все их пререкания и ссоры.

— Какой чудесный сюрприз! — воскликнул он и жадно поцеловал ее.

Какой живой, какой красивой казалась она ему! С начала войны, благодаря нескончаемым спорам между ним и ее отцом и постоянному отсутствию Брауни из-за его обязанностей по противоздушной обороне, в их отношениях возник некоторый холодок. Но сейчас, по тому, как согласно забились у них сердца, он вдруг ощутил, что ничто не сможет их разлучить.

Она высвободилась, как будто внезапно почувствовав пресыщение от любви и поцелуев, и села. Ему показалось вдруг странным то, что оба они сознательно сдерживают себя.

— Папа сейчас вернется. Он в отвратительном настроении. Наш дом в Мельхерсте забирают под эвакуированных.

— Что ж, с этим ничего не поделаешь.

В ответном взгляде он прочел упрек за то, что принял это событие так беспечно.

— Ты думаешь, ничего нельзя сделать? Мы сами собираемся переехать туда.

— Вы уезжаете из города? Вот уж не везет мне!

Она не обратила никакого внимания на его восклицание, как не относящееся к делу.

— Смешно пускать грязных эвакуированных в такое место, как Портлендс. Правительство просто обнаглело.

— Да, конечно, — ответил Брауни без малейшего убеждения в голосе.

Когда разрушался целый мир, защищать какие-то частные дома казалось ему неуместным. Он прочел все правительственные распоряжения об эвакуации и был убежден в необходимости удалить всех детей из Лондона. Но теперь официальные доводы представлялись как-то менее убедительными, чем тогда, когда он держал в руках печатные воззвания.

— Они ведь должны куда-то уехать, понимаешь?

— Совсе они не должны, мой милый. Это делается совершенно добровольно, и я не могу понять, почему же нас могут принудить.

Здесь Брауни уловил характерную для Хейторпа точку зрения. «Это не мнение Эльси, — сказал он себе. — это отзвук того, что старик говорил за завтраком».

Она протянула ему пачку акций и других документов, которые разбирала, когда он вошел в комнату. «Сложи, пожалуйста, дорогой».

Папа беспокоится, — если начнут бомбить Лондон, он потеряет все свои ценные бумаги. Для него это было бы просто ударом, правда?

— Да, — сказал Брауни. Он думал, как трудно будет ему ездить в Мельхерст и совмещать с этим работу в ПВО. Внезапно пришла в голову мысль.

— Почему бы тебе не остаться в Лондоне? Поступи на службу в скорую помощь. Ты ведь умеешь водить машину?

Она взглянула на него. Ее голубые глаза были полны очаровательного невинного удивления.

— Нет, мой милый, я буду все время падать в обморок. Я совершенно не могу выносить вида крови, мертвецов и всего такого... Я для этого не гожусь. Но, подумай, в Мельхерсте, с одной горничной, будет ужасная жизнь.

— Ясно, — отрезал Брауни.

Ей не приходило в голову, что ему будет трудно, почти невозможно ездить в Мельхерст, а ведь именно эта мысль должна была бы в первую очередь занимать ее. Наступило молчание. Он молча укладывал бумаги. Это была одна из тех частых пауз, которые росли, расширялись и образовывали между ними непроходимую пропасть, возникшую, казалось бы, из ничего.

«Проклятая война, — подумал он. — Она все испортила, напрягла человеческие нервы до предела, все сделала трудным. До войны между нами не было размолвок».

— Поцелуй меня, — сказал он, наклоняясь вперед.

Их губы встретились, и поцелуй даился долго, хотя на лестнице уже слышались шаги Хейторпа. Отпуская ее в последнее мгновение, Брауни пробовал убедить себя в том, что недоразумение, возникшее между ними, теперь улажено. Они были так далеки друг другу, теперь же они снова вместе.

— Если эти люди обязательно должны уезжать из Лондона, то ведь и мне тоже следует уехать. У тебя такие смешные благородные идеи, мой милый.

Брауни вспомнил эти слова, сидя без дела в своей комнате. Благородные идеи! Никому они не нужны! Это явный признак незрелости. Он посмотрел на ряды книг, в которых бесконечно обсуждались увлекавшие его проблемы. Заглавия сливались в полный оптимизма хор. Основы того-то и того-то, новый, лучший мир, плановое хозяйство, плановое развитие, планирование всего на свете.

Да, это глупости, химеры, как и его чертежи. Литература поколения, сбившегося с пути. И не потому, что нехватало проводников. Проводников, пожалуй, было столько же, сколько и путников, а уже советчиков — бесчисленное множество. А к чему привели все эти поиски тысячелетнего царства? К тому, что судьбы человеческие решались теперь не разумом и согласием, а бомбардировщиками и танками.

Он отложил бумаги. Взял шляпу и противогаз. Сегодня ночью, если ему повезет, он будет спать — правда, на койке, рядом с этим отвратительным Лоусоном.

В витринах магазинов еще мерцали огни, когда он добрался до Бермондси. Он вышел из автобуса, остановился, как человек, часто осуждающий себя за неправильные поступки, раздумывая, зачем он приехал сюда так рано. Он задержался у церкви св. Климента, ибо часто проводил время, осматривая старинные церкви. Здесь было чем полюбоваться — замечательная старинная работа, на которую стоит смотреть сотни раз. Человек, создавший купол церкви св. Климента, имел и яркое воображение, и смелость мысли. Каждый мог почерпнуть здесь нечто такое, что можно было воссоздать вновь, в новых формах красоты, если конечно, он обладал дарованием и техническим мастерством.

Брауни вошел в церковь. Остановился, вглядываясь в проходы, где сгущались вечерние сумерки. Царила неестественная тишина. Воздух был недвижим, как каменные стены. В сумерки здесь было таин-

ственно и жутко. Внезапно он вздрогнул, сердце сильно забилося: кто-то еще был тут, какой-то маленький человечек — на церковной скамье сидел старый Дэдс с бледным восковым лицом. Поистине, надо было быть немного не в своем уме, чтобы наслаждаться одиночеством в таком месте.

Вспомнив свою прошлую встречу с ним, Брауни повернулся и на цыпочках вышел на улицу.

Он чувствовал себя несчастным с момента, когда сегодня утром увидел Эльси. Он тосковал. Но это была тоска, от которой можно избавиться только в одиночестве. Да он и не жаждал общества.

Но тут на его пути возникла совершенно обыденная, земная фигура Билла Бэттерсби, которого так легко было узнать по мощным плечам и забавно заломленной шляпе. Он с гостеприимным видом стоял у дверей «Дракона», поднимал руку с восбражаемой кружкой пива и простирал ее в сторону Брауни, зазывая его в кабачок. Чтобы не вышло ошибки, он указывал прямо на бар «Дракона».

— Чорт бы тебя побрал, — пробормотал Брауни, но войти пришлось.

* * *

Бэттерсби тоже направлялся на пост скорой помощи. Но он не торопился. Встреча с Брауни была важнее, так как он намерен был просить его об одолжении. Однако прежде чем начать разговор, он хотел, как водится, расположить к себе Брауни при помощи дружеского стаканчика пива. Все менее важные, второстепенные соображения Бэттерсби исчезли, когда он стал подходить к бару. Кафе было полно табачного дыма, слышался громкий смех.

В «Драконе» начиналось самое веселое время. Для Бэттерсби не было более удручающего зрелища, чем пивная, закрытая волею закона — на радость трезвенникам. Он был таким же знатоком пивных, как Брауни — знатоком церквей, и частенько заходил внутрь незнакомых кафе, чтобы удовлетворить свое любопытство. Одно и то же пиво гораздо вкуснее в различных местах. Однажды он попал в пивную, где стол в курительной был покрыт скатертью с бахромой, на спинках стульев висели вязаные салфетки — в такой обстановке даже пиво едва не повредило ему. Он любил «Дракон», потому что «Дракон» и выглядел и пахнул пивной. Здесь всегда было многолюдно, здесь были альковы с плюшевой отделкой на стенах для изысканных женщин, вроде миссис Долиш.

За стойкой, подобно лебедю в пруду, колыхалась полногрудая, представительная буфетчица, женщина средних лет, с крашенными хной волосами, с движениями, полными величественного достоинства. Тоном человека, показывающего достопримечательности, Бэттерсби процедил сквозь зубы: — Вы когда-нибудь видели такой бюст, приятель? Говорят, она пережила двух мужей.

Он постучал по стойке. — Две кружки, Эмми! И, пожалуйста, полные, чтобы пена была, как цветная капуста.

Эмми подплыла к ним. Бэттерсби незаметно толкнул Брауни локтем, чтобы тот полюбовался ее бюстом на близком расстоянии. — Как поживает ваш приятель — лорд Хоу-Хоу? ¹

— Бесследно исчез, — спокойно ответила Эмми, наполняя стеклянные кружки. — Я перестала его слушать.

— Самый откровенный комедиант.

— Он исчез бесследно, — повторила Эмми тем же спокойным тоном и уплыла, еще более, чем обычно, напоминая лебедя.

Бэттерсби проводил ее глазами, как бы потрясенный царственным самообладанием этой дамы.

Брауни поднял кружку безо всякого удовольствия. Он любил выпить сперва полкружки, затем, пожалуй, еще столько же. Пить же из

¹ Фашистский радиокомментатор, ведущий через берлинское радио антивоенную пропаганду для Англии.

кружки в целую пинту было то же самое, что лакать пиво из ведра, как лошадь. Ему не нравилась перенасыщенная пивными испарениями атмосфера «Дракона», не слишком нравился и сам Бэттерсби. Он был слишком груб и шумно весел, слишком фамильярен и доверчив. Желтоватое лицо его было весьма сомнительной чистоты. Но Бэттерсби переполняло чувство гостеприимства, и он радостно изливал его на Брауни. Он сдвинул свой котелок на затылок и произнес: «Долой пьянство», погрузил лицо в кружку.

Вынырнув из нее и явно чувствуя себя значительно более освеженным, он неожиданно спросил: — Вы женаты, Брауни? — И, получив отрицательный ответ, продолжал:

— И я тоже не женат, друг мой. Один раз чуть-чуть было не женился, и жаль, что это не вышло. Мужчине лучше с женой. Конечно, когда он уже в известном возрасте. Обо мне моя старушка заботится, но она злющая-презлющая.

— Вы о матери говорите? — спросил Брауни без особого интереса.

— Да, о моей старушке. Семьдесят шесть лет, и с ней все труднее и труднее иметь дело.

Его лицо сморщилось, когда он вспомнил обо всех жизненных неприятностях.

— Никак мне не сбыть ее отсюда.

Брауни резко повернулся, услышав эти слова, имевшие двойной смысл.

— Можете считать, что это чушь, Брауни, но, по-моему, женщины в таком возрасте совершенно бесполезны при бомбардировках.

— Что же, не желает уезжать из Лондона? — спросил Брауни, думая о том, какие странности таит в себе наша обычная речь.

— Вот именно, не желает эвакуироваться. Никакие, говорит, немцы не заставят ее уехать. Так и сидит в городе. Вот я и пошел добровольцем в противовоздушную оборону, в некотором смысле ради нее.

Он замолчал, глубоко задумавшись над проблемой, которая временно поглощала все его внимание, но затем отбрасывалась, как совершенно неразрешимая.

— Она все время просит консервированной лососины и маринованного лука. Подумайте только! Вероятно, старухи все одинаковы. Но во время войны не так-то легко достать эти проклятые штуки. За ними целые мили исходишь.

Он расстегнул пальто и показал банку пикулей, запрятанную во внутренний карман. При этом он резким движением толкнул какого-то посетителя позади себя, котсрый запротестовал. Бросив через плечо короткое «извиняюсь», Бэттерсби добавил, наклонясь к Брауни:

— И какого чорта они не ставят кружки на стойку?

— Нам пора итти, — сказал Брауни, рассчитывая прекратить изливания Бэттерсби. Он решительно принялся допивать едва тронутую кружку.

— Я слышал, вы занимаетесь бомбубежищами. Вы могли бы посоветовать старому Дэксу, как ему приспособить подвал. Там, собственно, нечего делать. Он только хочет, чтобы подвал осмотрели и его экономка успокоилась.

— Вам надо пригласить архитектора, — сухо ответил Брауни.

Бэттерсби посмотрел на него, раздумывая, но, повидимому, не был обескуражен.

— Она сейчас придет. Может быть, вы поговорите с ней?

— Нам пора итти, — повторил Брауни, опорожнив, наконец, кружку и ощущая, как по всему телу медленно распространяется прохлада.

— Еще есть время. Если будут бомбить, мы услышим. А не будут, так нам и тут хорошо.

— Дело в том, что мы должны быть на посту в восемь часов, а сейчас без пяти восемь.

— Провались эти правила! Давайте, быстренько, еще по одной.

Брауни отрицательно покачал головой.

— Я все-таки думаю, хорошо было бы вам поговорить с миссис Долиш.— Он наклонил голову.— Жаль, ее еще нет.— Затем допил пиво и поставил кружку на стойку.— Вот это напиток! Золото и пена в стекле. мгновенная радость для глаза, затем приятное ощущение в глотке, а потом — пустота в кружке.— словно выведя из этого некую грустную мораль он сказал: — Пойдемте-ка отсюда,— и вздохнул, как будто жизнь на миг потеряла для него всю свою прелесть.

Он взглянул на Эмми, но не поймал ответного взгляда.

— Провались это ПВО. Осточертело!

Они дошли до контрольного поста, замаскированного и укрытого мешками с песком. Машины скорой помощи сгрудились во дворе. Шоферы и санитары стояли группами, краснели огоньки папирос.

Среди всех этих людей, как будто ничем не занятых, но в любой момент готовых бороться и действовать, шнырял капитан Скарджил — маленький, подвижной, молчаливо наблюдавший за всем, как командир крепости, которая каждое мгновение должна быть в полной боевой готовности. Узнавая в толпе чье-нибудь лицо, он не улыбался, не кивал, — в данном случае он был воплощением безличного начальственного авторитета. Брауни понял значение всего, что он увидел, и сердце его дрогнуло. Надо было уметь двигаться среди этой злойшей подготовки, оставаясь бесстрастным и спокойным, как все другие. Этого он не мог. Ему делалось нехорошо, когда приходилось братья за носилки. Точно здесь бойня, точно заканчиваются приготовления к убою.

Дженни, которую меньше всего тревожили такого рода мысли, сидела без шляпы на подножке автомобиля. Ветер трепал ее светлые волосы, шевелил юбку, взвивал ее край, открывал колено. Не обращая на это внимания, с беспечностью шестилетнего ребенка, она сидела радостная и одинокая среди окружающей ее толпы. Что-то в ней заставило Брауни вспомнить довоенные пикники, когда мужчины и девушки усаживались вокруг автомобиля, на вечерующей лужайке поднимался прохладный ветерок, и кто-нибудь, играя на гавайской гитаре, запевал одну из тех глупых песенок, которые переворачивают сердце, когда их вспоминаешь теперь.

Как он тогда был счастлив, не сознавая этого! В то время у него с Эльси не было никаких недоразумений.

Он вспомнил о присутствии Дженни лишь в тот момент, когда она с волнением спросила Бэттерсби:

— Вы написали обо мне Филу Маршу?

— Конечно, — ответил Бэттерсби. — Написал и отправил. — Чтобы твердо убедиться в последнем, он даже порылся в кармане. — Да, письмо уже в дороге. Скоро и вы последуете за ним.

— Билл хочет устроить меня в концертную бригаду, — объяснила Дженни, обернувшись к Брауни. Тот мгновенно вернулся к действительности.

— Что ж, отлично.

Она вдруг сжала губы. В его тоне чувствовалось безразличие. Ему было совершенно все равно, уедет она или останется.

— Значит, я скоро покину вас, — сказала она чуть дрогнувшим голосом.

— Она славная, простая и по-своему хорошенькая, — подумал Брауни. Он не хотел огорчать ее и, почувствовав, что она обижена, мягко сказал:

— Конечно, мы будем скучать без вас, Дженни.

— Ясное дело. — вскричал Бэттерсби, а Лоусон, который жадно вслушивался в любой разговор, пробормотал:

— Да, выкарабкалась отсюда. Я вас не виню.

Казалось, оба они защищают Дженни и обвиняют Брауни за его равнодушие. А Брауни, который был как раз чрезмерно чувствителен, но не способен высказывать свои чувства, ощутил, что всегда будет чужим среди этих простых людей.

Скарджил задержался около них.

— Все на месте, мистер Брауни?

— Да, сэр.

Он посмотрел на небо. — Чудесная ночь для бомбежки!

— Много у нас было замечательных ночей, — сказала Джени, к которой уже вернулась вся ее веселость, — а обошлось без бомбежек.

Скарджил все еще смотрел в небо, словно видя мысленным взором черные точки бомбардировщиков там, у далекого горизонта.

— Кто-нибудь из вас может работать здесь постоянно?

— Я не могу, — быстро сказал Бэттерсби, — Джени тоже уедет недели через две, я думаю.

Скарджил посмотрел на Брауни.

— Воюю, что и я не смогу. Днем я занят проектированием бомбоубежищ.

— Я ничего не имею против, — произнес Лоусон и с надеждой посмотрел на Бэттерсби. Скарджил отошел, не сказав ни слова.

— Ишь, хочет нас охмурить, — заворчал Лоусон. Никто не ответил.

Бэттерсби, подумал он, мог бы дать ему возможность заработать лишних пятнадцать монет на ПФО. Но если он бросит работу у Бэттерсби, придется, в конце концов, отчитаться полностью. А Бэттерсби что-то очень задумчиво поглядывал на него, потирая нос толстым указательным пальцем. Он всегда это делал, когда думал о своих делах.

Глава четвертая

Опасаясь, что предметом размышлений Бэттерсби является в данный момент его особа, Лоусон отошел за машину, прислонился к ней и вынул папиросу из плоской жестяной коробочки. Если бы ему удалось занять один или два фунта — немного у Брауни, немного еще у кого-нибудь, — он бы урегулировал свои дела в конторе, перестал бы думать о них и заявил бы об уходе. Мысль о том, как отдать долг, его не беспокоила. Думал он не об этом, а о том, как достать деньги. Это затруднение предстало ему как еще одна несправедливость судьбы: а ведь он имеет право на более легкую жизнь и так нуждается в деньгах, чтобы начать ее заново. Он поглядел на Брауни, который полировал себе ногти. Это была одна из тех его барских привычек, которая особенно раздражала Лоусона. Он был уверен, что у Брауни имеется куча денег. Но ведь он все время вжничает и ни на кого прямо не смотрит, считая всех ниже себя. Брауни способен тратить деньги на ужины или на билеты в театр, но ему, Лоусону, он не даст займы. Джени, конечно, дала бы в один миг, но у нее самой ни гроша.

— Бог ты мой! — проворчал он, устав от размышлений. Он посмотрел на небо, усеянное звездами, полная луна плыла, как светящийся азростат. Он глядывался в таинственные просторы небес, морща лицо.

Его не волновало прекрасное зрелище ночного неба, он просто думал о погоде. В одну из таких ясных лунных ночей прилетят бомбардировщики и все уничтожат.

Он думал об этом довольно бесстрастно. Не обладая ярким воображением, он представлял себе все это очень просто. Немцы прилетят и все уничтожат. Для Лоусона немцы — это были люди, которые всегда куда-нибудь вторгаются и разрушают что-то города. Они любят это делать. Незачем было спрашивать, почему, — все ясно: потому что они — немцы.

Обдумывая все, что происходило еще до войны, Лоусон лишь укрепился в своем убеждении, что в данном случае, как и вообще, он лучше разбирается в обстановке, чем правительство. Впрочем, так же думали все люди, с которыми он встречался. Все, кто бывал в «Драконе» или на складе бананов, предвидели события за несколько месяцев до того, как правительство обратит на них внимание. На складе бананов, где голос его звучал столь авторитетно, международные дела решались удивительно просто. В те дни он мог часами сидеть в приятной температуре, необходимой для созревания бананов, думать о том, на какую

команду он поставит в ближайшем футбольном матче, и решать международные проблемы. Хорошая была жизнь. Теперь, издали, она казалась каким-то потерянным раем. Он уже не помнил будничных неприятностей того периода, хотя тогда они были основной темой всех его разговоров. Тихо, тепло, сидишь себе в уголке, тщательно изучаешь результаты матчей да прислушиваешься, не идет ли хозяин, — вот единственное, что ему вспоминалось.

Теперь все это исчезло, все это было сметено внезапно и совершенно незаслуженно. Ибо он, Чарли Лоусон, ни в чем не был виноват, а ведь проблемы его частной жизни, в противоположность международным, разрешались не так-то просто. Они представлялись крайне разнообразными, запутанными и трудно преодолимыми.

Стоя за машиной и надеясь, что Бэттерсби не видит его и перестал о нем думать, Лоусон перебирал в уме все свои неприятности. Он не мог понять, каким образом все его дела так запутались. Дома ребята становились вокруг его кресла, глядя на него голодными глазами, так странно похожими на его глаза, и он поражался, как это у него оказалось столько детей. Иногда он играл с ними, вырезал какую-нибудь повозку из пустой коробки от мыла и на часок забывался, развлекая детей. Но обычно он равнодушно переступал через младенцев, ползающих по полу, а встречая какого-нибудь карапуза во дворе, лишь по имени устанавливал, который это, ибо все они были один чуть старше другого и обладали поразительным семейным сходством. В былое время он приносил домой бананы, заставляя ребят съесть их в комнате и сам выбрасывал шкурки.

Но в большинстве случаев ребята раздражали его. Они заполняли дом. Он не имел своего места, не мог удобно сесть или вытянуться, и при этом у него почти никогда не хватало денег, чтобы провести вечер где-нибудь в другом месте. Все вообще шло не так, как следовало бы.

Сегодня вечером он поругался с женой по поводу эвакуации детей из Лондона. Несмотря на всю неряшливую, шумную жизнь дома с бесконечной стиркой белья и ссорами, мысль о разлуке с ребятами угнетала его. Перед тем, как отправиться на дежурство в ПВО, он поднялся наверх поглядеть, как они спят в своих кроватках. Энни решила, что их надо отправить туда, где не будет бомбежек. Двоих можно отослать к ее матери, двоих к сестре, остальных — вместе с их школой. Дома останется только самый маленький. В семействе Лоусона всегда имелся малыш: слово «бэби» звучало как титул, быстро переходивший от одного младенца к другому. Последним «бэби» была девочка. Когда все разъедутся, в доме останутся только он, Энни и бэби.

В середине спора он выкрикнул: «Мне все это надоело. Пусть прилетают и разбомбят нас. Мне наплевать!»

Жена так и застыла, держа на коленях малыша. Ее взгляд за стеклами круглых очков выражал сдержанное негодование.

— Думай, когда говоришь, Чарли Лоусон.

— А чего мне думать? Пускай прилетают и разбомбят все к черту, — самое для нас лучшее.

— Просто не понимаю, как ты осмеливаешься говорить такие вещи. Смوتри, бог тебя накажет.

Лоусон усмехнулся: — Чего ж он Гитлера не наказывает? Тот уж, наверное, заслужил.

— При чем тут Гитлер? Ты не смеешь желать несчастья своим детям.

После этого ему передали малютку. Он сидел с ней, раздраженный, но бесконечно несчастный. а жена хлопотала по хозяйству, возясь то с кастрюлями, то с горшками, то со стиркой. Его злило, что во время споров она всегда призывает бога. Энни считала, что бог всегда кого-либо за что-либо наказывает. Он накажет и Гитлера со всеми немцами, но сейчас, по каким-то малоубедительным причинам, откладывает наказание.

Лоусону хотелось знать, как это она согласилась так быстро на эвакуацию детей, — лишь потому, что об этом говорили по радио. Сначала войны миссис Лоусон благоговейно внимательно передачам Британской радиовещательной корпорации. Все, что советовало правительство, она выполняла по мере сил, ибо в противоположность своему супругу бесконечно доверяла правительству. — Раз они сидят на своем месте, значит у них ума хватает, — было ее любимым доводом. Самые блестящие доказательства, исходившие со склада бананов, не поколебали ее веры в мудрость правительства. Эту покорность властям предрежающим Лоусон объяснял тем, что она — женщина. Эни не читала газет и не задумывалась над политическими проблемами. Она слушала радио и глотала всю ту ерунду, которую вбивали ей в голову. Она слушала даже утреннюю церковную службу, каждый раз включая радио во время приготовления завтрака.

По утрам, когда Лоусон брился, жена все время мешала ему, суется у раковины, а откуда-то издалека раздавался голос пастора, блеющего, как старая овца.

Кривя лицо перед осколком зеркала и отодвигаясь каждый раз, как она приближалась к крану, он слушал слащавый голос из студии радиовещательной корпорации, доводивший его до бешенства, пока у него не вырывался вопль: — А ну тебя к черту, — и он не выключал радио яростным жестом, потрясавшим приемник.

В такие моменты его жена обретала вдруг какое-то неестественное спокойствие.

— Что с тобой, Чарли Лоусон? Теперь ты восстаешь против религии?

— Я ни против чего не восстаю. Я только хочу побриться! — кричал он. Почему она постоянно обвиняет его в том, что он против всего восстает? Человеку нужно же иметь хоть немного покоя и хоть немного свободного места, чтобы побриться. Попробовал бы этот пастор радиовещательной корпорации заняться бритьем в кухне Лоусона с помощью тупой бритвы и капли карболовой кислоты. Он бы тоже не пожелал слушать проповеди.

Совершив свое очередное путешествие к столу, она включила приемник без всякой ярости или злобы, терпеливым движением, словно поднимала с пола брошенные детьми игрушки.

Услышав добродушный проникновенный голос, читающий «Мысли на сегодня», Лоусон положил бритву. Сейчас он даже зайти уже не мог.

— Что за смысл включать радио, раз ты не слушаешь?

— Я слушаю, — ответила она спокойно. И она действительно оставалась иногда специально, чтобы послушать гимн, который помнила еще с детских лет, или слова Иисуса, такие простые, знакомые и в то же время странные, как нечто возникшее в памяти из давно забытого прошлого. Уже много лет она не думала о боге, рае и той смеси из священных текстов и рассказов, которые были ее представлением о религии. Но порою не мешает вспомнить и о них. — мы ведь не знаем, что с нами может случиться во время войны. Обозревая все неполадки в своей жизни, она обычно думала: «Во всяком случае, я сделала все, что могла».

Эти размышления смягчили ее настолько, что, когда завтрак был готов, она сказала: — Ну, вот, Чарли. Это все, что мне удалось сегодня приготовить. — Ее мирный тон сгладил все, и они в добром согласии сели за стол. Лоусон чувствовал себя несчастным, когда он ссорился с женой. После размолвки он обычно вертелся вокруг жены, ожидая с беспокойством напроказившего щенка хотя бы слова или знака примирения.

Но сегодня вечером, после спора о детях, он ушел из дому, так и не помирившись с женой. Вопрос был решен, но не им. Его участие в чем бы то ни было всегда сводилось к роли протестующего голоса, на

который не обращают внимания. Он пришел в ярость, обругал жену и злобно выскочил из дому. При этом он два раза уронил на порог своей шляп, обозвал его «скольким дьяволом» и в конце концов вышвырнул ногой на двор. Она молчаливо наблюдала это ребяческое проявление гнева (которого он теперь сам стыдился) и спокойно закрыла за ним дверь.

Это спокойствие окончательно расстроило его. Оно словно показывало, что он неправ, даже больше, чем если бы она хлопнула дверью.

Он вовсе не хотел, чтобы их действительно разбомбило, и даже не намеревался сказать этого. Как многие другие его слова и действия, эта фраза не была взвешена и продумана. Просто так себе вылетело. думал он, пытаюсь оправдать себя.

Среди забот, омрачавших его мысли, одна была эта, другая — дело Бэттерсеби. А за этим, словно пропитывая собою все остальное, вставала мысль о войне. Лоусон часто заявлял раньше, что правительство должно было остановить Гитлера, но теперь он уже об этом не думал. Он был измучен всякими невзгодами и сверх того чувствовал себя ужасно одиноким. Его глаза, пристально смотревшие в темноту, замигали и увлажнились.

— А, черт! — испуганно пробормотал он и, охваченный внезапным отвращением, действительно пожелал, чтобы все пошло к черту. — Подальше, подальше от всего этого — Из его уст яростным шопотом вырвался целый поток бессмысленной похабщины.

Он увидел громоздкую фигуру Бэттерсеби, который, позевывая, направлялся к своей койке в пункте скорой помощи. Лоусон подумал, что сказала бы Энни, если бы он сообщил ей, что «занял» у Бэттерсеби один или два фунта стерлингов, или что он сознательно сделал ошибку в счетных книгах. Она, конечно, помогла бы ему, но что бы она подумала? Это ошеломило бы ее, поразило ужасом. Она смотрела бы на него, как на вора, и не смогла бы заснуть, напуганная мыслями о полиции, о законе. И, конечно, о боге.

Последние несколько дней он украдкой осматривал всю квартиру, повсюду разыскивая деньги. Экономия и отказывая себе во всем, Энни иногда сберегала немножко денег. В тяжелые минуты она внезапно скрывалась наверх и извлекала из какого-нибудь потайного места аккуратно сложенную десятишиллинговую бумажку — последние резервы семьи.

Разыскивая эти тайники, Лоусон ходил на цыпочках туда и сюда, нервничал, надеялся, не задумываясь над тем, как он объяснит исчезновение денег, если найдет их, но страстно желая только одного — дорваться до них поскорее. Его доводила до иступления мысль, что где-то очень близко могли быть эти хитро запрятанные деньги. Он продельшал свои торопливые лихорадочные поиски как можно быстрее, в самое неожиданное время дня, но всегда сходил вниз с пустыми руками, чувствуя себя виноватым и беспокоясь, не подозревает ли его жена.

Мысли Лоусона описывали круг и возвращались обратно. Он приходил к тому, с чего начал: он явно попал в беду. Его мечта о деревенском трактирчике маячила где-то очень далеко. Будь у него возможность открыть трактирчик, он не задумывался бы над политическими проблемами.

Лоусон считал, что имеет право на кабачок. Он представлял себе его так ясно — уютный бар с красными занавесками, дубовыми диванами и керосиновой лампой на перекладине потолка. У входа немного зелени и столики для посетителей в летнее время. Маленький огород за домиком во дворе, где могли бы играть дети. Несколько кур и цепная собака. За стойкой он сам в белом переднике. Его сердце просто разрывалось, созерцая это видение, встававшее над грудями футбольных купонов, которые только случайно не выиграли. В конце концов это видение стало бы действительностью. не будь войны.

— Желтый сигнал! — крикнул кто-то с поста скорой помощи. Лоусон быстро выпрямился и огляделся по сторонам.

Прожекторы сходились в одной точке над устьем реки. Их свет сливаясь с лунным светом, превращался в какое-то неземное сияние, которое все ширилось и ширилось, освещая огромные пространства небес. Завыла сирена, и мужчины и женщины выбегали из поста скорой помощи, на ходу надевали шлемы и поправляли противогазы.

Взметнулся ближайший прожектор. Заградительный аэростат, вывешенный им из темноты блеснул, как серебряный пузырь, и исчез.

Дженни и Брауни сидели на подножке автомобиля, когда к ним подошел Лоусон. Дженни посмотрела на него и спросила:

— А где старый Билл?

— Спит у себя на койке.

— Надо бы его позвать, — сказал Брауни.

«Это значит, я должен пойти и разбудить его», обиженно подумал Лоусон.

Ощупью, сквозь полусвет, который давали слабо мерцающие там и сям огни, он добрался до койки Бэттерсби и растолкал его.

— Сирена, мистер Бэттерсби.

— Слышал. И бомбили?

— Нет еще!

— Придется встать, — заворчал он, неохотно поворачиваясь. Сколько раз его стаскивали с койки только из-за сирены. — Правила и постановления! — пробурчал он. — Правила и постановления! — Он посмотрел на часы. Больше одиннадцати, — пивные уже закрыты. Это немного утешило его. Работа в противовоздушной обороне больше всего раздражала его тем, что приходилось бывать на посту и в такое время, когда все его приятели сидели в «Драконе».

Отряд собрался. Темная молчаливая кучка людей. На их поднятых к небу лицах лучистая бледность — отсвет прожекторов. Кругом было тихо, и они напряженно вслушивались в эту глубокую, особенную тишину, предвещающую грозы. Они знали, что кругом них все напряженно глядят вверх: поднятые дула орудий следуют за движением прожекторных лучей, люди у орудий ждут, готовые каждую секунду открыть огонь. Гуденье самолетов доносилось с колоссальной высоты, напоминающая жужжанье мухи. Лучистый конус придвинулся ближе, гуденье усилилось, прекратилось и раздалось снова.

— Он как раз над нами, — прошептала Дженни. Ей захотелось взять Брауни за руку, поддержать ее несколько секунд. Брауни смотрел туда, где скрещивались лучи прожекторов. Брови его были сдвинуты, как тогда, когда он читал книгу, словно он смотрел не только на то, что видели его глаза, а разглядывал еще нечто особенное и значительное, чего другие не замечали.

Бэттерсби стоял позади и задумчиво тер нос. Лоусон согнулся и, хмурясь, глядел на зарево.

Самолет прошел, исчезли ближние прожектора, взметнулись новые, они были как телеграфные столбы вдоль дороги, по которой неприятельский самолет уходил к морю. Напряженность, царившая кругом, внезапно разрешилась, послышались шаги, голоса.

— Сколько волнений из-за одного паршивого фрица, — заметил Бэттерсби. — Что мы теперь будем делать, Брауни? Спать?

— Я думаю, надо подождать отбоя!

Бэттерсби сдвинул назад шлем (он, видимо, забыл, что это не котелок), почесал голову, подчеркивая, что не может понять приверженности Брауни к этим бюрократическим методам.

— Во всяком случае, Дженни нечего здесь делать, — заявил он. — Вы лучше идите и поспите немного.

— Чтобы я одна пошла отдыхать?

— Разве вам не холодно, Дженни?

— Мне хорошо, Билл. Чудесная ночь. Я бы часами сидела и смо-

трепа на звезды. Я чуть не забыла, что звезды блестят и над Лондонсм.

— Да,— сказал Брауни, пораженный этой мыслью и еще более пораженный тем, что ее высказала Дженни, а не он сам.

— Не вижу все-таки, почему бы Дженни не забраться в машину и не подремать,— настаивал Бэттерсби.— Идите, Дженни, я вам там все устрою. Вы должны выспаться, чтобы быть хорошей перед отъездом в Лидс.

Он открыл дверцу автомобиля, укрыл Дженни одеялом, улыбнулся и сделал ей сквозь стекло замысловатый приветственный жест.

— Хорошая девушка,— добавил он, устраиваясь на подножке и глядя на Брауни с таким видом, словно считал его несколько туповатым парнем.

Брауни кивнул головой, зевнул и осмотрелся кругом, надеясь увидеть Скарджила, который грозным оком следил за всеми из дверей дежурки. Очевидно, отбоя еще не было,— им всем придется ждать, быть может, целый час.

И так их отряд ожидал сигнала издалека, от невидимого начальства, которое приказывало действовать или отменяло свой приказ в зависимости от причин, известных ему одному. Пока не прозвучит отбой, они должны ждать. Эти мгновения отдаются войне. И медленно тянувшееся время порождало в них такое ощущение, что теперь все в их жизни — надежды, честолюбивые мечты, начатые дела, все наметки новых путей из хаоса прошлого, все задержалось, застряло в тупике войны.

Терпеливые, или охваченные нетерпением, не думая ни о чем, или занятые своими мыслями, они сидели, трое мужчин и девушка, все еще чужие друг другу. Тишина как бы изолировала их друг от друга. Их окружали крыши и шпили Лондона, тонущие в лунном свете, и в тишине этой ночи — мирно спящий, молчаливый город. Таким они видели его в последний раз.

Глава пятая

Напив м-ра Дэдса чаем, Дженни как раз сходила вниз, когда вой сирены прорезал тишину сентябрьского утра. Ей уже приходилось слышать его на санитарном пункте, но сейчас, среди бела дня, в приятном доме, этот вой вдруг обессилил ее тошнотворным ощущением страха. У нее задрожали ноги, и она так и осела на ступеньку, без единой мысли в голове, слыша только стук неистово колотившегося сердца, как будто испугана была не она, а что-то внутри ее, не зависящее от ее воли. В долгом безмолвии, сменившем последний замирающий визг сирены, зазвенела чашка м-ра Дэдса, осторожно поставленная обратно на блюде, но из кухни, где находилась миссис Долиш, не доносилось ни единого звука.

«Хороша бы я была на дежурстве во время налета!» — подумала Дженни, вставая и пытаясь унять дрожь в руках и ногах. Когда она дошла до кухни, орудия за Темзой открыли огонь.

Миссис Долиш, очень бледная, стояла у газовой плиты.

— Это зенитки,— объяснила Дженни.

— Слава богу! — отозвалась миссис Долиш, которая была уверена, что это рвутся бомбы.— Дай-то господи, чтобы они не прорвались!

Обе стояли молча, не двигаясь, вслушиваясь в новые звуки, не привычные для уха. Дребезжали стекла, где-то сверху визжали снаряды, осколки шрапнели сыпались вниз и барабанили, как галька, по крышам.

— Лучше нам отойти подальше от окна,— сказала миссис Долиш и выключила газ. Потом, подумав, передвинула сковороду на более безопасное место.

— Ну, не пеняйте на меня, если завтрак сегодня будет испорчен. А где же ваш дядя?

— Здесь,— ответил за Дженни мистер Дэдс, бесшумно входя в ком-

нату с галстуком и воротничком в руках. Он переставил вазу с бу-
мажными цветами, заслонявшую ему зеркало над камином, и принялся
было надевать эти части туалета, но вдруг опустил руки и сказал:

— Вот беда-то! Я опять потерял булавку.

Перед ним в ящичке для писем лежала целая пачка английских
булавок, но он, как всегда, не замечал этого. Дженни достала одну из
них и приколола дяде галстук к сорочке, удивляясь про себя его без-
мятежному спокойствию. Она подумала: «Он слишком беспомощен, что-
бы бежать куда-нибудь из дому в случае настоящего налета, он не
представляет себе того, что происходит». И затем, как неожиданное
открытие, пришла вторая мысль: «Да ведь это и есть настоящий на-
лет!» Столько месяцев она жила под страхом воздушных налетов, о
них предупреждали плакаты и газеты, ее обучали, как помогать по-
страдавшим. И вот, наконец, первый настоящий налет!

Наступила короткая пауза.

— Нет, так не годится! — воскликнула вдруг миссис Долиш, кото-
рая терпеть не могла, когда что-либо нарушало распорядок дня. — Сей-
час поставлю обратно сковородку.

Она зажгла газ и начала поджаривать грудинку.

Снова заговорили зенитки, потом отрывисто зарокотали где-то
мелкокалиберные орудия, и это было похоже на треск мотоциклеток.

Дженни опасливо приоткрыла дверь лавки и выглянула на улицу.
Там, в ожидании утренней процедуры открывания ставней, уже стоял
Перси Кэнтль, с интересом наблюдая разрывы снарядов в воздухе.

— А не лучше ли нам, Перси, подождать со ставнями, пока кон-
чится тревога?

— Ну, вот еще! Покажем им, что нам ничуть не страшно. Смотри-
те, Дженни, «Харрикейны»!

Он указал на черные стрелы, мелькавшие в небе, как юркие голо-
вастики в голубой воде. Стоя на цыпочках, вытянув шею, Перси с
волнением прокричал опять:

— «Харрикейны»!. Нет, «Спитфайры»! Вам видно, Дженни?

— Но почему они черные с белым?

— Это маскировка кажется такой на солнце.

Самолеты красиво плавали вверх, темным валом окружая солнце.
Теперь они напоминали уже не стрелы, а крохотных птичек с распро-
стертыми крыльями, и на них было весело смотреть. Вдруг на одну
секунду под ними появились какие-то черные точки, точки преврати-
лись в мячики, висающие в воздухе, и, чертя косую линию, полетели
вниз.

— Что это? — вскрикнула Дженни. — Что они делают? С ними что-
то неладно!

— О, черт! Это бомбы! Берегитесь, Дженни!

Завыли бомбы, сыпавшиеся на землю, как ливень стрел, ныряющие
между крыш. От взрывов дрожала земля, и вдалеке медленно вставали
черные столбы дыма.

Дженни повернулась к Перси. У того был самый невозмутимый
вид.

— А ты, кажется, сказал, что...

— Да ну, не придирайтесь, Дженни. Я ошибся.

Он вытащил из кармана сильно замусоленную карту с описанием
самолетов и посмотрел на нее с сомнением. Официальное издание, как
же ему не доверять? Но все-таки непонятно, как может успеть чело-
век зарисовать, например, «Мессершмитт» за какие-нибудь две секун-
ды, пока тот просвистит в воздухе мимо него? «А может быть, — поду-
мал Перси, — эти зарисовки делал в Германии агент нашей разведки и
привез их в Англию, спрятав в дупле зуба?». Перси и сам мечтал о
работе в разведке. Его удручало только то, что нельзя будет никому
рассказать, чем занимаешься, только разве намекать на это в разго-
воре или, пожалуй, доверить тайну своей девушке.

Он вернулся к вопросу о своей непостижимой ошибке. Не отли-
чить вражеский самолет от своих!

— Ага, теперь знаю! — сказал он, протягивая Дженни карту и собираясь указать ей, в чем сходство немецких самолетов с английскими. — Это, должно быть, «Мессершмитт сто девять»!

— Каждый может догадаться об этом, когда уж самолет начал сбрасывать бомбы!

— Ладно, подождите до следующего раза, тогда я их сразу узнаю, — самоуверенно возразил Перси и стал снимать ставни, весело насвистывая, чтобы показать, что он ничуть не смущен.

— Перси, — позвал Кэнтль, появляясь в дверях своей лавки с пачкой ненавистных ордеров, которые развевались в воздухе, как вымпела.

— Где ты, Перси? — прокричал он опять сердито.

До войны Кэнтль всегда с удовольствием открывал поутру свой бакалейный магазин «Метрополитэн». Но с тех пор как были введены продовольственные карточки и начались воздушные налеты, его все раздражало до безумия.

— Он здесь, — откликнулась Дженни вместо Перси, который укрывшись за ставнями, строил отцу гримасы.

— Ага! — воскликнул Кэнтль с облегчением: он боялся, что сын убежал куда-нибудь смотреть, как взрываются бомбы.

— Это чорт знает что! Шагу ступить не дают, — пожаловался Перси, вылезая из своего убежища, когда путь опять был свободен. — С тех пор как началась нормировка продуктов, старик совсем спятил. Нам с мамой житья не стало.

Он ушел, унося с собой ставни. Дженни окинула взглядом всю улицу, которая сразу, как по волшебству, опустела. Несколько вышедших за покупками обывателей укрылись в подвездах, — сомнительная защита, — не зная, продолжать ли им путь, или нет. Более нетерпеливые поглядывали каждую минуту то на часы, то на небо. Никаких самолетов не было видно, но из-за Темзы доходил гул новых взрывов и неясный шум, похожий на отдаленный гром.

Наконец всем стало ясно, что сейчас им не угрожает непосредственная опасность, и движение на улице возобновилось.

Брошенные было шоферами пружовики двинулись с места и скоро исчезли из виду; зеленщик напротив вывалил на свой прилавок целую корзину капусты. М-р Кэнтль поглядывал в окно, тараща глаза, как любопытная золотая рыбка за стеклом аквариума, потом юркнул в темную глубину лавки. Дженни видно было его лицо за витриной, среди пачек сухой горчицы, бутафорских пакетов с готовыми завтраками и жестянок консервированного горошка, которые его начальство в Ридинге по недомыслию приказывало выставлять в витрине. М-р Кэнтль часто жаловался м-ру Дэдсу: — Покупатели спрашивают настоящий товар, а у меня только одна бутафория. Ну, они, конечно, сердятся: картоном сыт не будешь.

Дженни отвернулась к витрине м-ра Дэдса, которую никогда не приходилось менять. М-р Дэдс никогда не снимал с нее ничего, не убирал ее и только добавлял разные древности. Часы фирмы Баркер, примерно, 1750 года были здесь поставлены, вероятно, самим Баркером, и дохлые мухи на них тоже лежали здесь с восемнадцатого века. Витрина имела точно такой вид, как в те дни, когда м-р Дэдс снял эту лавку, то есть в царствование королевы Виктории. Она была бельмом на глазу для миссис Долиш и единственным пунктом, в котором м-р Дэдс не уступал этой напористой женщине.

Возвратясь в дом завтракать, Дженни застала м-ра Дэдса уже за столом, а миссис Долиш в эту минуту ставила чайник за каминную решетку.

Уже поступили первые сведения от миссис Кэнтль, которая, ввиду малого роста, встала на ящик из-под мыла, чтобы сообщить их соседям через забор. Сведения были такие: одна бомба упала на автобус, и все пассажиры убиты; какого-то газетчика взрывной волной отнесло на пятьдесят ярдов от его велосипеда, и там его подобрали целым и

невредимым. В Полисмена на посту угодил осколок зенитного снаряда.

Ввиду таких необычайных событий атмосфера в кухне стала еще напряженнее. Миссис Долиш подошла к раковине и в сотый раз стала чистить углубление, где застаивалась вода. При этом она украдкой поглядывала в окно. А за окном все еще слышались сверху отрывистая стрельба и время от времени пугающий гул, долставший неизвестно откуда и с какого расстояния. И при каждом выстреле миссис Долиш обращала на Джени глаза, полные вопросов. Ведь на дом № 10 на Бэкерс-Лэйн, так же как на любой другой дом в Лондоне, могла упасть бомба!

Маленький дом тоже как будто насторожился и ждал, внимая звукам, никогда доселе не слышанным за все сто лет его существования. Только м-р Дэдс на вид был совершенно спокоен. Он приветствовал вошедшую с улицы Джени улыбочкой такой радостной, как будто в комнату неожиданно забрел солнечный луч, и с обычным своим терпением ожидал, пока подадут завтрак.

Но вот зенитки утихли. Теперь слышалось только шум летавших самолетов.

— Это наши, наверное, — сказала Джени.

— Слава богу, что наши ребята уцелели, — отозвалась миссис Долиш дрожащим голосом.

Затем прозвучала бодрая мелодия отбоя и, подхваченная тут и там благой вестью раскатилась по городу, радуя все сердца.

Миссис Долиш, обернув руку концом фартука, достала из-за решетки чайник. Все уселись за стол.

— Давайте есть и благодарить бога, — сказал м-р Дэдс.

Они кончили завтракать, и миссис Долиш уже протянула Джени чайник и стопку грязных тарелок с обычным своим наставлением: «Никогда не ходите на кухню с пустыми руками!» — когда снова завывала сирена. Ее встретили с раздражением, как встречают всякую безрассудную крайность.

— Вот опять заскулила наша Минни! — воскликнула Джени с некоторым задором, потому что теперь рев сирены воспринимался уже не столько как напоминание о грозящей каждую минуту смерти, сколько просто как надоевший, неприятный шум. «Ведь могли бы просто звонить в колокол или другое что-нибудь придумать вместо этой противной сирены, от воя которой даже лошади начинают ржать!»

— Эти скоты могут и сюда угодить, — сказала миссис Долиш, которая после завтрака несколько воспрянула духом. — Но будем надеяться, что они не вернутся.

Она стучала посудой, которую мыла в кухне над раковиной, и в этом стуке слышались вызов и явное пренебрежение к немцам. Все же она торопилась вымыть тарелки: если стекла в кухне разлетятся и осколки угодят ей в лицо, это не поможет Англии выиграть войну. Разве она, Пегги Долиш, не имеет права заботиться о своей наружности?

М-р Дэдс вышел в лавку, разостлал на своем рабочем столе кусок зеленого сукна, разложил на нем часы, которые нужно было чинить. Если он и слышал вторую сирену, он ничем этого не обнаружил. Множество людей работает во время воздушного налета, но очень немногие способны работать так спокойно и сосредоточенно, как это делал м-р Дэдс.

— Ну, как часы Брауни? — спросил он у Джени.

Джени проверила их и сказала, что теперь они в полном порядке, и Брауни, вместо того чтобы определять время словом «сейчас», будет точно указывать его: «пять минут, шесть минут, семь минут такого-то». А то он всегда примчится на станцию метро или автобусную остановку в последнюю секунду, и его умная голова постоянно занята мыслью, как бы куда-нибудь не опоздать. Это вообще, кажется, для Брауни главная забота в жизни. Он весьма добросовестный молсдой человек.

— Так, так,— отозвался, посмеиваясь, м-р Дэдс, подхватывая шутку Дженни. Он растирал пальцы, раньше чем приняться за свою тонкую работу, и улыбка его ясно говорила: «Правильно, Дженни, так и надо, будь весела и не обращай внимания на сирену».

Тщательно протирая часы тряпочкой, Дженни думала: «Где-то теперь Брауни?» Она знала, что он живет в шикарном пансионе в западной части города, где-то в тех местах, откуда вставали первые столбы черного дыма. Дженни представала себе пансион чем-то вроде ресторана, который она видела в кино: меню на столиках, официанты, которые все вам подают, нарядная обстановка — и никакого домашнего комфорта. Ей лично была больше по душе задняя комнатка у мистера Дэдса с ее ласкунным коврикком у камина и атмосферой семейного уюта. А Брауни, наверное, никогда не знал такой обстановки, он жил только в школьных интернатах да пансионах, Дженни было его очень жаль.

Сидя за работой, она ощущала вокруг ту тишину, что всегда следует за сигналом тревоги, тишину, когда даже неодушевленные предметы, кажется, настороженно ожидают того, что произойдет. Она все время ощущала эту настороженность, несмотря на то, что ее внимание было целиком устремлено на крохотные винтики часов, которые достаточно повернуть, легонько нажимая, чтобы вынуть весь внутренний механизм. (М-р Дэдс называл это «вывинчивать не силой, а лаской».) Еще какой-нибудь месяц назад казалось невероятным, что можно работать под бомбами, а вот ведь она и м-р Дэдс сидят и работают! Ей хотелось бы знать, что чувствует сейчас м-р Дэдс,— ведь он, в сущности, человек совсем не храбрый и очень нервный, это видно по его вздрагиваниям и жестам. Единственное, что ему помогает,— исключительная способность уходить в свою внутреннюю, скрытую от других жизнь.

Не обладая такой способностью, Дженни делала усилия сосредоточиться на работе. Надо было вывинчивать часовые винтики и укладывать их в строгом порядке на зеленое сукно. Все они были на вид одинаковы, но один другого не заменял. Каждый имел свое место и как бы врался в механизм. М-р Дэдс говаривал, что части часового механизма — это еще не механизм. Нет, вовсе нет! Каждые часы имеют свой темперамент.

В эту атмосферу спокойной и прилежной работы вдруг ворвался запыхавшийся м-р Кэнтль и был явно поражен тем, что здесь так решительно игнорируют войну. Попав сюда из мира, полного опасностей, м-р Кэнтль старательно закрыл за собой дверь, как бы выражая этим твердое намерение отрешиться на пять минут от забот и интересов своей бакалейной торговли и всецело сосредоточить внимание на вопросе более важном.

— Знаете, куда попали бомбы?

К его явному удовлетворению, оказалось, что ни Дженни, ни м-р Дэдс ничего об этом не слышали. М-р Дэдс с некоторым усилием вернулся к мыслям о бомбах и хлопал глазами, как сова, уставившись из своего угла на желтое, с повисшими усами лицо мистера Кэнтля, сгоравшего от нетерпения сообщить ему новость.

— Прямо в Букингэмский дворец.

— Да неужели? — взволновалась Дженни.

— Не может быть! — прошептал м-р Дэдс, которому это тоже показалось трагичным.

— Да. Прямо в Букингэмский дворец,— повторил Кэнтль с ударением, не допуская никакого недоверия. Шофер грузовика, на котором ему привезли сало, слышал это от очевидца, своего товарища. И на Лэдгэйтской площади падали бомбы, и на Сноу-Хилл, словом, по всему городу.

— Говорю вам, Дэдс, это не шутка.

Своим замечанием Кэнтль, вероятно, хотел не столько сообщить, сколько напомнить м-ру Дэдсу о серьезности положения.

— Это начало, а затем будет высадка...

Миссис Долиш, инстинктивно почувяв новости, вошла с блюдом и полотенцем в руках. Продолжая вытирать одно другим, она сказала:

— Уж раз они бомбили дворец, значит, пойдут на все. Голозу даю на отсечение, что они это сделали умышленно. Варвары!

— На канале стоят баржи, тысячи баржей, ожидающих погрузки немецких войск, — продолжал Кэнтль. — Гитлер назначил срок пятнадцатого сентября.

— Ну и пускай приходят! — сказала миссис Долиш. Эти слова вовсе не выражали ее искреннего мнения и были продиктованы потребностью «одернуть» м-ра Кэнтля. Она никогда не упускала случая это сделать.

— Положение очень серьезное, — повторил Кэнтль, кажется, воображая, что только он один это понимает.

— Тес, слушайте! — вскрикнула вдруг миссис Долиш. И все сразу вспомнил, что объявлена воздушная тревога и отбоя еще не было. Что именно услышала миссис Долиш, осталось для других невыясненным, но через минуту раздался грохот, от которого затрясся потолок, а затем оглушающий треск совсем близко. На улице громко кричали, и слышно было, как бежали люди — должно быть, искали укрытия. Кэнтль с невероятной быстротой нырнул под прилавок, а миссис Долиш толкнула Дженни в коридорчик между лавкой и столовой. М-р Дэдс в эту минуту держал в руке щипчики с зажатой в них волосковой пружинкой, ожидая, когда Кэнтль уйдет. Теперь он положил пружину под зеленое сукно и повернул к окну испуганное лицо.

— Господи помилуй, это где-то близко, — сказал Кэнтль, переводя от одного к другому свой словно прилипающий взгляд. Он сознавал, что ему следовало в такой момент быть у себя в магазине. Ведь если что случится, ему придется сообщить в главную контору, и если окажется, что в то время, когда бомбили магазин, он, Кэнтль, был где-то в другом месте, это произведет скверное впечатление.

— Кажется, уже пролетел дальше, — высказал предположение м-р Дэдс, рассчитывая избавиться от Кэнтля. Ему помог и другой призыв к действиям — голос миссис Кэнтль, которая пронзительно вопила на улице: «Перси! Перси!»

— Ах, проклятый мальчишка! Опять убежал куда-то! — воскликнул Кэнтль и, рывком распахнув дверь, умчался из лавки.

М-р Дэдс опять отогнул край сукна, достал щипчики с волоском. Но он был немного взволнован и никак не мог вставить волосок на место. Несколько раз пробовал, рассеянно глядя на свои руки таким взглядом, как будто это была не часть его тела, а что-то вроде щипчиков, которыми он орудовал. Руки дрожали, не слушались его, а внутри росло ощущение какой-то пустоты. Но при всех этих симптомах физического беспокойства мысли его были относительно ясны. А еще глубже за ними какая-то часть души, ничем не затронутая, спокойно наблюдала волнения ума и тела. Он верил и знал: эта сокровенная часть души останется такой же неприкосновенной, даже если бы бомба упала так близко, что могла уничтожить его телесную оболочку. «Не бойся тех, кто убивает тело», — подумал он. А если считать, что у нас есть только тело, что тело — это весь человек, тогда, конечно, в этих словах не было бы никакого смысла.

Такие мысли воодушевили м-ра Дэдса. Даже первое слабое жужжание отбоя, от которого так и подпрыгнула миссис Долиш, не дошло до его сознания, пока не сменилось громкими настойчивыми звуками. И только тогда он вспомнил, что другим недоступно утешение той веры, что поддерживала его.

— Ну-ка, Дженни, — сказал он, доставая из витрины подносик с дешевыми кольцами, покоившимися под стеклом как музейная редкость, а не как предмет торговли, — почисти эти кольца. Работа легкая и приятная.

Он снова взял в руки щипчики с волоском и стал вставлять его, приговаривая вполголоса:

— Ну, ну, входи же! Тихонько, тихонько. Вот так, хорошо.— Он улыбнулся с торжествующим видом.

* * *

Пользуясь затишьем после отбоя, которое продолжалось достаточно долго, так что можно было думать, что на сегодня тревоги кончились, миссис Долиш вышла посмотреть причиненные бомбами повреждения. Монополия на все последние известия сегодня принадлежала миссис Кэнтль, так что говорила она, а миссис Долиш была только слушательницей. Стоило выглянуть в окно кухни, как забором вырастала миссис Кэнтль на ящике из-под мыла, сигнализируя, что имеет сообщить последние новости. Тогда миссис Долиш отжимала кухонное полотенце, скручивая его с такой силой, как будто это была шея миссис Кэнтль, и высовывалась в окно, изображая на лице улыбку, которая исчезала, как только снова опускалась занавеска. Добрососедские отношения требовали, чтобы она откликнулась на сигналы миссис Кэнтль, и миссис Долиш так и делала, но при этом всячески давала понять, что она с трудом урывает минутку от неотложных домашних дел. Разговор она начинала обязательно замечанием, что ей некогда, что у нее «сковорода поставлена на огонь».

Игнорируя на этот раз случившуюся в окно и махавшую ей рукой миссис Кэнтль, миссис Долиш надела свою бархатную шляпу и вышла, чтобы самой все увидеть и узнать.

Помня, какие взрывы были слышны во время завтрака, она ожидала, что все соседние улицы имеют такой вид, как после землетрясения или урагана. Но улицы в районе Бэкэрс-Лэйн были почти такие, как всегда. Разбито несколько стекол, но множество осталось цело и большинство зданий не повреждено. Это давало миссис Долиш представление о силе взрывов: оказывалось, что бомбы, от которых тряслась их лавка, упали где-то очень далеко.

Покачивая в удивлении бархатной шляпкой, слушала миссис Долиш новости, сообщаемые ей знакомыми, и, следуя их указаниям, направилась в район, лежавший за пределами ее обычных маршрутов. По дороге ей удалось купить банку лимонного сыра (которого никогда не бывает у Кэнтль), и это окончательно придало ей прогулке характер увлекательного приключения. Пройдя много улиц и на каждой из них удивляясь про себя тому, что гунны бомбят такие бедные и глухие кварталы, она подошла, наконец, к месту катастрофы. Именно только подошла близко, и больше ничего, потому что через улицу была протянута веревка, а за веревкой торчал полисмен. Миссис Долиш стояла и смотрела, как зачарованная, обмениваясь восклицаниями с толпившимися вокруг женщинами.

Так вот где произошла катастрофа, способная удовлетворить самого ненасытного любителя сенсаций.

Трудно было поверить, что такие громадные разрушения произошли за одно только утро. На всей улице вряд ли уцелела хоть одна черепица на крыше, хоть одно оконное стекло. Двери домов были сорваны, в стенах зияли дыры, несколько домов обрушилось и обломками засыпало улицу.

Группа мужчин делала что-то среди этих развалин.

— Трупы откапывают,— шепнула стоявшая рядом женщина, и миссис Долиш содрогнулась. У нее на глазах работавшие бросили лопаты и нагнулись, поднимая что-то. Миссис Долиш стала на цыпочки и смотрела во все глаза на рыхлую массу, в которой мало оставалось человеческого. Она испытывала смесь ужаса и возбуждения, затем у нее закружилась голова, словно от туги затянутого корсета.

Итак, она видела то самое место и испытывала пренебрежение к миссис Кэнтль, которая ничего не видела собственными глазами. Но предчувствие опасности, как будто витало вокруг этого места. Здесь сегодня, недавно падали бомбы!.. И когда миссис Долиш собралась идти домой, откуда-то донесся орудийный грохот, напоминая ей, что она находится далеко от Бэкэрс-Лэйн, от знакомых людей, что ей грозит смертельная опасность.

Гонимая беспокойством, она торопливо пошла домой. Она все ускорила шаги, вслушиваясь, не воеет ли сирена. Лицо смокло от пота, в горле пересохло. Все собаки на улице как будто сговорились путаться у нее под ногами. Крепко сжимая в руках банку с сырром, она бежала, задыхаясь, пока не очутилась у «Драконе», первой вежи Сент-Климентского прихода. Обычно миссис Долиш днем проходила мимо этого заведения с таким видом, как будто никогда и не бывала в нем. Но сейчас запах из пивных и винных бочек, проникавший на улицу сквозь решетку подвала, манил ее отдохнуть здесь и подкрепиться стакачиком. Изнутри доносились веселые голоса людей, слишком здоровых, чтобы их могла потрепать, как ее, какая-нибудь горсть сильно взрывчатых веществ. Миссис Долиш даже видела в окно свою любимую нишу с плюшевой драпировкой. Она заглянула в приоткрытую дверь, ища глазами щедрого м-ра Бэттерсби. Не найдя его, полезла в свою сумочку и сосчитала хранившиеся там мелкие деньги. Надо все же выпить пива или, еще лучше, портвейна и уютно посидеть и отдохнуть.

В «Драконе» никто не был напуган налетами и возможностью вторжения немцев. Здесь было шумнее обычного, и не успела миссис Долиш найти себе местечко, как уже пожалела, что пришла сюда одна. Вскруг царило бурное веселье. Какой-то мужчина — совершенно незнакомый — подошел и сел в алькове рядом с нею. Он был сильно под хмельком, но держал себя прилично и был просто начинен новостями. Эти новости (по его словам, исключительно важные) послужили ему предлогом вступить с нею в разговор. Он рассказал, что на парашюте спустилось пятьдесят гуннов. Одни говорят — шестьдесят, другие — сто, так лучше всего, пожалуй, считать в среднем девяносто. Наши самолеты врезались в немецкую люфтваффе, как нож в сыр. Честное слово, как нож в сыр! Он подчеркнул, что воздерживается от более сильных сравнений из уважения к даме, которую он будет очень рад угостить чем-нибудь. А что касается гуннов, так они спускаются на парашютах во всех частях Англии. Страна просто наводнена гуннами.

— Их следовало бы всех расстреливать, — встала миссис Долиш.

— Слишком мягкое наказание для них, — возразил ее веселый собеседник, беспрестанно чокавшийся со всеми посетителями бара, хотя ни с кем, повидимому, не был знаком. — Эх, жаль, что я не министр внутренних дел, а то бы я сделал с этими парашютистами такое, о чем неудобно говорить при даме. Да, лучше не говорить... Однако... — Он отхлебнул из своего стакана, грозно нахмурившись.

— Вы совершенно правы, — согласилась миссис Долиш. — Так им и надо.

После того как они так дружески сошлись во мнениях, незнакомец придвинулся к ней поближе. — Пейте красавица, пейте, — настаивал он. — Пейте и наслаждайтесь.

Миссис Долиш усомнилась в его респектабельности, несмотря на модный воротничок и сигару: уж очень кончик его носа цветом напоминал вишню. Она с тайным беспокойством поглядывала на дверь, опасаясь, что вот-вот она откроется и пропустит Билла Бэттерсби. А Билл Бэттерсби не такой человек, чтобы делиться с другими своим правом угощать даму его сердца.

Вдруг хозяин постучал о прилавок, и на мгновение шум утих.

— Джентльмены, воздушная тревога! Кто хочет, может спуститься в погреб, но бар остается открытым. Заказывайте, джентльмены, кто какую отраву предпочитает!

Публика в баре криками приветствовала заявление, что хозяин стойко остается на своем посту у пивного насоса. Мужчина, подсевший к миссис Долиш, уловил суть этого заявления только после двух-трех повторений и, встав, прокричал: «Ура!», потом опять сел на место.

— Encore! Repeato! — крикнул он громко, будучи, видимо, лингви-

стом и желая привлечь внимание хозяина к пустому стакану миссис Долиш.

— Одну порцию портвейна для этой леди и одну — пива для ее камералера.

— Нет, право, не могу. Я уйду. Мне надо успеть приготовить обед.

— Накормите их, чем попало. Мы с вами еще должны выпить за летчиков на «Спитфайрах». Я сам летал на «Спитфайре» в прошлую великую драку с немцами,— сообщил он ей по секрету.— Некоторые уверяют, что в четырнадцатом году у нас еще не было «Спитфайров». Но я-то знаю, что были,— сам летал на одном из них.

— Право же, мне пора,— повторила миссис Долиш, поспешно вставая и мысленно моля провидение, чтобы оно задержало Била Беттерсби где-нибудь вне «Дракона», пока она отсюда не выберется.

— Ну, что ж, счастливого вам пути, прекрасная фея,— сказал ее веселый собеседник. Он было приуныл, видя, что она все-таки уходит. Но быстро утешился, сел и заорал:

— Выпьем за «Спитфайры!» Ура, «Спитфайры!»

— Его, кажется, разбомбили,— сказала Эмми, когда миссис Долиш проходила мимо прилавка.

— Ну и угро! — вздохнула миссис Долиш, когда она вернулась, наконец, в кухню и сбросила тесные туфли. Здесь, в своем углу, она чувствовала себя снова в безопасности. Ей не грозили бомбы, подозрительные незнакомцы, недоразумения с мистером Беттерсби. «Господь милостив»,— подумала она, расчувствовавшись под влиянием выпитого портвейна. Но все, что она видела, но все эти разрушения на Гарден-стрит! Кто их не видел, тот ни за что не поверит, что этокое возможно.— Этого никакими словами не опишешь,— сказала она м-ру Дэдсу и Джени. И тут же принялась описывать.

— И все это делается для того, чтобы вызвать у нас панику,— закончила она, выражая мнение улицы.— Да! Вот они на что рассчитывают.

Поставив чайник на камфорку, она открыла окно, чтобы посмотреть, во-первых, не видно ли вражеских самолетов, во-вторых, нет ли поблизости миссис Кэнтль. Но не увидела ни самолетов, ни миссис Кэнтль и опять закрыла его и поставила на стол чашки и блюда. Вспомнив, что объявлена тревога, она чувствовала себя как человек, который ходит по канату.

— А ведь если бы это случилось ночью, Джени, вы были бы в это время на улице, в самом пекле,— заметила она, входя в лавку (в кухне ей стало как-то неуютно одной).

— Да, если бы было мое дежурство.

— Будем надеяться, что этого не случится, дорогая,— отозвалась миссис Долиш и вдруг прислушалась. Но звук, который она приняла за отбой, к ее разочарованию, оказался только гудением отъезжавшего грузовика.— Авось, они больше не прорвутся,— продолжала она, принимаясь вытирать пыль с прилавка. М-р Дэдс после двух неудачных попыток вставить на место какое-то колесико, положил его обратно на зеленое сукно и ждал, пока миссис Долиш отступит на свои позиции.

Почти одновременно раздались свист и треск взорвавшейся бомбы, рокотание пикирующего самолета, гром зениток. Затем — миг жуткой тишины. М-р Дэдс приложил ладонь к уху, вслушиваясь.

— Встаньте-ка вы лучше под лестницей,— посоветовал он женщинам.— Их летит еще множество.

С оглушающим слитным ревом, похожим на грохот экспресса, пронеслись бомбардировщики над восточными кварталами Лондона.

Бах, бах, бах — гремело за ними. Это зенитные батареи шелкали им вслед, как шелкает зубами собака, охотясь за мухами, но они были уже слишком далеко, снаряды не доставали их. Растерянно умолкли батареи и сверху отрывисто затрещали пулеметы. Потом — опять тот же рев и длительные залпы, заглушившие все другие зву-

ки. Все это походило на дьявольскую симфонию безумия и ненависти.

Наконец наступила пауза, — та тишина, когда дыхание становится сознательным актом, когда людям почему-то кажется, что необходимо замереть на месте.

— Улетели? — спросила миссис Долиш слабым голосом.

Но м-р Дэдс слышал только, как кто-то бежал по улице, как затем отворилась дверь в лавку и раздался голос Билла Бэттерсби, громко спрашивавшего: — Где же вы? Все целы?

Они выходили сначала опасливо, потом смелее, ободренные видом Билла, который сидел на единственном стуле с твердым сидением и вытирал лоб ситцевым платком в крапинках.

— Ну и дела! — воскликнула он отдуваясь. — Я сейчас побил рекорд: несколько раз пришлось спускаться из окон на руках, честное слово!

— Что случилось?

— На улице настоящий ад. Я делал, что мог. — Он обер платком подкладку своего котелка и надел его на голову. — Да толку мало.

— А немцы-то улетели? — спросила нетерпеливо миссис Долиш.

— Ну, разумеется! По крайней мере те, кто уцелел. Два самолета загорелись и упали, а один гад спустился на парашюте. Жаль, что меня там не было поблизости, я бы ему собственными руками печеньку вырвал. Ей-богу, вырвал бы!

— Принесите чаю, — распорядился м-р Дэдс.

Миссис Долиш принесла чай на подносе, достала еще одну чашку. Глубокая серьезность и кровожадность, звучавшие в последней тираде Билла, немедленно уступили место его обычному настроению.

— Очень рад, что с вами все благополучно, Пегги. Надо будет заняться подвалом и приспособить его под убежище.

— Давно пора, — отозвалась она, наливая ему чаю. Размешав сахар в чашке, она отнесла ее туда, где сидел Билл. Все это сильный и здоровый мужчина мог бы, в сущности, прсделать сам. Дженни тихонько подтолкнула локтем дядю и глазами указала на миссис Долиш, как бы приглашая его полюбоваться на эту нежную заботливость и баловство, но ее намек не дошел до сознания м-ра Дэдса.

— Ваше здоровье! — сказал Бэттерсби, жадно отхлебнув из чашки. Иногда даже чай подкрепляет человека не хуже вина — и сейчас Билл мысленно согласился с этим. — Ах, черт, вот идет этот болван Кэнтль! — сказал он вдруг сердито.

М-р Кэнтль действительно появился, осторожно лавируя от двери к двери, словно прячась от снайперов. Он совсем запыхался, но его так распирало от сенсационных новостей, что он не стал терять ни одной минуты.

— Слышите? — выпалил он. Глаза его перебегаали от одного лица к другому, как всегда, словно прилипая к тому, на что смотрели.

— Что?

— Бомбы!

Бэттерсби предостерегающе похлопал его по жилету.

— Ну, ну! Не выдумывайте! Смодитесь-ка вы лучше домой и принесите мне пинту уксуса для моей старушки. Я знаю, что у вас в лавке есть уксус.

— Да, но я его отпускаю только прикрепленным, — возразил Кэнтль. — Ведь я владеец дома, черт вас возьми!

— А у меня инструкции от главного управления...

— Можете донести в свое главное управление, что Билл Бэттерсби взял у вас уксус. Ну, скорее отчаливайте! Старушке для каждого блюда требуется уксус. Конечно, это покажется странным, но мне нужна целая пинта — слышите Кэнтль?

— Это единственный способ от него избавиться, — пояснил Бэттерсби, вставая, когда Кэнтль ушел. — Ну, пока! Смотрите, будьте осторожны, ниже головы!

И Билл пошел дальше, а с ним ушла доля той бодрости, которую порождало его присутствие.

Пока Бэттерсби сидел среди них, развалиясь на стуле, все чув-

ствовавали себя в безопасности. Его веселая беспечность как будто была порукой, что пока он здесь, дому № 10 на Бэкерс-Лэйн никакая беда не грозит. А с его уходом дом опять казался незащищенным, ужасно хрупкой безделушкой, которую так легко раздавить.

— Напрасно он не подождал отбоя! — сказала миссис Долиш. Но слова эти были сказаны под влиянием смешанных чувств.

— О боже! — вздохнул м-р Дэдс. — Никак не удастся поработать — сначала Бэттерсби, потом Кэнтля, не говоря уже о шуме от бомб. Все мешает.

Он откинулся в кресле, утомленный передрыганиями этого утра.

— Бедный мой Нимрод! — посочувствовала Дженни, обнимая его. Тепло ее мягкого тела, прелесть ее юности и свежести на минуту заслонили от него все остальное. Он сказал, поднимая глаза на Дженни:

— А Билл не говорил ничего насчет Фила Марша? Знаешь — насчет «Прожектора»?

В первый раз м-р Дэдс вспомнил без чужой помощи название концертной бригады Марша. Это напоминание о ее заветной мечте сейчас звучало для Дженни словно издалека.

— Будем все-таки надеяться, да, Дженни?

— Да, — ответила она так тихо и раздумчиво, что м-р Дэдс не стал продолжать разговора и смотрел на нее, пытаясь угадать ее мысли, сомнения, причины ее нерешительности. Потом снова склонился над работой.

Так прошел на Бэкерс-Лэйн первый день «Битвы за Англию».

Посетителей больше не было, ибо Перси Кэнтля нельзя было считать посетителем — он только шмыгал мимо, а как только начало темнеть, явился со ставнями. Балансируя ими, чтобы показать силу своих мускулов, он похвастал перед Дженни замечательной сегодняшней находкой.

— А у меня есть осколок бомбы, — объявил он взволнованным шопотом, и на его грязной ладони Дженни увидела кусочек серого металла, весь в зазубринах.

— Я подобрал его, чтобы вам показать, Дженни. Какой он был горячий!

Перси с надеждой пощупал осколок. Но, к его огорчению, осколок успел давно остыть. «Как обидно!» — подумал Перси.

— Вот такой кусочек может пробить подряд трех человек, убить на смерть, — сказал он, изо всех сил стараясь заинтересовать Дженни.

Смертоносность этого предмета, лежавшего у него на ладони, очень волновала Перси. В их компании мальчишки спорили относительно пробивательной силы осколка. Известно, что пуля может пробить девять человек, ну, а осколок (это все понимали) — совсем другое дело.

Одно мгновение Перси как будто колебался. Затем, победив искушение, галантно сунул свое сокровище в руку Дженни.

— Ладно, возьмите его себе.

И ушел, бодро насвистывая, чтобы показать, что ему не жалко.

Дженни стояла в дверях лавки и смотрела на улицу. Сторож ставлял фонари вокруг вырытой бомбой воронки. Немного подальше, за его спиной, рабочие ставили подпорки у дома, в котором Бэттерсби сегодня тщетно пытался спасти человека. Да, только что смерть была совсем близко. У Дженни близость смерти всегда вызывала только одну простую мысль: когда человек мертв, он уже не сознает этого. Его кладут в гроб, зарывают в землю, и он лежит под дождем, ветром, снегом и не знает этого. Оттого Дженни было еще больше за мертвых.

Наблюдая, как рабочие подпирают грозившую обрушиться стену, Дженни сжимала в руке осколок бомбы, словно ощущая жесткость в каждом его остром крае.

Противная, безобразная штука! Как только совсем стемнеет, она ее вышвырнет вон.

Наступали сумерки — не былые уютные сумерки с ярко освещенными улицами и окнами, а унылый, неприветный мрак. С темнотой приходила и тишина, улицы пустыли, только порою мелькала мимо темная фигура прохожего, освещавшего себе дорогу электрическим фонариком. Первобытный мрак поглощал город и чудилось в нем что-то жуткое, неведомое.

Как скучна жизнь во время войны, — думала Джени. Ее теперь ничем не выманишь из дому в те вечера, когда не нужно идти с острадом на дежурство. Кино на углу вот уж много месяцев назад погасило разноцветную радугу огней у входа, и ее уже не тянуло туда, как прежде. По словам миссис Долиш, в кино теперь никогда не увидишь хорошего фильма. Миссис Долиш сегодня не пойдет туда, с нее довольно того, что было в прошлый раз. Самые страстные любители кино не выдержат таких испытаний: сперва была объявлена воздушная тревога, затем — отбой, затем опять тревога! Миссис Долиш, пришедшая в кино, чтобы развлечься, все больше и больше волновалась. Вторая тревога вселила в нее возрастающее предчувствие близкой бомбежки. Она вскочила и выбежала на улицу, но в эту самую минуту раздались звуки отбоя. Девять пенсов пропали даром, так как администрация кино отказалась вернуть деньги за билет.

— Вот и ходи после этого в кино! — сказала миссис Долиш, когда Джени застала ее, густо напудренную и надушенную, перед каминным зеркалом, в котором она изучала свою прическу, раньше чем надеть шляпу. Миссис Долиш была в хорошем настроении: она прочла в вечерней газете статью, в которой говорилось, что немцы в отношении ночных полетов не специалисты, а любители, и вряд ли смогут в темноте найти дорогу через Ламанш. Спеша поделиться с Джени приятной новостью, она начала искать в газете ту статью, которая привела ее в такое прекрасное настроение и расположила провести вечер в «Короне», но не могла никак отыскать ее. Вместо этого ей попался на глаза какой-то кулинарный рецепт из официальных «Советов хозяйкам», который начинался следующим неразумным указанием: «Возьмите четыре головки порея»..

— Порея! По восемь пенсов штука! — воскликнула она, мгновенно забывая обо всех остальных следствиях войны. — И кто это пишет такие рецепты, хотела бы я знать! Пускай бы походили сами по лавкам, тогда бы поняли!

Поставив таким образом на место министерство продовольствия, миссис Долиш с молниеносной быстротой поправила цветную скатерть на столе, подобрала с ковра какую-то соринку и выплыла из комнаты, распространяя вокруг целое облако благоухания «Калифорнийского мака».

Без нее в доме словно все замерло. Джени дожидалась м-ра Дэдса, который, как всегда по вечерам, вышел подышать свежим воздухом. Она села на табуретку перед огнем, обхватив руками колени, и задумалась. Она перемысливала воспоминания, как книгу с картинками. В такие минуты перед ней проходили все ее робкие надежды и мечты. Она думала о том, что ей хотелось бы делать в жизни, кем хотелось бы быть, какие переживать события. Она не столько размышляла, сколько пыталась угадать будущее. Под этими мечтами крылась покорность судьбе, предчувствие, что мир поступит с нею так, как ему, а не ей будет угодно. Такова участь всех, подобный ей. Она жаждала, чтобы в ее жизни появился человек, который встанет между нею и множеством непонятных вещей, защитит ее от них, и которому она притом будет страшно нужна. Но бывает, что никогда и не встретишь такого человека, или встретишь, а он проходит мимо.

Вошел м-р Дэдс, жмурясь от яркого света газового рожка. Увидев это, Джени просияла. Для нее быть одной значило чувствовать себя несчастной. В одиночестве было что-то леденившее душу.

— Хэлло, Нимрод! — воскликнула она. Приняла от него пальто и шляпу, сходила за его домашними туфлями и придвинула свою табуретку поближе, чтобы можно было видеть лицо дяди.

— Пстой-ка, — сказал он соображая. — Ты ведь сегодня ночью не дежуришь, нет? Твои дежурства, кажется, во вторник, четверг и субботу?

— Молодец! — захлопала в ладоши Дженни. В первый раз за все эти месяцы м-р Дэкс показал, что он способен точно запомнить что-либо.

Дженни спрашивала себя, как относится дядя к визитам миссис Долиш в «Дракон» и ее дружбе с Биллом Бэттерсби. Наверное, совсем об этом не думает. Он не способен подмечать и сопоставлять факты и делать из них соответствующие выводы. Ужасно наивный человек!

Уходя на кухню готовить ужин, она взяла со стола осколок. Теперь ей уже не хотелось его выбрасывать.

— Нехорошо ведь, все-таки подарок! — Она легко взбежала по лестнице в свою спальню, подняла розовое платье и уложила его, а вместе с ним и осколок в комод. Там они лежали рядышком, в неуместной близости друг к другу.

(Продолжение следует)

Генерал-майор М. ГАЛАКТИОНОВ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Положение, создавшееся в ноябре 1942 года под Сталинградом, является беспримерным в истории. Его характеризуют обычно так: германское командование зашло в стратегический тупик. Немцы не могли двинуться ни вперед, ни назад, а оставаться на месте грозило гибелью.

Как и почему создалось такое исключительное положение? Ответ на этот вопрос дается — насколько оказывается возможным при наличии имеющихся данных — в последующем изложении. Важность вопроса вытекает из того, что правильное разрешение его дает ключ к пониманию основной особенности современной войны. Сталинград — высшая точка войны. В сталинградском узле сплелись многообразные нити всех сложных и противоречивых явлений войны. Прежде чем приступить к исследованию, следует попытаться найти главное звено в этом запутанном узле.

Немцы, достигнув в ходе летнего наступления серьезных тактических успехов, во что бы то ни стало стремились овладеть Сталинградом. Но здесь они встретили упорное сопротивление советских войск, которого преодолеть не смогли.

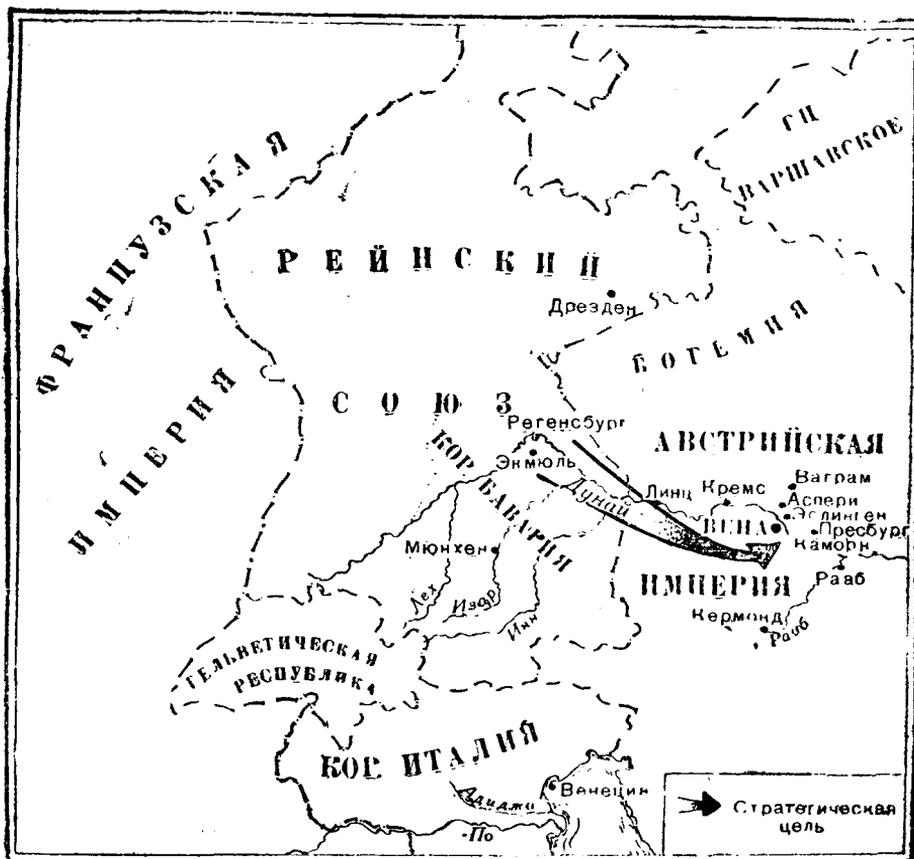
Внешне могло показаться, что это частный неуспех, который легко исправить, или усилив атаку против сталинградской обороны, или изменив направление удара. Обе попытки делались немецким командованием, но они остались безрезультатными. Сопротивление Красной Армии крепло на всех участках немецкого наступления, которое постепенно замирало и останавливалось по всему фронту.

Самое простое решение в этом положении было бы: приостановить явно выдохнувшееся наступление и закрепиться на достигнутых рубежах. Но немцы зашли слишком далеко. Их коммуникации были не устроены, удлинились. Они находились под угрозой фланговых ударов Красной Армии. Надвигалась вторая зима войны на советско-германском фронте. Решительной победы, завершающей войну, не достигнуто. Для истощенной уже Германии перспектива на дальнейшее становилась мрачной.

Второе решение заключалось в отходе из опасной сталинградской дуги примерно на линию Ростов — Воронеж. Это было бы открытым признанием поражения, да и не так-то легко можно было бы провести такую операцию отхода под ударами советских войск в условиях осени и надвигающейся зимы.

Оставалось одно — все-таки продолжать атаки против Сталинграда. Гитлеровцам казалось, что, овладев развалинами Сталинграда и выйдя на широкий участке к Волге, они смогут повернуть ход событий в свою пользу. Так ли это было или не так, — сопротивление доблестных защитников сталинградской твердыни в корне рушило замыслы немцев.

Были, следовательно, причины, которые превращали частное, на первый взгляд, явление войны — бои на узком ограниченном участке — в стратегический факт первостепенной важности. Гитлеровские войска были остановлены на пути к достижению цели. Они очутились в положении путника, остановленного разбухавшейся рекой и видящего на противоположном берегу яркие огни селения, куда он шел.



Положение скверное: назад идти опасно, оставаться на месте еще хуже.

Была ли в данном случае цель выбрана неправильно, преодолимы ли были препятствия или нет, можно ли было сменить одну цель на другую, — все эти вопросы будут рассмотрены нами во второй главе, посвященной Сталинградской битве. Здесь же важно подчеркнуть, что без четкого уяснения себе этого понятия — цели операций — вообще нельзя дать научного суждения как о данном положении, так и о ходе других операций войны.

Дело идет, конечно, не о всякой цели. В течение четырех месяцев немцы, повидимому, преследовали цель овладеть Сталинградом, но мы знаем теперь, что цели их простирались дальше. Речь идет о стратегической цели. Это, значит, о такой цели, достижение которой давало бы решительный результат.

Понятие о стратегической цели лучше всего может быть уяснено на одной из классических кампаний прошлых времен, где действия противников выступают в гораздо более простых формах, чем теперь. Остановимся на кампании Наполеона против Австрии 1809 года.

10 апреля были прерваны дипломатические отношения, и австрий-

ский эрцгерцог Карл перешел реку Инн, вступив в Баварию, в южной части которой были разбросаны французские корпуса. Численность обеих армий на данном театре была примерно одинаковой: около 120 тысяч человек. Но Наполеон не ожидал начала военных действий ранее 15 апреля. Инициатива находилась в руках эрцгерцога Карла, которому представлялась возможность бить поодиночке рассредоточенные силы французов. Однако у австрийцев нет ясного плана, нет определенной цели. Эрцгерцог Карл теряет время на нерешительные бесцельные маневры и дает Наполеону время путем быстрых и четких передвижений корпусов сосредоточить их, перехватив инициативу действий у своего нерешительного противника. Австрийская армия оказывается разрезанной на две группы. После сражения у Экмюля эрцгерцог Карл 22 апреля с главными силами переходит Дунай у Регенсбурга, отступив в Богемию. Австрийский корпус Гиллера, южнее Дуная, отступает за реку Инн.

Бавария не являлась, однако, единственным театром, где происходили военные действия. Англия продолжала вести войну против Наполеона, стремясь всюду, где возможно, создать новые очаги вооруженной борьбы. Испания пылала в огне восстания, и английские войска, высадившиеся в Португалии, под командованием Веллингтона, начали наступление против французов. В первой половине 1809 года маршал Султы был отеснен англичанами из Португалии. Наполеон, непосредственно перед кампанией в Баварии прибывший из Испании, взял оттуда лучшие французские части.

Новый театр мог легко образоваться и в Северной Германии, где опасались высадки англичан в Ганновере. Пруссия выжидала удобного момента, чтобы начать снова борьбу с властелином Европы. Вспышки восстаний, уже возникавшие во время войны, могли разрастись в серьезную угрозу наполеоновскому владычеству. В Польше действовал австрийский корпус, численностью в 40 тысяч человек, под командованием эрцгерцога Фердинанда. Россия оставалась нейтральной, но пристально наблюдала за развитием событий.

Наиболее непосредственное значение для хода боевых действий между главными силами противников имел итальянский театр. В Швейцарии господствовали французы, но в Тироле вспыхнуло восстание, которое подавить было слишком трудно, пока шла война. В Италии действовала австрийская армия, численностью 50 тысяч человек во главе с эрцгерцогом Иоанном. Хотя французские силы под командованием принца Евгения (пасынок Наполеона) были вдвое многочисленнее, австрийцы первоначально имели успех и отеснили французов за реку Адиджу. Однако поражение в Баварии немедленно сказалось и на итальянском театре: эрцгерцог Иоанн начал отходить на территорию Австрии.

Какое же решение примет Наполеон в этой обстановке? Он не колеблется нисколько и приказывает своей армии немедленно же после овладения Регенсбургом со всей возможной быстротой двигаться вдоль Дуная к Вене. «Не дальше, чем через месяц мы будем в Вене», говорится в приказе императора. Вена — такова стратегическая цель. Решение смело. Наполеон допускает, чтобы австрийская армия эрцгерцога Карла беспрепятственно отступила в Богемию. Преследовать ее не имеет смысла, так как осторожный австрийский полководец надежно укрылся за Богемским лесом. Наполеон имеет все шансы раньше австрийцев прибыть к Вене. Возможно, что эрцгерцог рассчитывал успеть выйти к Кремсу, соединиться с корпусами Гиллера и прикрыть Вену. Но дороги Богемии и медлительность австрийцев оправдывают предвидение Наполеона, что такой маневр не будет выполнен вовремя. Гиллер, безуспешно пытаясь задержать стремительный марш французской армии, спешит взорвать мост в Кремсе и переходит на левый берег Дуная.

И все же двигаться к Вене рискованно: если бы австрийцы спо-

собрны были на смелое решение, они могли бы перехватить коммуникации французской армии. Наполеон, однако, знает своего противника. Он поручает охрану своих коммуникаций вдоль Дуная маршалу Даву, а затем Бернадоту. 10 мая 1809 года французская армия появляется перед Веной. Эрцгерцог Максимилиан после бесполезной попытки сопротивления отступил из города. Наступил критический момент кампании. Наполеон все поставил на то, чтобы овладеть Веной. Но достаточно ли владеть столицей, чтобы вынудить противника к сдаче? Конечно, моральный эффект огромен. Но дело идет о жизни и смерти для австрийского государства. Австрийские армии понесли поражения, однако они еще не разбиты. Для достижения решительного результата, стратегически выгодное положение должно быть реализовано тактически, то есть в сражении. Замысел Наполеона в том и состоит, чтобы вынудить врага к решительному бою. И в самом деле, эрцгерцог Карл спешит к Вене: он не может допустить чтобы столица Австрии оставалась в руках его могучего противника.

Наполеон не имеет точных данных о расположении войск эрцгерцога. Он решает как можно быстрее переправиться на левый берег Дуная, избрав для этой трудной и опасной операции пункт вблизи Вены, где наличие островка Лобау облегчает постройку мостов. 20 мая начинается переправа, и французы занимают два живописных села на левом берегу Асперн и Эслинген. Но австрийская армия уже успела подойти к этому району, и 21 мая эрцгерцог Карл решает атаковать корпус Лана и Массена, имея численный перевес примерно на одну треть. В течение двух дней оба селения оспариваются в ожесточенных схватках, и в конце концов они остаются за французами. Но мост через Дунай неоднократно разрушается сильным течением, положение французских войск на левом берегу слишком опасно, и в ночь на 23 мая Наполеон отводит их на остров Лобау.

Итак, Наполеону не удалось достичь решительного результата. Весь его план поставлен под удар. Но такие повороты — нормальное явление на войне. Путь к реализации стратегической цели, — не считая исключений, лишь подтверждающих правило, — не легкая прогулка, а тяжелая и упорная борьба, полная всяких превратностей. Наполеон, встретившись с трудностями, тем упорнее придерживается поставленной цели. Он остается в Вене, превращает остров Лобау в грозный бастион и развивает лихорадочную деятельность, чтобы в неизбежном сражении разгромить австрийцев. У эрцгерцога Карла выбора нет — стратегически он прикован к Вене, которую он во что бы то ни стало должен освободить.

Австрийский двор обратился за помощью к Пруссии, но король Фридрих-Вильгельм ответил, что «время еще не настало». Эрцгерцог Фердинанд продолжал оставаться в Польше. Эрцгерцог Иоанн, перейдя Альпы, вместо того чтобы поспешить к Прессбургу (восточнее Вены на Дунае) для соединения с братом, направился к Кермонду (Венгрия). Отсюда он двинулся на север к городу Раабу, где 14 июня потерпел поражение в битве с преследующими его французами и отступил к Коморну (на Дунае). В момент решительного сражения австрийские силы оказались разъединенными.

Между тем Наполеон не терял времени даром. Он следовал основному принципу своей стратегии: концентрация всех сил к решающему пункту в решающий момент. Используя бездействие и промедление своих противников, он опережает их быстротой своих действий. Эта быстрота достигается ясностью в оценке обстановки и неуклонным следованием поставленной цели. Наполеон не дает отвлечь себя частными задачами. Главное в данный момент — разбить австрийцев. 9 июня 1809 года он пишет своему брату Жерому, который обеспокоен положением в Северной Германии: «Нечего бояться англичан, все их силы в Испании и в Португалии. Они ничего не смогут сделать в Германии. Прежде чем начать движение, надо ясно видеть... Я жду

всегда, чтобы дело созрело и чтобы я знал его хорошо, прежде чем приступить к действию...»

Где же концентрировать силы? Правильный выбор пункта приложения их связан с самой идеей концентрации. Наполеон избрал своей стратегической целью Вену. Если бы теперь центр тяжести переместился в какой-нибудь иной пункт, значит весь план кампании был ошибочен. Наполеон упорствует в том, чтобы именно в районе Вены собрать все свои силы, считая, что здесь произойдет решительное сражение. Он отвергает всякие иные варианты. В частности вице-король Евгений рекомендовал ему перейти Дунай у Рааба. Вот ответ Наполеона, датированный 19 июня 1809 года.

«От Рааба до Вены шесть переходов. Если бы имелся мост на позиции, где вы находитесь, я не мог бы там перейти Дунай, ибо, пока я переходил бы реку у Рааба, эрцгерцог Карл перейдет ее в моем тылу у Вены. В течение двух дней он построил бы мост. Но Рааб не стоит Вены, мой центр и моя коммуникационная линия были бы подорваны, и я очутился бы в худшем положении».

Итак, Вена оставалась центром притяжения сил противников. Здесь должно было последовать решение. Разница между Наполеоном и эрцгерцогом Карлом состояла в том, что первый понимал это и подчинял этому все свои действия, второй действовал нерешительно и в стратегическом смысле беспорядочно.

Оставив незначительные силы для наблюдения за Дунаем, выше и ниже Вены по течению реки, Наполеон приказал всем своим корпусам и отрядам, включая вице-короля Евгения, маршалов Бернадотта и Даву, прибыть в район, где намечалось генеральное сражение. Всего он сосредоточил здесь около 200 тысяч человек. Эрцгерцог Карл имел на 40 тысяч меньше. Французские войска по качеству были выше австрийских.

В ночь с 4 на 5 июля Наполеон внезапно перебросил всю свою армию с острова Лобау на левый берег Дуная. В течение 5—6 июля произошла ожесточенная битва, в центре которой была борьба за плато деревни Ваграм. Карл, пропустивший момент перехода французов через рукав Дуная, пытался действиями на флангах прижать противника к реке, но ему не удалось предотвратить захвата ключевой позиции, и к вечеру 6 июля австрийская армия отступила к Цнайму. 11 июля было заключено перемирие. Война была проиграна Австрией, которая 20 октября была вынуждена подписать тяжелые условия Венского мира.

Западно-европейская военная мысль в XIX столетии развивалась на основе опыта наполеоновских войн. Яркие наступательные и маневренные кампании Наполеона действительно дают возможность изучения явления войны в простой и наглядной форме. Тем не менее, поскольку дело идет о стратегии, надо заранее же сказать, что война в основе своей противоречива и многообразна. Сила наполеоновской стратегии и его тактика с блеском проявились против западно-европейских государств — Австрии и Пруссии. В борьбе же с крупнейшей сухопутной военной державой — Россией и крупнейшим военно-морским государством — Англией стратегия Наполеона потерпела крах. Этот момент западно-европейские военные теоретики XIX века недоучли, и это налагало ограниченность на их исследования.

«Стратегия есть использование боя для целей войны, следовательно, она должна поставить военным действиям в целом такую цель, которая соответствовала бы смыслу войны, то есть она составляет план войны».

Такое определение стратегии дает Клаузевиц, написавший свой труд на основе изучения наполеоновских войн. Согласно этому определению, стратегии принадлежит постановка целей перед тактикой, область которой — бой — является как бы средством или способом до-

способны были на смелое решение, они могли бы перехватить коммуникации французской армии. Наполеон, однако, знает своего противника. Он поручает охрану своих коммуникаций вдоль Дуная маршалу Даву, а затем Бернадоту. 10 мая 1809 года французская армия появляется перед Веной. Эрцгерцог Максимилиан после бесполезной попытки сопротивления отступил из города. Наступил критический момент кампании. Наполеон все поставил на то, чтобы овладеть Веной. Но достаточно ли владеть столицей, чтобы вынудить противника к сдаче? Конечно, моральный эффект огромен. Но дело идет о жизни и смерти для австрийского государства. Австрийские армии понесли поражения, однако они еще не разбиты. Для достижения решительного результата, стратегически выгодное положение должно быть реализовано тактически, то есть в сражении. Замысел Наполеона в том и состоит, чтобы вынудить врага к решительному бою. И в самом деле, эрцгерцог Карл спешит к Вене: он не может допустить чтобы столица Австрии оставалась в руках его могучего противника.

Наполеон не имеет точных данных о расположении войск эрцгерцога. Он решает как можно быстрее переправиться на левый берег Дуная, избрав для этой трудной и опасной операции пункт вблизи Вены, где наличие островка Лобау облегчает постройку мостов. 20 мая начинается переправа, и французы занимают два живописных села на левом берегу Асперн и Эслинген. Но австрийская армия уже успела подойти к этому району, и 21 мая эрцгерцог Карл решает атаковать корпуса Лана и Массена, имея численный перевес примерно на одну треть. В течение двух дней оба селения оспариваются в ожесточенных схватках, и в конце концов они остаются за французами. Но мост через Дунай неоднократно разрушается сильным течением, положение французских войск на левом берегу слишком опасно, и в ночь на 23 мая Наполеон отводит их на остров Лобау.

Итак, Наполеону не удалось достичь решительного результата. Весь его план поставлен под удар. Но такие повороты — нормальное явление на войне. Путь к реализации стратегической цели, — не считая исключений, лишь подтверждающих правило, — не легкая прогулка, а тяжелая и упорная борьба, полная всяких превратностей. Наполеон, встретившись с трудностями, тем упорнее придерживается поставленной цели. Он остается в Вене, превращает остров Лобау в грозный бастион и развивает лихорадочную деятельность, чтобы в неизбежном сражении разгромить австрийцев. У эрцгерцога Карла выбора нет — стратегически, он прикован к Вене, которую он во что бы то ни стало должен освободить.

Австрийский двор обратился за помощью к Пруссии, но король Фридрих-Вильгельм ответил, что «время еще не настало». Эрцгерцог Фердинанд продолжал оставаться в Польше. Эрцгерцог Иоанн, перейдя Альпы, вместо того чтобы поспешить к Прессбургу (восточнее Вены на Дунае) для соединения с братом, направился к Кермонду (Венгрия). Отсюда он двинулся на север к городу Раабу, где 14 июня потерпел поражение в битве с преследующими его французами и отступил к Коморну (на Дунае). В момент решительного сражения австрийские силы оказались разъединенными.

Между тем Наполеон не терял времени даром. Он следовал основному принципу своей стратегии: концентрация всех сил к решающему пункту в решающий момент. Используя бездействие и промедление своих противников, он опережает их быстротой своих действий. Эта быстрота достигается ясностью в оценке обстановки и неуклонным следованием поставленной цели. Наполеон не даст отвлечь себя частными задачами. Главное в данный момент — разбить австрийцев. 9 июня 1809 года он пишет своему брату Жерому, который обеспокоен положением в Северной Германии: «Нечего бояться англичан, все их силы в Испании и в Португалии. Они ничего не смогут сделать в Германии. Прежде чем начать движение, надо ясно видеть... Я жду

всегда, чтобы дело созрело и чтобы я знал его хорошо, прежде чем приступить к действию...»

Где же концентрировать силы? Правильный выбор пункта приложения их связан с самой идеей концентрации. Наполеон избрал своей стратегической целью Вену. Если бы теперь центр тяжести переместился в какой-нибудь иной пункт, значит весь план кампании был ошибочен. Наполеон упорствует в том, чтобы именно в районе Вены собрать все свои силы, считая, что здесь произойдет решительное сражение. Он отвергает всякие иные варианты. В частности вице-король Евгений рекомендовал ему перейти Дунай у Рааба. Вот ответ Наполеона, датированный 19 июня 1809 года.

«От Рааба до Вены шесть переходов. Если бы имелся мост на позиции, где вы находитесь, я не мог бы там перейти Дунай, ибо, пока я переходил бы реку у Рааба, эрцгерцог Карл перейдет ее в моем тылу у Вены. В течение двух дней он построил бы мост. Но Рааб не стоит Вены, мой центр и моя коммуникационная линия были бы подорваны, и я очутился бы в худшем положении».

Итак, Вена оставалась центром притяжения сил противников. Здесь должно было последовать решение. Разница между Наполеоном и эрцгерцогом Карлом состояла в том, что первый понимал это и подчинял этому все свои действия, второй действовал нерешительно и в стратегическом смысле беспорядочно.

Оставив незначительные силы для наблюдения за Дунаем, выше и ниже Вены по течению реки, Наполеон приказал всем своим корпусам и отрядам, включая вице-короля Евгения, маршалов Бернадотта и Даву, прибыть в район, где намечалось генеральное сражение. Всего он сосредоточил здесь около 200 тысяч человек. Эрцгерцог Карл имел на 40 тысяч меньше. Французские войска по качеству были выше австрийских.

В ночь с 4 на 5 июля Наполеон внезапно перебросил всю свою армию с острова Лобау на левый берег Дуная. В течение 5—6 июля произошла ожесточенная битва, в центре которой была борьба за плато деревни Ваграм. Карл, пропустивший момент перехода французов через рукав Дуная, пытался действиями на флангах прижать противника к реке, но ему не удалось предотвратить захвата ключевой позиции, и к вечеру 6 июля австрийская армия отступила к Цнайму. 11 июля было заключено перемирие. Война была проиграна Австрией, которая 20 октября была вынуждена подписать тяжелые условия Венского мира.

* * *

Западно-европейская военная мысль в XIX столетии развивалась на основе опыта наполеоновских войн. Ярко наступательные и маневренные кампании Наполеона действительно дают возможность изучить явления войны в простой и наглядной форме. Тем не менее, поскольку дело идет о стратегии, надо заранее же сказать, что война в основе своей противоречива и многообразна. Сила наполеоновской стратегии и его тактика с блеском проявились против западно-европейских государств — Австрии и Пруссии. В борьбе же с крупнейшей сухопутной военной державой — Россией и крупнейшим военно-морским государством — Англией стратегия Наполеона потерпела крах. Этот момент западно-европейские военные теоретики XIX века недоучли, и это налагало ограниченность на их исследования.

«Стратегия есть использование боя для целей войны, следовательно, она должна поставить военным действиям в целом такую цель, которая соответствовала бы смыслу войны, то есть она составляет план войны».

Такое определение стратегии дает Клаузевиц, написавший свой труд на основе изучения наполеоновских войн. Согласно этому определению, стратегии принадлежит постановка целей перед тактикой, область которой — бой — является как бы средством или способом до-

стижения целей. Цели войны — политические. Тактика преследует цели, которые ей ставит стратегия, но стратегия, в свою очередь, связана с тактикой, ее планы осуществляются на полях сражения путем маневра и боя.

Следует сказать, что определение Клаузевица, будучи общим, не дает конкретного понятия о стратегической цели, которое можно было бы составить себе хотя бы на рассмотренном нами примере.

Какие же цели стратегия ставит войскам? Они должны соответствовать политике данного государства. «Война есть продолжение политики иными средствами» (Ленин). Но эти цели, очевидно, должны быть и военными целями, целями боевых действий. В войне 1809 года Наполеон продолжал свою политику, которая была очень сложной. В своих стратегических решениях он учитывал все стороны этой политики, но войскам надо было поставить конкретную цель, которая преследовалась непосредственно боевыми действиями. В развернутом виде это план войны.

Для каждой войны (и каждой стороны) должен быть разработан особый план и ставиться цели, подходящие для данного случая. Можно, конечно, сказать, что во всех войнах перед войсками ставится цель: «одержать победу», «разбить врага» и тому подобное, но это все равно, что ответить путнику: вы попадете куда хотите, если будете идти. — вместо того, чтобы указать ему дорогу. Полководец не может, разумеется, ограничиться подобными общими указаниями войскам, он должен поставить им конкретную цель, которая преследуется в данной войне (кампании) и достижение которой вело бы к поражению врага. Избрать такую цель — дело высшего полководческого искусства. Нет каких-то общих рецептов, на основании которых такую цель можно изыскать... Стратегия, как наука, лишь вооружает полководца опытом прошлых войн, конкретным анализом их и вытекающими отсюда выводами и предостережениями. Однако решать задачу в каждом отдельном случае — для данной войны (кампании) — полководцу приходится по-особому.

Жомини, талантливый исследователь французских войн эпохи революции и империи, в своих «Очерках военного искусства» утверждает:

«Приведение в действие сил требует соблюдения двух основных комбинаций: одна из них является самой основой стратегии, а именно — ПУТЕМ ПОДВИЖНОСТИ И БЫСТРОТЫ ДОБИВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА, СОСТОЯЩЕГО В ТОМ ЧТОБЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО БРОСАТЬ СВОИ ГЛАВНЫЕ СИЛЫ ТОЛЬКО НА ЧАСТИ НЕПРИЯТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ; вторая комбинация заключается в том, что НЕОБХОДИМО НАНОСИТЬ СВОИ УДАРЫ В НАИБОЛЕЕ РЕШАЮЩЕМ НАПРАВЛЕНИИ, то есть в том направлении, в котором неприятелю можно причинить больше всего вреда, не подвергая себя само- го особо серьезным опасностям, например, опасности перехвата своих коммуникаций.

Вся наука о больших комбинациях войны сводится к этим двум основным истинам».

Жомини в указанном труде анализирует и кампанию 1809 года. Он отмечает два момента: начало кампании — в Баварии и конец ее — переход Дуная перед Ваграмом. В обоих случаях он указывает на мастерские передвижения войск Наполеоном, превзошедшим противника в искусстве концентрировать свои силы для нанесения ударов по врагу. Однако в анализе Жомини не ставится вопрос о стратегической цели. Между тем, как мы видели, без правильной постановки Наполеоном стратегической цели и принципа концентрации сил был бы, во-первых, неосуществим, во-вторых, недейственен. В самом деле, бесспорно блестящее маневрирование французского императора в Баварии отнюдь не решило исхода войны: у противника нашлось противоядие — уклониться от дальнейших сражений и уйти в Богемию.

И лишь марш Наполеона к Вене вынудил эрцгерцога Карла самому подойти к противнику и принять вызов на решительный бой.

Жомини в числе 13 пунктов, определяющих содержание стратегии, указывает:

«1) выявление особенностей театра войны и тех различных комбинаций, которые на нем могли бы предоставиться;

2) выявление решающих пунктов как результат этих комбинаций и выбор наиболее благоприятного направления, которое следует придать операциям...»

Необходимо прямо сказать, что стратегическая цель, направление главного удара, план войны (кампаний) — основа стратегии.

Конечно, этим содержанием стратегии не исчерпывается. За планом, постановкой цели следует важнейшая и ответственной стороной военной деятельности: «исполнение». Наполеон говорил: «Военное искусство — простое искусство, все оно состоит в исполнении». Разработав план, поставив цель войскам, полководец руководит двумя основными отраслями действия армий на войне: маневром и сражением.

К области маневра и относятся те два принципа, которые сформулировал Жомини. Суть их состоит в опережении противника, чтобы достичь преимущества в силах, и их расположении на решающем направлении перед сражением. Сражение, бой, относимые к области тактики, — решающая и завершающая стадия всех действий войск на войне.

Совершенно очевидно, что все три звена: стратегическая цель (план), маневр, сражение тесно связаны друг с другом и в живой действительности войны образуют единое целое. При постановке стратегической цели полководец должен учитывать свои силы и средства и правильно оценить силу и положение противника. Он должен заранее наметить способы достижения цели, направление и пути движения войск, форму маневра, наиболее выгодное расположение сил перед сражением. Из стратегической цели вытекают частные цели, которые осуществляют отдельные войсковые соединения.

Конечно, усвоив это понятие, полководец вовсе не получает в свои руки чудодейственного талисмана побед. Но в высшей степени важно, чтобы он твердо знал, что для достижения победы должна быть поставлена войскам стратегическая цель, чтобы на основе изучения многих войн и кампаний он всесторонне освоил суть этого понятия, его значение и связь с другими понятиями стратегии и тактики. Войны не повторяются во всем своем конкретном своеобразии, но многое из прошлого опыта может быть использовано и в условиях новой войны.

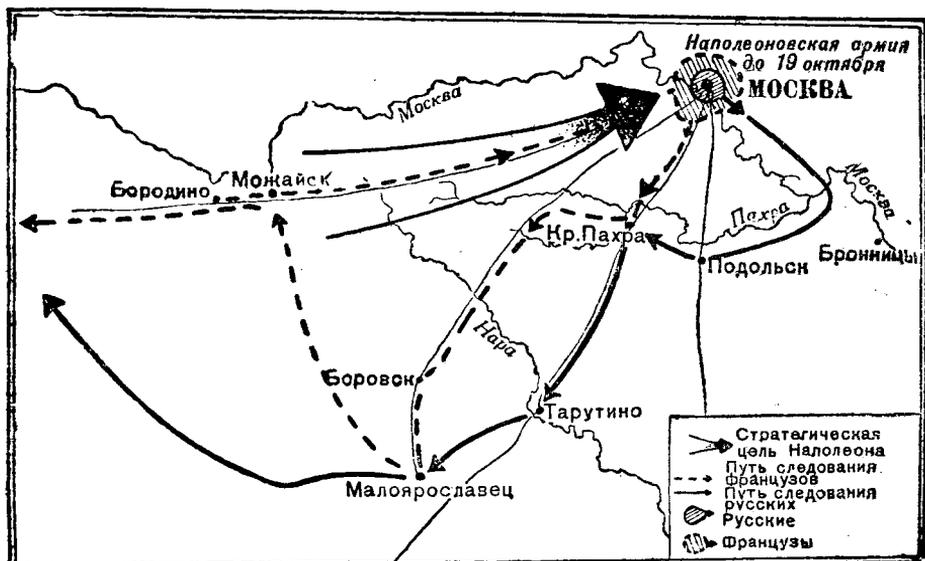
Чему учит, в частности, кампания 1809 года?

Она дает возможность оценить значение правильно поставленной стратегической цели.

Уже в ту эпоху война велась крупными силами в составе армий, корпусов, дивизий, отдельных стрядов. Каждое из крупных войсковых соединений действовало самостоятельно, осуществляло задачи, указанные главным командованием или определенные, в соответствии с этим, командованием данного соединения. Но не должна ли быть указана войскам главная основная цель всех действий вооруженных сил в данной войне? Наполеон ее поставил, австрийское командование нет. Ход войны показал, что Наполеон получил крупное и даже решающее преимущество.

Прежде всего Наполеон знал, какой из театров является для него главным и какие — в данной войне — второстепенными. Это позволило ему правильно распределить свои силы. Конечно, ни один полководец не может избежать необходимости выделения части сил на второстепенные участки и для выполнения частных задач. Но в ходе кампании 1809 года четко поставленная стратегическая цель позволила стянуть для генерального сражения все, что было возможно, с второстепенных участков. Начальники, получившие частные задачи, стремились

КАМПАНИЯ 1812 г.



выполнить их возможно быстрее, зная, что силы, находившиеся под их командованием, понадобятся на главном участке.

Имея ясно поставленную стратегическую цель, Наполеон опережал своего противника в быстроте действий, захватывал инициативу и подчинял австрийское командование своей воле.

Стратегическая цель выражала суть всего плана войны, идею стратегического маневра. Замысел Наполеона состоял в том, чтобы захватом столицы посеять панику в австрийском дворе и вынудить эрцгерцога Карла к генеральному сражению. Вместо погони за австрийской армией Наполеон выходит в ее глубокий тыл.

Вена была, конечно, не самоцелью. Географические пункты на театре военных действий получают свое значение лишь с точки зрения расположения, действий и питания вооруженных сил. И все же надо подчеркнуть, что стратегическая цель, как военная цель, связана с обозначением тех или иных территориальных объектов.

Вооруженные силы обеих сторон действуют на определенном театре или нескольких театрах. Их сближение для боя происходит путем передвижений. Стратегическая цель — цель наступления главных сил, или идея основного маневра. Она необходимо должна быть обозначена территориально.

Основываясь на рассматриваемом примере в понятии стратегической цели, можно различать три момента:

территориальный объект — Вена;
замысел полководца или суть плана войны — вынудить австрийцев к генеральному сражению и разбить их;

идея и форма маневра — выход в глубокий тыл основной группировки противника, овладевая ее базой.

Перейдем теперь к вопросу о правильном выборе стратегической цели. Можно было бы очень кратко ответить на этот вопрос: цель выбрана правильно тогда, когда достижение ее приводит к победе, к выигрышу войны (кампании). Но, понятно, такой ответ, как общий, недостаточен. Победа достигается сражением. Не всякое сражение ве-

дет к выигрышу войны (кампании), а лишь такое, когда поражение наносится главным силам противника. Исход сражения решают войска, дело полководца — обеспечить наиболее выгодные условия для того, чтобы армия достигла победы в сражении. Правильная постановка стратегической цели должна соответствовать двум требованиям: во-первых, главные силы противника вынуждаются к сражению; во-вторых, в этом сражении должно быть обеспечено своим войскам превосходство над противником. Таким образом, достигается решительный результат в войне (кампании). Стратегическая цель, в отличие от частных целей, имеет, следовательно, решающий характер.

Понятно поэтому, какая ответственность лежит на полководце при выборе стратегической цели. Ошибка в этом вопросе может повлечь за собой катастрофические последствия.

В 1812 году Наполеон вступил в Россию с огромной армией. Его стратегическая цель — Москва. Русская армия отступает, уклоняясь от сражения. Но вновь назначенный русский главнокомандующий маститый фельдмаршал Кутузов решает дать французам генеральное сражение под Бородином. Французский император, казалось, имел все основания торжествовать успех своей стратегии: как он и предполагал, русские не смогут сдать без боя Москвы. Первое требование осуществлено: главные силы обеих сторон выстроились для решительной схватки. О втором требовании прославленный полководец не беспокоится: он считает обеспеченным превосходство французских войск над русскими.

Однако Бородино оказывается сражением, к которому не применимы обычные мерки: русские не разбиты, они удерживают за собой позиции на поле боя, потери огромны с обеих сторон, на другой день русская армия продолжает отступление к Москве. Наконец, Наполеон достиг заветной цели своего длительного похода. Но пожар безлюдной Москвы опять-таки свидетельствует, что за внешним успехом скрывается что-то странное и непонятное. Москва — не Вена и не Берлин.

Цель достигнута, но она не оказалась решающей. Кутузов сохранил свою армию и теперь пополняет ее, отнюдь не спеша снова вступить в бой с французской армией, которая голодает и разлагается в Москве. Убедившись, наконец, что, достигнув Москвы, он не достиг победы, Наполеон вынужден начать отступление, превратившееся в катастрофу для «великой армии».

Стратегия Кутузова в первой стадии войны была оборонительной. Задачей ее, следовательно, было прежде всего расстроить планы Наполеона. Убеленный сединами, русский полководец мудро оценил обстановку и построил план своих действий, раскрытие смысла которого имеет особый интерес для темы, рассматриваемой нами.

В кутузовской стратегии содержится гораздо более глубокое понимание целей обороны, чем у Клаузевица, жившего в ту же эпоху. Русское военное искусство было проникнуто традициями великого Петра учившегося у шведов, но превзошедшего своих учителей. Петровская стратегия в северной войне была школой для целой плеяды русских полководцев, увенчанной гениальным Суворовым. Его ученик и сподвижник Кутузов обнаружил в отечественной войне 1812 года высокую ступень развития русского полководческого искусства.

Мы уже отметили выше, что западно-европейская военная мысль недоучла уроков провала наполеоновской стратегии. В частности, кампания 1812 года рассматривалась по преимуществу с внешней стороны, и в общем ходе наполеоновских войн она представлялась какой-то роковой случайностью. Глубокая теоретическая сторона кутузовской стратегии осталась без внимания.

По Клаузевицу, оборона — более сильная форма ведения войны, но с негативной целью. Инициатива принадлежит наступающей стороне — она ставит цель, обороняющийся препятствует достижению ее как защитой местности, так и активными действиями. Приходит мо-

мент, когда обороняющаяся сторона переходит в наступление, и тогда она уже, очевидно, ставит себе положительные, конкретные цели.

В эту простую схему стратегия Кутузова, однако, явно не вменяется. На первый взгляд действия великого русского полководца представляются даже как непоследовательные и непонятные.

Кутузов дал французам генеральное сражение у Бородина («*Bataille de Moscow*») — московское сражение, как писал в своих мемуарах Сегюр). Значит, Кутузов считал Москву таким важным объектом, за который армия должна «стоять насмерть».

Однако затем он идет на сдачу Москвы французам, считая, что с потерей ее еще не проиграна война. Но в таком случае не был ли прав Барклай-де-Толли, утверждавший, что следовало отступить, не давая сражения?

Последовательность действий Кутузова становится вполне понятной, если уяснить, что, обороняясь, он уже ставил себе решительную цель: дальновидный план разгрома врага.

Для Наполеона стратегической целью была Москва. Москва же встала в центре также и кутузовской стратегии.

Таким образом, и у Наполеона — наступающей стороны, и у Кутузова — обороняющейся стороны — цель связана с одним географическим наименованием. Тем не менее цели эти различны.

Цель Наполеона: достичь Москвы, вынудить противника к генеральному сражению, в котором разбить его, навязать тяжелые условия мира.

Цель Кутузова: в борьбе за Москву уничтожить и истребить французскую армию.

Важнейшие этапы достижения цели Кутузовым:

Бородинское сражение, в котором русская армия выстояла, причинив врагу огромные потери;

Фили — решение пойти на временное оставление Москвы, чтобы сохранить армию и подготовиться к дальнейшей борьбе;

блокада противника в сожженной Москве, где он лишен средств снабжения;

Малоярославец — воспрепятствование Наполеону выйти из Москвы в богатые хлебом южные районы;

преследование и истребление французской армии.

Стратегия Кутузова явилась правильной, более целеустремленной и, в конце концов, более активной и решительной, чем наполеоновская. Для полководца понятие активности более глубокое, чем для исполнителя — командира: оно состоит в смелой решимости взять на себя все бремя ответственности и направлять все свои действия непреклонно к поставленной цели.

Бросается в глаза полная противоположность в образе действия австрийского полководца Карла в кампании 1809 года и русского полководца Кутузова в кампании 1812 года. Оба имели дело с Наполеоном, оба оборонялись. Инициатива принадлежала и в том и в другом случае Наполеону, который ставил решительные цели: в первом случае Вена, во втором — Москва. И в той и в другой кампании в этих пунктах создавался центр тяжести военных действий.

Но Карл не раскрыл плана своего противника и очутился на поводе у него; уйдя в Вогезию, он вынужден вернуться к Вене и принять бой, Кутузов же, уяснив цель Наполеона, обращает ее на погибель французам. В борьбе за Москву он преследует свою решительную цель.

В аспекте нашей темы стратегия Кутузова в 1812 году дает весьма ценное теоретическое положение: обороняющаяся сторона, активно противодействуя вражеским планам, уже в период, когда инициатива принадлежит наступающему, может поставить войскам конкретную стратегическую цель (значит, положительную, а не негативную, как утверждал Клаузевиц). Конечно, возможна и такая оборонительная стратегия, которая не ставит себе решительной цели, но в этом слу-

чае она не может рассчитывать на победу в войне с сильным и активным противником.

Это положение, как увидим, имеет крупнейшее значение в современных войнах, в которых удельный вес обороны резко возрос.

Поразительно, какая метаморфоза произошла с Наполеоном с 1809 по 1812 год. Ведь после захвата Вены он прекрасно понимал, что этим война еще не выиграна, главное еще впереди — разбить австрийцев, притянутых к полю боя магнитом столицы. И вот, вступив в Москву, он поддается гибельной иллюзии, что победа уже достигнута хотя русская армия не разбита. Император проводит недели в бездействии, дав время Кутузову беспрепятственно пополнить свою армию. Вскоре реальное соотношение сил вскрылось, и оно-то и решило исход кампании.

Стратегическая цель выбрана неправильно, если она не содействует армии в самом важном деле: вступить в сражение с главными силами противника в наиболее выгодных условиях и разбить их.

Таким образом, предварительное рассмотрение вопроса на примерах, взятых из наполеоновских войн, приводит к следующему выводу: стратегическая цель — решающая цель наступательных операций в данной кампании;

стратегическая цель может ставиться также и обороняющейся стороной, действующей активно.

Сохраняет ли понятие стратегической цели свою значимость и в современных войнах?

Современные войны отличаются от войн начала XIX века прежде всего своими масштабами. Они происходят на многих театрах, в них участвуют миллионные армии. Уже отсюда ясно, что нельзя механически переносить в современную эпоху то, что было верно для прошлых войн. Нынешние войны выливаются в длительную борьбу, которая распадается на ряд одновременных или последовательных кампаний. Если иметь в виду именно решающую цель, то такая цель в конкретной форме ставится в этих кампаниях.

Изменился также и характер боевых действий. Сражения стали упорными и длительными. Достижение цели связано с огромными трудностями. При определенных условиях война принимает позиционный характер, и цели, находящиеся в глубине вражеского расположения, оказываются недостижимыми. Следует ли, учитывая все это, ставить в операциях решающую цель? Не следует ли, напротив, ограничиться целями частными, зато вполне достижимыми.

В первой главе мы рассмотрим, как на почве этих изменений в масштабах и характере войн возникли взгляды и теории, отрицающие понятие стратегической цели. Но если не ставить в операциях, происходящих на всем театре войны, единой решающей цели — не значит ли это, что исчезает единое стратегическое руководство всеми происходящими операциями. И, действительно, мы встретимся с отрицанием стратегии, подменой ее тактикой. Мы встретимся также и с тем, что название стратегии оставляют, но на деле суть стратегии, как активного и планомерного руководства ведением войны, выхолащивают.

Источником этой путаницы и шатаний в вопросе о стратегии является германский генштаб и его глашатаи. В этом нет ничего удивительного, ибо германский империализм ставил и ставит себе цели, не соответствующие имеющимся у него средствам: германская стратегия является дефективной в своей основе. Отсюда возникают две крайности: или авантюристическая стратегия, которая ставит войскам цель с перенапряжением сил и средств, или отрицание стратегии, ставящей решительные цели вообще.

Уже Мольте-старший высказал взгляды, в которых заключалось зерно отрицания стратегии. Немецкий военный историк Дальбрюк

утверждаю, что существуют две отличных друг от друга разновидности стратегии: стратегия сокрушения и стратегия истощения (измора). В стратегии истощения, очевидно, не ставится решающая цель наступательных операций (если такие операции и ведутся, то с ограниченными частными целями), то есть стратегическая цель.

Войну 1914—1918 годов немцы начали, придерживаясь шлиффеновского плана, проникнутого стратегией сокрушения. Но уже в 1910—1916 годах, после провала этого плана, Фалькенгайн высказал теорию стратегии истощения. Людендорф от проповеди стратегии сокрушения на Восточном фронте пришел в 1918 году ко взглядам, в которых стратегия подчиняется тактике.

Такие же шатания в стратегии проявило и гитлеровское командование в нынешней войне. От «блицкрига» оно, после поражений на советско-германском фронте, пришло к стратегии затягивания войны, безуспешно пытаясь заморозить боевые действия на укрепленных фронтах.

Конечно, не только в Германии наблюдается эта путаница и шатания. В 1939—1940 годах французский генштаб начал войну, руководясь именно такой стратегией, искусственно пытаясь сразу же придать войне позиционный характер. По сути дела это — отрицание стратегии, отрицание постановки стратегической цели в активных операциях, которое жестоко отстало за себя.

★ ★ ★

Товарищ Сталин утвердил стратегию как военную науку, имеющую значимость и в современных войнах.

«Стратегия есть определение направления главного удара» (С т а л и н).

Этим выражена суть стратегии как активного руководства операциями, происходящими на всем театре военных действий. Чем более сложны и разнообразны формы, в которых протекает теперь война, тем более важным является определение центра главных усилий вооруженных сил. Без этого ведение войны отдается на произвол стихии и случайностей.

Что можно сказать о стратегии, которая не ставит войскам решающих целей, не указывает направление главного удара, не имеет единого плана операций на всем фронте? Это, по сути дела, отказ от стратегического руководства, передача инициативы противнику, подчинение его воле.

Конечно, отсюда не следует, что стратегия охватывает только область наступления. Не всегда можно и не всегда удается наступать. Бывают периоды стратегической обороны, когда инициатива наступательных действий находится у противника. В этом случае задача стратегии сводится к раскрытию плана противника, парированию его ударов и подготовке перехода к решительному контрнаступлению. В современной войне, когда боевые действия ведутся на широких фронтах, тем более важно — также и при обороне — правильно определить, где находится центр тяжести всех операций, ставить решительные цели, действуя активно. Только таким путем вносится плановость в руководство ведением войны.

«План стратегии — это план организации решающего удара в том направлении, в котором удар скорее всего может дать максимум результатов» (С т а л и н).

Стратегия — искусство вождения армий по определенному плану главного командования.

Понятно, что стратегия, имеющая дело с ведением войны в целом, не ограничивается только руководством операциями всех вооруженных сил на фронтах. Товарищ Сталин в своих выступлениях подчеркивает огромную роль тыла. Стратегия включает политическое, экономическое и организационное руководство войной. Усилия фронта

и тыла в течение войны направлены к достижению победы, к разгрому врага.

Стратегия ставит цели вооруженным силам. Эти цели должны быть решительными, они требуют от войск величайших усилий, самоотверженности, воинского мастерства. В то же время эти цели должны быть реальными. Должны соответствовать соотношению сил, должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами для их достижения.

Товарищ Сталин так характеризовал стратегию немцев: «Их стратегия дефективна, так как она, как правило, недооценивает сил и возможностей противника и переоценивает свои собственные силы».

В противоположность авантюристической немецко-фашистской стратегии сталинская стратегия строится на прочной научной базе, придавая решающее значение не временным, приходящим моментам, а постоянно действующим факторам, к которым относятся: прочность тыла, моральный дух армий, количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава армии.

Но значит ли это, что стратегия ограничивается лишь созданием благоприятных предпосылок — политических, экономических, военно-организационных — для ведения войны, после чего победа достигается автоматически? Нет, конечно. Самая трудная и самая важная задача ведения войны — разбить врага в вооруженной борьбе.

В своем докладе 6 ноября 1942 года товарищ Сталин сказал:

«Если рассмотреть вопрос о соотношении сил двух коалиций с точки зрения человеческих и материальных ресурсов, то нельзя не прийти к выводу, что мы имеем здесь бесспорное преимущество на стороне англо-советско-американской коалиции. Но вот вопрос: достаточно ли одного лишь этого преимущества, чтобы одержать победу? Бывают ведь такие случаи, когда ресурсов много, но расходуются они так беспорядочно, что преимущество оказывается равным нулю. Ясно, что кроме ресурсов необходима еще способность мобилизовать эти ресурсы и умение правильно расходовать их».

В дальнейшей части доклада товарищ Сталин выразил уверенность, что наши союзники проявят свою способность и умение в деле мобилизации и распределения ресурсов «для осуществления военных целей».

Товарищ Сталин совершенно четко определил соотношение между стратегией и тактикой:

«Тактика есть часть стратегии, ей подчиненная, ее обслуживающая. Тактика имеет дело не с войной в целом, а с ее отдельными эпизодами, с боями, с сражениями».

Понятно, что самый превосходный стратегический план не может быть реализован без победы на поле сражений, без тактических успехов. Правильное указание войскам главного направления удара, стратегической цели как бы концентрирует тактические действия войск и тем самым ведет к решительной победе.

Но при дефективности стратегического плана тактические успехи оказываются бесплодными, не ведут к решительному результату. Так произошло с немцами в летней кампании 1942 года:

«Таким образом, тактические успехи летнего наступления немцев оказались незавершенными ввиду явной нереальности их стратегических планов» (Сталин).

Этот разрыв между стратегией и тактикой, между целями, указанными войскам, и фактическими достижениями их, как правило, создают гибельную обстановку для наступающего, что подтвердилось в 1942 году в отношении немцев.

Сталинская стратегия, построенная на научной основе, блестяще проявилась в руководстве операциями на советско-германском фронте в Великой Отечественной войне.

ОТ ПАРИЖА ДО СТАЛИНГРАДА

1 сентября 1939 года началась вторая мировая война. Преступная рука Гитлера зажгла пожар, охвативший Европу и перекинувшийся на другие материки. Немецко-фашистские полчища ринулись на западно-европейские государства, пребывавшие в сладкой дремоте самоуспокоенности и умиротворения. Современные орды варваров, от которых расисты ведут свою родословную, поставили дело злодейского истребления народов на базу рационального расчета и привлекли на службу кровавой агрессии высшие достижения военной техники. С молниеносной быстротой прокатившись по ошеломленным странам Западной Европы, германская военная машина устремилась на восток. Разыгравшись гигантские битвы, невиданные в истории войн. Волна яростного приюба докатилась до нижнего Поволжья и здесь разбилась о скалы сталинградской твердыни.

Никогда еще война не протекала в таких сложных многообразных и противоречивых формах. Конечно, время для исчерпывающего научного анализа операций и сражений, происходивших в ходе ее, не настало. Для военного исследования сплошь и рядом важны те детали, которые еще остаются нераскрытыми.

Настоящая работа не претендует на то, чтобы дать даже краткий обзор хода второй мировой войны. Задача наша ограничена одним лишь вопросом, для освещения которого берется некоторый фактический материал, неполноту которого следует подчеркнуть еще раз. Мы надеемся, что наличие исторической перспективы позволит избежать неточностей в трактовке поставленной темы.

МИРАЖ «ЛИНИИ МАЖИНО»

От эпохи Наполеона, Суворова, Кутузова мы переходим к современной войне. Пройденный за этот вековой промежуток путь развития военного дела очень ярко проявляется в рассматриваемом вопросе.

Стратегическое развертывание сторон произошло в 1939 году совершенно не так, как в 1914 году. Правда, Франция провела всеобщую мобилизацию и сосредоточение вооруженных сил в приграничных районах теми же методами, как и в прошлой войне. Но эта всеобщая мобилизация произведена была вторично — в первый раз она была «отставлена» после Мюнхена. Существовало сомнение и в сентябре 1939 года: «настоящая» ли это мобилизация и «настоящая» ли это война.

Что касается Германии, то Гитлеру нечего было проводить всеобщей мобилизации, так как немецкая армия была уже отмобилизована.

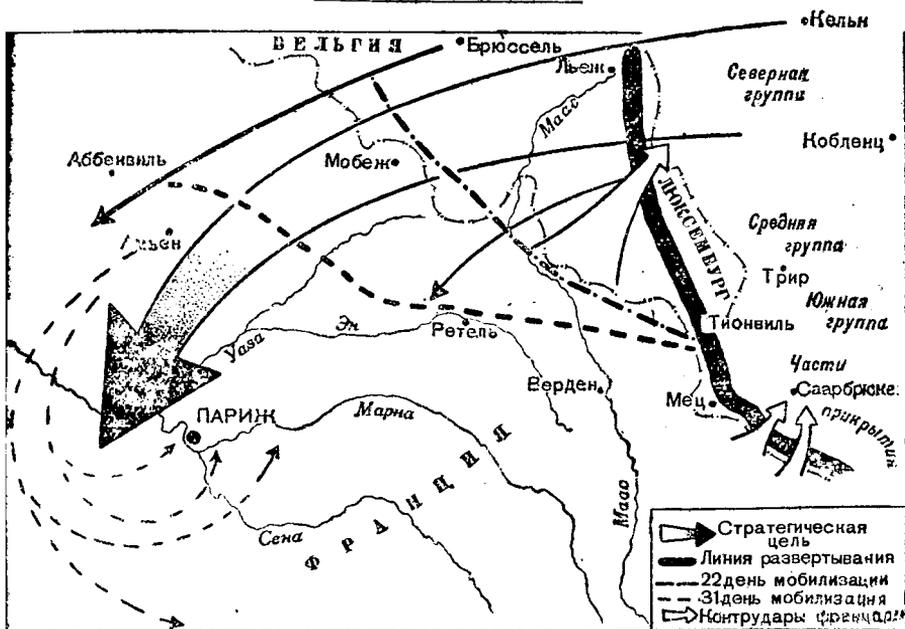
Война на Западном фронте началась с мертвого затишья. Обе стороны развернулись на укрепленных линиях, вдоль границы. Впервые в истории войн нового времени противники, по видимости, не задавались никакими наступательными намерениями, отказывались от преимущества инициативы.

Что касается гитлеровской клики, то она просто одурачивала своих противников, как показали дальнейшие события. Не то было в лагере союзников: там всерьез придерживались плана войны, в котором война, как вооруженная борьба но на живот, а на смерть, исключалась вообще.

Следует рассмотреть эту «стратегию» или, правильнее, это отрицание стратегии, ибо зачем стратегия, если нет войны.

Французский генеральный штаб, где было выращено это хилое растение, претендовал на обобщение опыта первой мировой войны.

План Шлиффена.



Нам еще раз придется вернуться назад и проследить эволюцию понятия «стратегической цели» в течение века, прошедшего от наполеоновских войн.

* * *

В войнах 1866 и 1870—1871 годов германская армия применила новые методы от мобилизации и стратегического сосредоточения, базируясь на железнодорожную сеть. Создавались совершенно новые возможности ведения операций и планирования их еще в мирное время. Стало возможным развертывать с открытием военных действий миллионные армии. Это расширяло масштабы операций, но и усложняло их. С обеих сторон в приграничном районе развертывались огромные армии, немедленно ввязывающиеся в боевые столкновения.

Мольтке-старший так сформулировал возникающую трудность: «Ни один оперативный план не может хотя бы с некоторой достоверностью простирается за пределы первого столкновения с главными силами противника».

Но если так, то можно ли в войне нового типа ставить стратегическую цель? Сражения, которые возникают уже на границах, могут в корне изменить обстановку и сделать ранее поставленную стратегическую цель недостижимой или ненужной.

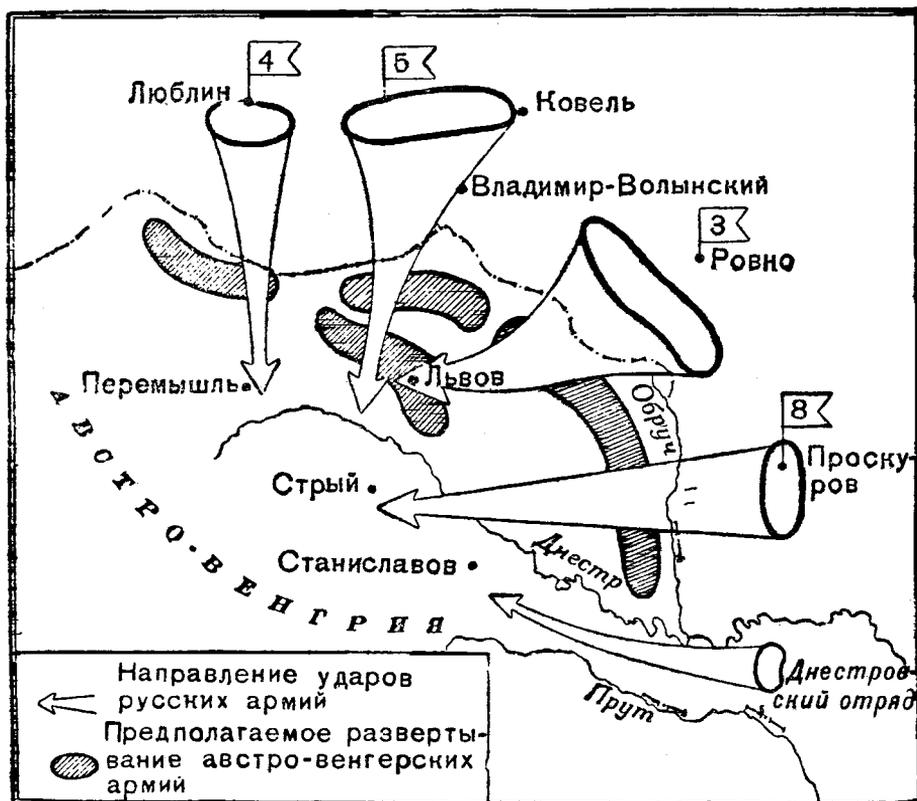
«Перед тактической победой смолкают требования стратегии, и она приспособляется к вновь создавшемуся положению вещей. Стратегия — это система подпорок (уловка. М. Г.)». В этих словах Мольтке высказывается, в сущности, отрицание стратегии, как планомерного руководства операциями. В войне 1870—1871 годов Мольтке не поставил войскам четко выраженной стратегической цели. Седан явился результатом ряда случайностей и, главное, бездарного руководства тогдашнего французского командования.

Иначе сформулировал задачи стратегии Фох. В своем труде «О ведении войны» (издан в 1904 году) он писал: «Стратегия, которая предписывает найти главные силы армии противника и столкнуться с ними, что является первой целью, предусматривает нечто иное, лежащее за этой целью, за этим столкновением... Главнокомандующий должен с первых же шагов установить конечную цель войны, чтобы направить на нее все линии своего плана, осуществление которого начинается первым сражением. Определение этой конечной цели, этого решающего объекта, конечно, возлагается на политику... Будучи установлена, цель определяет путь, по которому стратегии придется вести операции для сражения, а также степень, до которой ей надо будет развивать операции по использованию достигнутого в сражении успеха.

Разве не ошибкой в выборе этой конечной цели объясняется неудача Наполеона в 1812 году? Он ошибочно предполагал, что взятие Москвы и покорение половины России обеспечат ему желанный мир.

Суждения Фохса весьма здравы и конкретны: стратегическая цель, решающий объект, избирается, так, чтобы найти и разбить главные силы противника, она определяет главное направление усилий, путь операций (форму маневра), создает наиболее благоприятную обстановку для сражения и использования успеха. Стратегия господствует над тактикой, помогая ей и завершая ее результаты.

Русский план войны (ВАРИАНТ „А“) 1912 г.



План, по которому развернулась французская армия в 1914 году, имел оборонительный характер. Но, конечно французскому главнокомандующему Жоффру и в голову не могло прийти принять за основу образ действий, или, вернее, бездействия, который в 1939 году его ученик Гамелен счел высшим достижением военной науки. В августе 1914 года французские силы, действуя согласно плану, наступали в Лотарингию. в южную Бельгию, рокировались вдоль фронта к западу. Слишком много направлений, стратегической цели нет.

Французский главнокомандующий, придерживаясь оборонительного образа действий, преследовал задачу расстроить план противника. Для этого необходимо было прежде всего понять вражеский замысел, выяснить направление главного удара, определить, куда метит противник, какую стратегическую цель он преследует. Раскрыв план немецкого главнокомандования, Жоффр парирует угрозу контрударами и контрманевром. Несмотря на тактические неуспехи, французскому главнокомандованию удалось внести дезорганизацию в развитие германского маневра по шлиффеновскому плану, к которому мы теперь и перейдем.

В этом плане была четко обозначена стратегическая цель, и так как план был разработан уже с учетом особенностей современных войн, весьма важно остановиться на нем детальнее.

Какова стратегическая цель в шлиффеновском плане? Париж! Или точнее, как формулировал сам Шлиффен: «Мы сделаем хорошо, если заранее подготовимся к переходу Сены выше слияния ее с Уазой и к окружению Парижа, нападая сначала на западные и южные форты его».

Конечно, план и цель — связанные друг с другом, но все же разные понятия. План Шлиффена охватывал много моментов. Даже кратко формулируя, он состоял в движении крупных войсковых масс правого крыла через северную Бельгию, западные Парижа с выходом к швейцарской границе, чтобы окружить таким образом французские силы, развернувшиеся на франко-германской границе. Стратегическая цель выражала суть плана, идею маневра. Это и было доказано в 1914 году, но доказано отрицательным путем: стратегическая цель достигнута не была, что и привело к краху всего плана войны, разработанного германским генштабом. Как известно, в начале сентября 1914 года немецкие армии, наступавшие к югу, вышли своим правым флангом восточнее Парижа, нарушив поставленную им по шлиффеновскому плану стратегическую цель. Французское главнокомандование воспользовалось этим изменением обстановки для нанесения флангового удара со стороны Парижа по 1-й германской армии. Обходящий сам оказался обойденным. Стратегическая инициатива перешла в руки союзников. Марнское сражение повернуло ход войны на Западном фронте в другую сторону.

Почему же стратегическая цель достигнута не была? Несомненно, здесь сыграло роль отсутствие твердого руководства армиями со стороны начальника германского генштаба Мольтке-младшего, который проникся доктриной своего дяди, изложенной выше. Достижение решающей цели было принесено в жертву частным обстоятельствам. Командующие армиями действовали, больше сообразуясь с обстановкой на своем участке, чем со всем планом в целом.

В то же время уже в самом начале войны выявились новые факторы, которые мы рассмотрим лишь в связи с нашей темой.

Главная особенность состояла в дальнейшем развитии того, что выявилось уже в войнах 1866 и 1870—1871 годов. Благодаря мощному развитию железнодорожной сети в течение очень коротких сроков поднимались по всеобщей мобилизации и сосредоточивались к границам огромные армии. Уже тогда франко-германская граница была прикрыта мощным крепостным барьером: крепости Верден, Нанси, Туль, Бельфор. Это был зародыш «линии Мажино».

Таким образом, прямой путь к стратегической цели был закрыт. И при обходном маневре трудности не снимались. Как мы уже знаем французское главнокомандование намечало по своему плану войны контрудары во фланг и в тыл обходящему крылу. Таким образом, немецкий генштаб вынужден был подготавливать наступление на широком фронте, максимально усиливая свое правое крыло. С самого начала войны неизбежно должно было возникнуть пограничное сражение по всему фронту, от результатов которого зависела возможность дальнейшего движения к поставленной цели.

Следовательно, в новых условиях, когда армии развертываются на широком фронте, для достижения стратегической цели требуется сложное сочетание маневров и сражений. Возникает вопрос, нужно ли ставить такую цель войскам. Ведь задача сводится в конце концов к тому, чтобы разбить противника. Не должна ли эта задача быть решена уже в приграничном сражении, а если она решена, победившая армия диктует свою волю побежденному независимо от того, достигнута ли стратегическая цель или нет.

Кампания 1914 года на Западном фронте показала, что именно для разгрома армий противника и надо ставить стратегическую цель. Связь между нею и генеральным сражением, отмеченная выше, не только остается в силе, но и повышается по своему значению. В 1914 году пограничное сражение не имело решительного результата. Для получения этого результата немцам необходимо было возможно быстрее и крупными силами выйти в район западнее Парижа. Немецкое командование упустило это из виду, потеряло темп, дало французам время для контрманевра. Центр тяжести сражения переместился с правого фланга на другие участки, где решительный результат не мог быть получен.

Стратегическая цель, поставленная по плану Шлиффена, означала: сосредоточение главных сил Германии на Западном фронте. Этим Шлиффен стремился парировать опасность войны на двух фронтах. Впредь до решительного выигрыша кампании на Западе, он считал возможным ограничиться на Восточном (русском) фронте обороной, осуществляемой австро-венгерской армией и несколькими немецкими дивизиями.

Русская военная мысль — в интересующих нас в данном случае вопросах стратегии — продолжала развиваться в XIX и начале XX века. К сожалению, наиболее важная линия этого развития до сих пор сокрыта в архивах и не разработана историками. Ценнейшие стратегические идеи, вложенные в разработку русских планов войны и в строительство русской армии, остаются в силу этого неизвестными военной науке. А между тем русскому генеральному штабу пришлось решать совершенно особую и трудную проблему. После Крымской войны в России было оценено стратегическое значение железных дорог. 22 сентября 1870 года, как сообщает один из немногих исследователей нового этапа развития русской армии¹, было составлено моброписание № 1 (каждое новое моброписание сопровождалось разработкой оперативных директив, то есть плана войны). С тех пор на протяжении почти полувека в русском генштабе шла весьма интенсивная и научно ценная разработка планов войны.

Появление железных дорог, фактора благоприятного для сбора русской армии по мобилизации со всех концов нашей необъятной страны, в то же время создавало огромную трудность: Германия и Австро-Венгрия намного опережали русскую армию в скорости сосредоточения. В первые недели войны инициатива оказывалась в руках у противника, и это обрекало русское командование в начальный период войны на оборонительный образ действий, однако русская

¹ Полковник Филимонов, «Постепенное развитие мероприятий по мобилизации русской кадровой армии в XIX столетии». Автор имел доступ к архивам русского генштаба.

«стратегическая мысль искала путей для активного решения встающих задач. В связи с этим возникла идея «центральной» или «главной» армии, развертывающейся во второй линии из резервных дивизий. Как видно из самого названия, на эту армию возлагались важнейшие задачи: прикрываясь армиями первой линии, «стратегически авангардами», как гласит один из документов 1906 года, она должна была обеспечить переход инициативы у противника. «Цель первоначальных наших действий, — говорится в указаниях по плану 1909 года, — окончательное выяснение группировки сил наших противников и прикрытия мобилизации и сосредоточения наших войск в избранные районы, затем переход совокупными силами в решительное наступление в том направлении, которое своевременно будет указано главнокомандующим».

В начальный период войны инициатива принадлежала противнику, и это, казалось бы, обрекало русское командование на чисто оборонительный образ действий. Однако, в русских планах предусматривалась постановка решительных целей путем перехвата инициативы.

Эта идея несомненно выражает самостоятельный путь развития русской стратегической мысли, сохранившей традиции Петра, Суворова, Кутузова, хотя мертвящая атмосфера разлагающегося царизма и отсталость России мешали полноценному развитию русской военной мысли.

В 1914 году русские армии развернулись по варианту «А» плана 1912 года. В этом плане армиям австрийского фронта ставилась по окончании сосредоточения решительная цель: «поражение австро-венгерских армий, имея в виду воспрепятствовать отходу значительных сил противника за Днестр и на запад к Кракову».

В первые дни мобилизации ставка внесла изменения в план войны, в результате чего русское главнокомандование в начале войны преследовало сразу три цели: выступление против германских сил в Восточной Пруссии, нанесение удара через Польшу, Познань в сердце Германии (берлинское направление) и, наконец, против Австро-Венгрии. ярко выраженной стратегической цели решающего значения не было. Союзники на западе и на востоке стремились прежде всего к тому, чтобы общими усилиями подорвать наступательный план германского генштаба. Это удалось.

В конечном счете выявились авантюристичность и дефективность немецкой стратегии. Германия и Австро-Венгрия были намного слабее трех союзных государств Англии, Франции и России. Цели, которые ставил в войне германский империализм, не соответствовали имеющимся средствам. Дружные усилия союзных стран в первые же дни войны привели к срыву германского плана войны.

Кампания 1914 года является как бы рубжом между старой и новой эпохами в развитии военного искусства. Коренные изменения выразились очень ярко, но война еще сохранила — правда, в гораздо более расширенных масштабах — облик прежних времен. Совершенно иной характер приняла война в 1915 году и в последующие годы, когда установилась позиционная война.

Обе воюющие стороны прикрылись укрепленными фронтами, перерезавшими весь театр военных действий и не оставлявшими незаполненных укреплений и войсками промежутков, где мог бы развернуться маневр. Не только дальние объекты в тылу противника, но и относительно близкие становились недостижимыми. Многие из арсенала прежних войн приходилось сдавать в архив. Не относилась ли к числу устаревших понятий также и «стратегическая цель»? В самом деле все существо ее находилось в полном противоречии с позиционной войной, которая стала, однако, реальностью. «Наступательные операции», «решающая цель», «идея маневра», «генеральное сражение» —

для всех этих торжественных терминов просто не находилось места в буднях позиционной войны.

Остановимся прежде всего на вопросе, что же собственно принципиально нового принесла позиционная война.

Она явно связана с резким повышением роли обороны. Дело, конечно, не только в укреплениях, не только в тактической стороне вопроса. Укрепленный фронт стал понятием стратегическим. Если бы суть позиционной войны можно было бы видеть в переходе к стратегической обороне,— все было бы ясно и понятно. Но ведь если одна сторона обороняется, значит другая наступает. Между тем при позиционной войне обе стороны придерживаются оборонительного образа действий. Такие положения, когда оба противника выжидают, отказываясь от наступательных действий, бывали, конечно, и в прошлых войнах. Однако, очевидно, это — явление временное. Дождавшись удобного момента, одна из сторон берет инициативу действий в свои руки.

Составляла ли война 1914—1918 годов какое-то исключение из этого правила? Нет, не успело еще установиться равновесие на застывших фронтах, как возникло стремление выйти из этого омертвления подвижных форм войны. Как? Средством наступления, которое должно было подорвать силу вражеской обороны и разбить неприятельские войска, укрывшиеся за укреплениями. Возникла идея прорыва фронта с целью выхода в тылы противника и нанесения ему решительного поражения. В этой идее уже заключалось отрицание позиционной войны, стремление возврата к маневренной войне, к наступательным операциям. С этой точки зрения понятие позиционной войны оказывалось временным и относительным, как одной из своеобразных форм войны, возникающей при преобладании обороны и отказе — до поры до времени — обеих сторон от активных, наступательных операций.

Однако упорство позиционных форм и бесплодность первых попыток прорыва породило иные теории, которые были направлены к принятию позиционной войны, как неизбежной и неустрашимой, как нового типа боевых действий и операций.

Первым и, пожалуй, наиболее последовательным выразителем таких взглядов явился начальник германского генштаба (с сентября 1914 года по август 1916 года) генерал Фалькенгайн. Фалькенгайн принял командование немецкими сухопутными вооруженными силами после крушения шлиффеновского плана войны. На Западном фронте германская армия перешла к обороне. В 1915 году немцы предприняли наступление на русском фронте (Горлицкий прорыв в мае 1915 года). Однако Фалькенгайн не верил в возможность сокрушения России. В январе 1915 года на одном из докладов он сделал надпись: «Мы никогда не достигнем полного военного поражения России». Исходя из этого, Фалькенгайн ставил австро-германским войскам, наступавшим на Восточном фронте, лишь частные цели, — решительной стратегической цели поставлено не было. Начальник германского генштаба стремился истощить русскую армию и временно вывести ее из строя, — однако и в этом он обманулся.

На 1916 год Фалькенгайн разработал новый план, который и представлял для нас особый интерес. В чем состоял этот план, раскрыть, однако, далеко не просто, хотя теперь и опубликованы документы, относящиеся к тому периоду. В приказах 5-й германской армии, на которую было возложено осуществление плана, задача была выражена просто: взять Верден. Однако прямой атакой Верден взять не удалось, и вот появилась на свет новая теория ведения войны. Фалькенгайн уверял, что Вердена он взять и не хотел, его намерения были иные.

И в самом деле образ действий Фалькенгайна под Верденом был необычный. Выражаясь уже известной нам терминологией, можно было бы сказать, что в кампании 1916 года Фалькенгайн поставил стратегической целью Верден. Это означало, что сюда должен быть перенесен центр тяжести усилий. Но Фалькенгайн с самого начала выделил лишь ограниченные силы шести дивизий для штурма Вердена, их

оказалось недостаточно, и французы быстро уравнивали соотношение сил на участке атаки. В дальнейшем наступающая сторона, Фалькенгайн, выделяла крайне сгусто резервы в район Вердена, где завязалось ожесточенное сражение. Обороняющаяся сторона — французская — посылала в этот район больше дивизий и материальных средств. Выходит, что действительно Фалькенгайн как будто бы и не хотел взять Вердена. В понятие о стратегической цели вносится, таким образом, полная путаница: цель поставлена, но достижение ее для наступающего как будто безразлично. Вот что писал в своем докладе кайзеру («рождественская записка» декабрь 1915 г.) Фалькенгайн:

«Позади французского отрезга Западного фронта есть много целей, для удержания которых французское командование было бы вынуждено ввести все свои силы до последнего солдата. Если оно сделает это, силы Франции будут обескровлены, так как уклониться от сражения будет невозможно, безразлично, будет ли сама цель достигнута или нет. Если оно этого не делает и цель попадет в наши руки, то моральное действие во Франции будет огромно».

Итак, Фалькенгайн приготовился на оба случая: удастся ли взять Верден, или нет. В последнем случае он намеревался истребить французскую армию в гигантской битве на истощение.

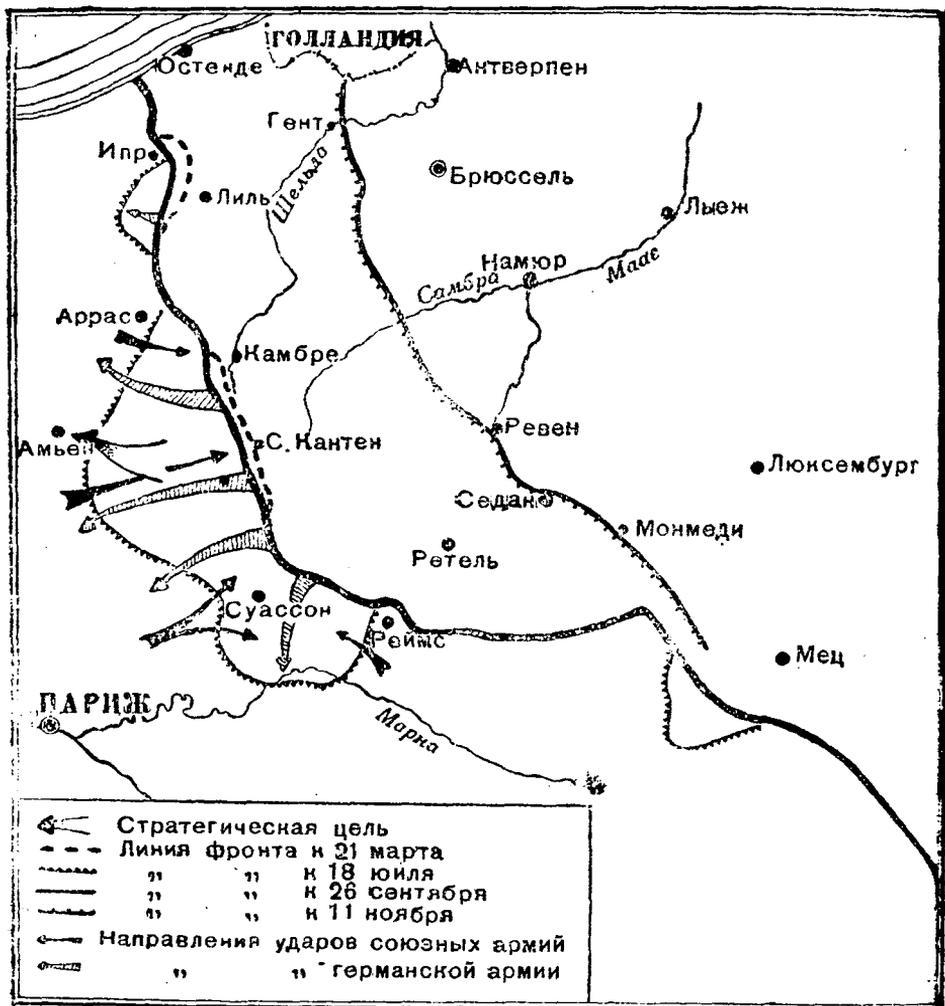
Перед уходом в отставку, 21 августа 1916 года, Фалькенгайн оправдывал свой образ действий в наступлении на Верден следующим образом: «Его особые цели состояли скорее в том, чтобы прежде всего возможно больше истощить Францию для дальнейшего ведения войны путем сильного кровопускания, если она выставит свое войско перед крепостью, или путем внутренних потрясений, если крепость сдастся...»

Фалькенгайн отрицал прорыв, как операцию, ведущую к развитию наступательных действий с решительной целью. Он отрицал ввод всех сил, какие только возможно собрать для достижения поставленной цели, напротив он проводил строжайшую экономию резервов. Стратегическая цель, как решающая цель наступательных операций, при этом оказывалась излишним понятием. Это — последовательная до конца «стратегия истощения». Фалькенгайн стремился найти такие способы ведения войны, чтобы, вводя наименьшее количество своих сил, истощить противников и вынудить их к сдаче, не прибегая к «устаревшим» способам — наступление с обозначенной целью.

Мы пришли таким образом к «стратегии истощения», причем неожиданно проповедником ее оказался немецкий генерал. Впрочем, еще до первой мировой войны немецкий историк Дельбрюк представил всю историю военного искусства как смену «стратегии истощения» и «стратегии сокрушения». Однако абстрактные схемы не способны дать научное объяснение истории вообще, истории войн в особенности. Тщетно мы будем искать в прошлом «стратегии истощения» в чистом виде, точно так же и нет примеров абсолютной «стратегии сокрушения».

«Стратегия истощения» и «позиционная война» — родственные понятия. Их источник следует искать в крепостной или осадной войне. Врага можно победить путем наступления, но, когда он заперся в крепости, его можно вынудить к сдаче путем осады. В тактическом плане это так. Но можно ли выиграть войну путем осады и истощения вражеской страны?

Нет сомнения, что в прошлом такой способ ведения войны применялся, и он, именно как один из способов, вполне законен и целесообразен. Но присмотримся внимательно к урокам истории. Против Наполеона Великобритания бесспорно вела войну на истощение, применяя морскую блокаду. Если бы можно было блокировать Францию и с суши, полностью изолировать ее от других стран, могло бы случиться, что такой способ привел бы Францию к сдаче. Но для этого требовалась полная пассивность с ее стороны, чего не было, конечно. Наполеон завоевал Европу и угрожал самой Англии континентальной блокадой. Подлинное истощение наполеоновской империи началось в



России, где «великая армия» была разгромлена русской армией, и в Испании, где наступали высадившиеся английские войска. И, несмотря на подрыв экономических и людских ресурсов Франции, свержение Наполеона было осуществлено лишь наступательными операциями союзников с применением методов «стратегии сокрушения». Блокада и истощение сил противника — один из необходимых способов ведения войны, но этот способ ни в какой мере не меняет основ ведения войны в целом. Для достижения решительного результата необходимы наступление и разгром противника в сражении.

В войне 1914–1918 годов Германия оказалась в положении осажденной крепости: она была блокирована с моря и на суше, опоясана сплошными фронтами. Однако, пока германская армия сохраняла свою наступательную силу, она могла прорвать фронты, разбить союзные силы, открыть пути к источникам сырья и продовольствия. Если же наступательная сила германской армии оказалась бы сведенной на нет, зачем, спрашивается, было тянуть войну, когда, наступая, союзники

могли бы достичь победы в кратчайший срок. Существо войны осталось прежним: решение давало лишь наступление, истощение же как было, так и осталось необходимым способом ведения войны, предвещающим окончательный результат, который скорее и проще всего достигим наступлением.

Вернемся к Фалькенгайну, который пытался применить стратегию истощения для спасения Германии. Он оказался жертвой своей попытки сесть меж двух стульев. Ему казалось, что поставить цель перед войсками — Верден — вещь, нй к чему его не обязывающая. Но сама германская армия и весь мир поняли дело проще: цель поставлена, достичь ее — победа, не достичь — поражение. Цель не была достигнута, Верден не был взят, и все считали — с полным основанием, — что германская армия потерпела поражение, что французская армия, сумевшая защитить Верден, сильнее, она победила. Фалькенгайн, так красноречиво говоривший о моральной силе цели, если она будет достигнута, ввиду странной aberrации мысли считал, что эта моральная сила не будет действовать, если цель достигнута не будет. Фалькенгайн полагал, что он сможет в ходе операции снять поставленную цель и от этого ничего не изменится в ходе войны. В действительности недостижение цели привело германскую армию к катастрофическому положению.

Оставим в стороне вопрос, что именно имел в виду лично Фалькенгайн, когда он поставил перед германскими войсками, сосредоточенными на участке атаки, цель — Верден. Важно, что такая цель была поставлена. Первоначально, неуспех штурма Вердена (февраль 1916 года) имел частное, тактическое значение. Но так или иначе налицо была неудача, поражение. На этом Фалькенгайн остановиться не мог: весьма экономно и расчетливо он все же выделяет для командования 5-й армии новые резервы. Атаки против Вердена возобновляются, но теперь французы предупреждены, — они в свою очередь перебрасывают к Вердену свежие дивизии. Началась гигантская битва на истощение. Она теряет свой местный характер: сражаются две армии — германская и французская, постепенно вводя в бой все новые и новые дивизии. Хотел этого Фалькенгайн или нет, но Верден становится для германской армии стратегической целью. Взять Верден значит одержать победу, окупить все потери, нанести французской армии сокрушительный удар, сломить сопротивление фронта и, разрывая успех, вывести Францию из войны. Не взять Вердена значит потерпеть поражение, что и произошло в действительности.

Надо сказать, что Фалькенгайну действительно удалось обескровить Францию под Верденом. Но это не могло иметь решающего значения, поскольку у Франции были союзники, которые и пришли ей на помощь: в июне началось брусиловское наступление на русском фронте, в июле — наступление англичан на Сомме. Но даже при наличии огромных потерь, французы, удержав Верден, достигли победы. Стратегия истощения Фалькенгайна показала всю свою никчемность. Немецкая армия была также истощена. Самое главное, однако, было в том, что ее потери не привели к достижению цели, оказались бессмысленными. Моральное разложение германской армии под Верденом, явившееся результатом этого поражения, оказалось куда более опасным, чем понесенные потери.

Верден представляет для нашей работы особый интерес, так как неоднократно в иностранной печати проводилось сравнение его со Сталинградом. В действительности обстановка была в том и другом случае в корне отличной. Достаточно указать, что Красная Армия в 1942 году сражалась с германской армией и силами сателлитов Германии один на один, в то время как в 1916 году Верден был спасен усилиями союзников Франции. Но из кампании 1916 года можно сделать ряд выводов, полезных для понимания и событий современной войны.

Верден — высшее проявление позиционной войны. Бои происходили на узком участке с весьма незначительными колебаниями линии

фронта. И в этих-то типично позиционных условиях оказались действенными те основы ведения войны, которые объявлялись устаревшими, оказалось жизненным понятие стратегической цели. И в позиционных условиях наступление имеет свою цель. Эта цель может иметь местное, тактическое значение. Однако при больших масштабах наступления и при упорстве возникшей борьбы цель становится стратегической. Обе стороны вводят на участок сражения все новые резервы. Здесь создается центр тяжести борьбы на всем фронте. Исход этой борьбы получает решающее значение для всей кампании.

Верден — наиболее характерная битва на истощение периода позиционной войны. Эта битва продемонстрировала огромную мощь обороны. Немецкие атаки скашивались огнем артиллерии и пулеметным огнем. Под Верденом родилась идея современного дота: бетонированной точки, назначение которой останавливать пехотную атаку фланкирующим огнем. Форты Дуомон и Во явились прообразом укреплений «линии Мажино».

Но внимательный анализ показывает, что Верденское сражение при всех своих особенностях, в своей основе развивалось так же, как и битвы прошлых времен. Одна сторона наступала, и целью ее был Верден. Другая сторона оборонялась, не допуская врага к этой цели. Борьба за эту цель была сутью сражения, истощение являлось важным, но подсобным моментом. Верден был стратегической целью: не взяв его, Фалькенгайн проиграл кампанию 1916 года и в августе был уволен в отставку.

Так кончилась попытка осуществить в чистом виде стратегию истощения. В лице Фалькенгайна мы видим, пожалуй, единственного выразителя ее, который стремился последовательно сделать все выводы до конца. Но эта кажущаяся последовательность отразила лишь слабость Германии, у которой нехватало резервов, отразила нерешительность и колебания самого Фалькенгайна. Верден показал, что в возникшем сражении на полдороге остановиться нельзя, что борьба неизбежно развивается и нарастает до достижения победы или поражения.

Война 1914—1918 годов была несомненно войной на истощение. Без истощения материальных и людских ресурсов противника в современных войнах победить нельзя. Но можно ли истощить врага последовательно проводимой стратегией истощения, то есть только путем блокады и «осадной», то есть специфично позиционной войны? Нет! Такого противника, как Германия, можно истощить, лишь вовлекая его в сражения, истребляя его живую силу и технику, а ведь для этого нужно схватиться с ним, атаковать его, значит, наступать.

В лагере союзников не раз высказывались взгляды в пользу стратегии истощения, но в целом стратегия союзников в войне 1914—1918 годов не была какой-то специфичной стратегией истощения. Для разгрома Германии предпринимались наступления широких масштабов с решительными целями. Правда, война сохраняла свой позиционный характер, и поставленные цели не достигались. Однако в ожесточенных сражениях, возникавших из этих наступательных операций, Германия действительно истощалась. Гигантская борьба между двумя коалициями велась с использованием всех способов ведения войны, и каждая из сторон при наличии малейших возможностей стремилась к достижению решительного результата. При этом с обеих сторон было допущено много промахов.

Основной порок стратегии союзников состоял в недостаточном единстве действий, разрозненности усилий, упущении благоприятных возможностей для нанесения Германии решительного поражения. Это приводило к затяжке войны. Германия, используя разобщенность союзников, достигала частных успехов на отдельных фронтах, захватывала

районы, богатые сырьем и продовольствием, и получала возможность продолжать свое сопротивление.

Насколько бессмысленной была бы «стратегия истощения», в чистом ее виде, показывает положение, сложившееся к началу 1918 года. Если, вообще говоря, союзники превосходили австро-германский блок по своим ресурсам, события показали, что при недостаточной энергичном использовании этого преимущества ход войны мог повернуться в неблагоприятную для союзников сторону. Россия, экономика которой не в состоянии была справиться с требованиями войны, вышла в 1917 году из войны. Германский империализм, используя временную военную слабость России, рассчитывал путем оккупации Украины получить материальную базу для продолжения войны. Франция была обескровлена, Великобритания очутилась перед лицом острой нехватки людских пополнений. Сложившаяся обстановка позволила Германии достичь значительного численного перевеса на Западном фронте и предпринять там наступление решительного характера, чтобы нанести союзникам поражение раньше, чем США развернут свою армию на европейском театре войны.

Кампания 1918 года представляет огромный интерес для освещения нашей темы. Это была последняя кампания прошлой войны, уроки которой являлись научной базой для выводов накануне второй мировой войны. Кампания 1918 года происходила при наличии сильно укрепленного фронта, высоко развитой техники, включая новые средства, — танки и авиацию. Мы рассмотрим эту кампанию в целом с точки зрения интересующей нас проблемы.

Как известно, кампания включает два периода: до 18 июля пять немецких наступлений, после 18 июля — наступления союзников, приведшие к капитуляции Германии. Ставилась ли стратегическая цель в этих наступлениях? Вопрос этот относится прежде всего к германской стороне, в руках которой находилась инициатива действий в начале кампании.

Общий взгляд на события первой половины 1918 года уже дает возможность сказать, что четко обозначенной стратегической цели у Людендорфа не было. Удары наносились в разных направлениях: мартовское наступление на стыке английской и французской армий южнее реки Сомма, апрельское наступление против англичан во Фландрии, три наступления против французов — на юг. Тактические успехи, в ряде случаев очень крупные, не дали стратегического результата. Наиболее мощный удар был нанесен германскими войсками в марте 1918 года. Преследовал ли при этом Людендорф какую-либо стратегическую цель и какую именно? Цель как будто бы очевидна: разобщить союзные армии с тем, чтобы бить их порознь в дальнейшем. Однако эта цель не была указана войскам, и она не получила территориального обозначения. Но, может быть, этого и не требовалось? Уроки наступления в марте 1918 года совершенно очевидны: так как цель ясно обозначена не была, наступление, тактически вполне успешное, расплозлось в трех направлениях: на запад — в разрыв между союзниками, на юг — против французов и на северо-запад — против англичан. Реально центр тяжести сражения переместился на юг, куда подходили сильнейшие французские резервы, на западном же направлении оказались недостаточно крупные силы наступающего, и разобщить союзников не удалось.

Лишь в ходе наступления Людендорф понял допущенную ошибку и указал войскам цель, достижение которой вело бы к отделению союзников друг от друга — Амьен. Но было уже поздно: атаки немцев натолкнулись на сопротивление прибывших сюда резервов союзников. Немецкое наступление было остановлено вблизи Амьена.

Амьен — такова была стратегическая цель, которую следовало поставить Людендорфу и которую он не поставил войскам. Если бы на этом решающем направлении крупные немецкие силы непрерывно продвигались вперед в первые дни сражения, когда здесь зияла брешь

в расположении союзников, тактический успех получил бы стратегическое завершение: союзники были бы разъединены, что открывало богатые возможности для успешного развития наступательных операций против каждой из союзных армий. Конечно, это не означало бы конца войны, но выитрыш кампании был бы достижим на западном театре.

Перейдем теперь к вопросу, случайно ли Людендорф не обозначил четко стратегическую цель наступления. Оказывается, не случайно. В своих «Воспоминаниях» он пишет по этому поводу: «Если бы прорыв здесь удался, стратегический результат мог быть во всяком случае крупным, поскольку мы отделили бы главные силы английского войска от французского и затем оттеснили бы их к побережью. Я выбрал этот район наступления. Но меня к этому побуждали условия времени и тактические соображения, при том в первую очередь слабость противника (в данном районе — М. Г.). Тактику надо было поставить выше чистой стратегии».

Так, один из учеников Шлиффена, на основании неправильно понятых уроков позиционной войны, пришел фактически к отрицанию стратегии, подчинив ее тактике. Как же произошел такой поворот? Людендорф в своем труде «Ведение войны и политика» дает следующее разъяснение:

«В прорыве дело идет прежде всего о том, чтобы быстро выигрывать территорию продвижением вперед. И только после того можно сделать второй шаг, стратегическое использование успеха. Если первое условие — глубокое продвижение в расположение противника — не будет осуществлено, атака не может быть использована, каким бы многообещающим ни было направление с точки зрения стратегической. Вот почему тактические условия являются решающими как в прорыве, так и во всякой другой операции».

Итак, Людендорф утверждает, что, при наличии укрепленного фронта, надо сначала прорвать фронт и лишь после того можно ставить перед войсками далекие стратегические цели. Рассуждение на первый взгляд кажется основательным. В самом деле, в современных войнах укрепленный фронт прикрывает цели и именно там, где находятся важнейшие объекты, оборона противника обычно наиболее сильна. Прорыв в этом направлении осуществление труднее всего, и тактически выгоднее прорывать фронт в совершенно ином, может быть, отдаленном от важного объекта районе. Мало того: возможно, фронт прорывать придется на ряде участков. Путь к стратегической цели может оказаться вовсе не прямым, а вылаздать в виде ломаной линии, в виде сходящихся линий с разных направлений и т. д.

Но следует ли при прорыве ставить цели вообще и стратегическую цель в особенности? Необходимо, и прежде всего для успеха самого прорыва. В тактических рамках должны быть указаны войскам частные, тактические цели для сосредоточения усилий на определенных направлениях. Но должна быть указана и стратегическая цель. В самом деле тактический прорыв сам по себе недостаточен, необходимо, чтобы он перерос в оперативный, чтобы наступающие войска успели выйти на оперативный простор и развернуть маневренные операции в глубоком тылу противника. Людендорф считал, видимо, что безразлично, где именно произойдет это перерастание тактического успеха в оперативный. Но опыт мартовского наступления ясно показал, что, если все предоставить стихии событий, то, при умелой обороне, перерастания тактического успеха в оперативный не произойдет вовсе, или, проще сказать, фронт не будет прорван, он установится на новом рубеже. При прорыве на широком фронте или при нескольких прорывах на разных участках обязательно следует указывать главное направление удара, а для этого нужно обозначить объект, в сторону которого должны быть направлены основные усилия войск. Если с достижением этого объекта удастся полный прорыв фронта, это и будет решающим успехом. Иначе говоря, при прорыве такой объект и

есть стратегическая цель. В мартовском наступлении это был Амьен.

Итак, при наличии укрепленных фронтов постановка стратегической цели в наступательных операциях не только необходима, она необходима в особенности и больше, чем в прошлых войнах, так как теперь операции сложнее, труднее и многообразнее: тем более, следовательно, необходимо указание войскам, где находится центр тяжести их усилий. Вывод этот исключительно важен и для нынешней войны, при которой неизбежно возникают укрепленные фронты.

Отрицание Людендорфом стратегии жестоко отомстило за себя: тактика оказалась немощной и повисшей в воздухе.

Ошибка Людендорфа совершенно ясна: она состояла в неумении увязать стратегию с тактикой в позиционной войне. Однако не мало нашлось любителей навести тень на ясный день и запутать вопрос. Из числа этих любителей стоит остановиться на Дельбрюке, который после войны критиковал Людендорфа с точки зрения пресловутой противоположности стратегии сокрушения и стратегии истошения. Дельбрюк ставит в вину Людендорфу, что он проводил в мартовской операции стратегию сокрушения:

«Стратегическая операция неправильно задумана, если она не обещает тактического успеха, то есть успеха в бою. Если генерал Людендорф не верил в то, что ему удастся тактически вторгнуться в те места, где была надежда на достижение стратегической цели, и потому начал наступление на таком месте, которое в стратегическом отношении вело в пустоту, то в этом заключается признание генералом собственной слабости, он был слишком слаб для той задачи, которую он поставил перед собой, — и цель и средства не находились в должном равновесии. Чтобы достигнуть стратегической цели — отделения английской армии от французской, которое могло повлечь откат англичан, наступление несомненно лучше всего было бы организовано, если бы оно шло вдоль реки Соммы».

Таким образом цель не соответствовала средствам. Но как мы видели, цель — Амьен — не была поставлена Людендорфом (Дельбрюк также не называет его). Взятие Амьена было возможно, если бы наступление велось правильно. Однако дело не в этом. Если вообще немцам не по силам было начать наступление, следует сделать вывод, что его и не следовало предпринимать, ограничиваясь обороной. Однако Дельбрюк пишет: «Германская армия должна была наступать в 1918 году, но наступление должно было преследовать цель — нанести как можно более тяжкие удары, отнюдь не стремясь к полному сокрушению всех неприятельских боевых сил. Итак, это должно было быть наступление с ограниченной целью». «Стратегия истошения» вылезает снова на сцене божий. Дельбрюк повторяет умозаключения Фалькенгайна: наступать с ограниченной дозировкой. Зачем? Не для того, чтобы разбить противника, а нанести ему «как можно более тяжкие удары», то есть истощить его.

Комизм всех этих рассуждений Дельбрюка в том, что, проповедуя «бесцельное» наступление, он, видимо, и не догадывался, что Людендорф поступил именно по его рецептам. Людендорф наносил союзникам «тяжкие удары», не достигнув стратегической цели. Результаты известны.

Но схема Дельбрюка не случайна: она метко отражает колебания германской стратегии от самой безудержной стратегии сокрушения до робкого отказа от стратегии, сводимой к тактике.

Понятие стратегической цели при наличии сплошных укрепленных фронтов выражает центр тяжести борьбы, боевой деятельности на данном фронте. Это вполне понятно, если учесть, что стратегическая цель связана с наступлением одной из сторон, преследующей достижение решительного результата. На участке наступления завязываются ожесточенные бои, в которые обе стороны вводят все новые и новые ре-

зервы. В 1916 году центром тяжести борьбы на Западном фронте был Верден, в 1918 году — Амьен.

Правда, кампания 1918 года с этой точки зрения представляется менее убедительной, так как бои перекинулись и на другие участки. Посмотрим на ход событий, учитывая на этот раз действия союзников.

Стратегия союзников была оборонительной. Их задачей было по мере возможности разгадать замысел германского главнокомандования и парировать его правильным распределением резервов по фронту. Но общесоюзного командования на Западном фронте не было, что могло создать большие трудности при использовании резервов в случае мощного удара немцев. Фош, занимавший должность начальника французского генштаба — вне главной квартиры, предлагал создать общесоюзный резерв из соединений всех союзных армий. Но главнокомандующий британской армией Хейт и главнокомандующий французской армией Петэн сорвали план Фоша и договорились друг с другом об оказании взаимной помощи переброской своих резервов.

Выходит, что Людендорф, нанося удар на стыке двух союзных армий, чтобы разъединить их, был прав: здесь было наиболее слабое звено. Когда началось немецкое наступление, Хейт стремился прикрыть порты, Петэн — пути к Парижу. Амьен остался неприкрытым, и союзникам грозила катастрофа. Эта опасная обстановка побудила руководящие круги союзников назначить Фоша во главе всех союзных армий на Западном фронте. Первым распоряжением Фоша было — прикрыть Амьен.

Итак, в районе Амьена сосредоточился центр борьбы. Здесь были собраны крупные силы обеих сторон. Людендорф, видя безуспешность дальнейших атак, прервал наступление и перенес свои удары на другие участки.

Но теперь район Амьена, где германские силы выпятились по гигантской дуге в сторону запада, образовал самое слабое звено германского фронта. В дальнейших наступлениях Людендорф стремился расширить район прорыва, но это удалось ему лишь частично. Не достигнув стратегической цели, он проигрывал всю кампанию.

18 июля Фош контрударом из леса Вильер-Котере перехватил инициативу и ликвидировал так называемый «марнский мешок», вынудив немцев отступить с реки Марны на линию реки Вель. 8 августа союзники перешли в контрнаступление из района Амьена. Это «черный день» германской армии. Именно в районе Амьена, где немцы были ближе всего к победе, произошел окончательный перелом кампании в пользу союзников. Это не случайно: здесь и было наиболее чувствительное и слабое звено германского фронта.

Стратегическое чутье подсказало Фошу правильное решение. Уже с апреля 1918 года он подготавливал контрудары на разных участках амьенского выступа. Провал немецкого наступления в марте имел своим логическим последствием 8 августа. От стратегической обороны в первой половине 1918 года Фош переходит к наступлению. Правда, Фош ограничивается короткими контрударами: у него не было еще достаточно сил для наступления в глубину вражеского расположения. Но в плане кампании 1918 года этого оказалось достаточно.

Фошу также приписывали разновидность стратегии истощения. Считаю, что он выиграл кампанию 1918 года, сжывая и изматывая резервы немцев. Один из французских исследователей писал после войны:

«Можно одной фразой характеризовать метод Фоша. Наполеон говорил: «Я вижу только одну вещь — это массы». Фош мог бы сказать: «Я вижу только одну вещь — это резервы противника». И в этом секрет его победы».

Конечно, истощение резервов — важная предпосылка победы. Но это способ, который отнюдь не исчерпывает арсенала стратегии, стремящейся к разгрому противника. Соотношение резервов надо брать в перспективе всей кампании 1918 года. В начале ее резервов было

больше у Людендорфа. Но он не достиг победы. Во второй половине — превосходство в силах переходит на сторону союзников. Однако это превосходство отнюдь не было решающим. Людские ресурсы Англии и Франции были истощены. Американских дивизий было еще мало — к концу войны их число достигло сорока, к тому же большая часть их была не обстреляна и не могла идти в сравнение с ударными немецкими дивизиями. Генеральные штабы союзников планировали продолжение войны в 1918 году.

Фохс достиг победы в 1918 году тем, что глубже, чем цитированный автор, понимал основы наполеоновской стратегии и тактики. Победу отнюдь не одерживают тем, что истребляют всю армию врага до последнего человека. Старая военная поговорка гласит, что победу одерживают не над мертвецами, а над живыми. Германская армия в 1918 году была разбита и подготовлена к капитуляции тогда, когда она еще имела ресурсы и резервы для сопротивления. Фохс нанес ей смертельный удар 8 августа, привел не только немецкого солдата, но и германское командование к сознанию безнадежности дальнейшей борьбы. Такая победа достигается отнюдь не простым вычислением количества резервов в штабах, она достигается на поле сражения, сокрушительными ударами и превосходством военного искусства. В битве при Ваграме занятие ваграмского плато решило исход сражения, хотя австрийская армия была далеко не истреблена. В кампании 1918 года таким плато, ключом позиции, которая была теперь огромным 800-километровым фронтом, был Амьен. Были свои причины, о которых достаточно сказано выше, в силу которых именно этот район явился стратегическим ключом в ходе всей кампании. Фохс это осознал с полной ясностью. Прикрыв Амьен в марте, он наполовину уже выиграл кампанию. 8 августа он реализовал победу. Этим мы вовсе не хотим сказать, что бои на других участках не имели значения. Но они были связаны с двумя сражениями в районе Амьена — марта и августа 1918 года. В наглядной и четкой форме здесь выявилось, на чьей стороне военное превосходство, которое отнюдь не состоит только в численности людей и техники, но и в военном искусстве. «Воюют не числом, а умением» (Суворов).

Фохс превосходно учитывал в своем стратегическом руководстве весь фронт в совокупности. Но он понял и другое: на фронте создается центр тяжести борьбы. Мы уже знаем из введения, насколько важно для обеих сторон правильно определить, где именно находится центр тяжести всех боевых действий. В кампании 1918 года наступление германских армий привело к образованию такого центра в Амьенском районе.

В руководстве Людендорфа и Фохса можно усмотреть существенное различие: Людендорф не поставил четко обозначенной стратегической цели, Фохс поставил ее. Его стратегическую цель в кампании 1918 года можно выразить так: прикрывая Амьен — стик союзных армий — переходом в контрнаступление разбить немцев. 8 августа цель достигнута. Это был выигрыш кампании, и последующие контрудары Фохса были реализацией победы. Но так как проигрыш этой кампании создавал для немцев безнадежное положение и так как истощенная Германия получила одновременно тяжелые удары на Востоке, где молодая Красная Армия продолжала свою героическую борьбу, и на Балканах — Германия капитулировала.

Фохс пронес через годы позиционной войны веру в силу маневра и убеждение, что, лишь наступая и сокрушая врага, можно достичь победы. Позиционная война вовсе не являлась каким-то исключением, отменившим коренные принципы ведения войны. Позиционная война — частный случай, когда оборона настолько сильна, что парировать все попытки решительного наступления. Такое положение может быть лишь относительным — в чистом виде позиционной войны вообще не бывало — и временным.

8 августа верный стратегический замысел Фохса был реализован

тактически разгромом немцев на поле боя. Здесь проявилась мощь новых наступательных средств, имевшихся у союзников, танков и авиации. Открывалась новая эпоха, когда ограничения позиционной войны снимались и перед наступающей армией открывались широкие маневренные перспективы.

Конечно, неверным был бы и обратный вывод, что позиционная война вообще не внесла ничего нового. После 1914 года война в старых формах уже была немыслимой: гигантское развитие полевой фортификации, образование укрепленных фронтов, мощный расцвет артиллерии — эти особенности являются неотъемлемыми и характерными для современных войн. Танки и авиация, рожденные в прошлой войне, открывали новую страницу военного искусства.

Но были люди, которые ничего не поняли и ничему не научились. Что самое странное, эти люди разрабатывали планы и стояли во главе союзных армий, развернувшихся на западе в сентябре 1939 года. Они потратили годы и огромные средства на постройку «линии Мажино» — чудо современного фортификационного искусства. Конечно, сама по себе эта линия, на которой были реализованы новейшие достижения в постройке укреплений, заслуживала и уважения и изучения. Идея дота стала основой современной фортификации. Но все дело в том, что «линия Мажино» воплощала для французского генштаба суть войны. Это все равно, что в скелете представить человека, забыв про его живое тело, дух и действия.

Живой природы высший цвет,
Творцом небесным данный нам,
Ты променял на глеч и хлам,
На символ смерти, на скелет.

Всего удивительней, что при этом ссылались на опыт войны 1914—1918 годов. Из нее выхолостили все: Марну, гигантские битвы, наступления 1918 года, сохранив лишь образ омертвевших фронтов с их якобы непреодолимыми укреплениями. Забыли, что таких укреплений никогда не было. Форт Во — прообраз дота — был взят 7 июня несколькими немецкими ротами. Своды форта Дуомона были пробиты французской артиллерией при контратаке в октябре 1916 года. Никогда в позиционной войне не было создано укреплений, которые нельзя было бы разрушить артиллерией или захватить смелой атакой.

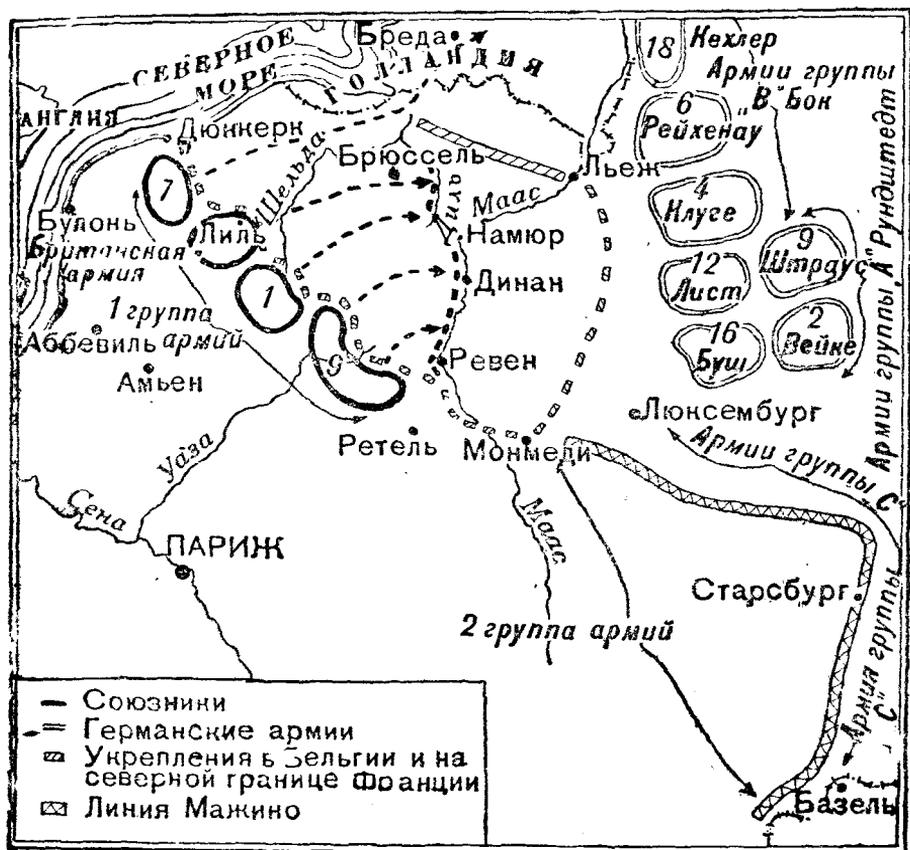
Каков был план войны союзников на западе в 1939 году? Понятно, что, пока не открыты и не изучены архивные документы, точного ответа на этот вопрос нельзя дать. О плане союзников можно судить на основе фактического хода событий, и этого достаточно, чтобы установить, если не детали, то сущность плана. Вот как характеризуется этот план американским капитаном Клаарком в курсе, прочитанном в Военной академии США:

«Франция и Англия, согласно сделанных заявлений, вступили в войну, чтобы помочь своей союзнице Польше. В сравнении с русским наступлением в 1914 году для оказания помощи Франции французская атака для помощи Польше в 1939 году была простым жестом. Произведя немногие ограниченные атаки в Сээрском секторе, французы осели на месте для оборонительной войны.

Два главных фактора повлияли на планы союзников в начале этой войны. Во-первых, безусловная вера в мощь укрепленной северо-восточной границы Франции и, во-вторых, вера в действительность блокады, проводимой Великобританией.

В течение мирного периода, последовавшего за последней войной, Франция построила непрерывную линию укреплений от Альп почти до реки Мааса, названную «линией Мажино». Уверенные, что «линия Ма-

План союзников 1939-40 г



жино» не может быть прорвана, как бы сильны ни были атаки, французы вполне удовлетворялись тем, что развернули на ней войска и предоставили немецкой армии возможность разбить свой лоб об эти укрепления.

То, что Германия должна будет атаковать, было очевидно. Последняя война доказала эффективность британской блокады. Германия была истощена как раз посредством такой комбинации. При затвердении войны на западе и закрытии всех морских коммуникаций Германии или германский народ будет истощаться, и военная промышленность остановится из-за недостатка материалов, или он возмутится и сбросит своих лидеров. Таков в конце концов был, повидимому, стратегический план, на который союзники делали ставку в первые месяцы войны».

Это — «стратегия истощения» в новом издании. Оригинальность его состоит лишь в полном и окончательном выхолащивании того, что, собственно, называется войной. Никогда еще идея победить не ведя войны, не являлась в столь оголенном виде. На суше все дело делает «линия Мажино», на море — блокада. Сражения в этой поистине диковинной схеме отсутствуют вовсе. Бессмыслица такого «плана войны» доказана уже ходом событий. Но все же задача истории — по-

нять, как вообще мог возникнуть такой план. Это тем более важно, что, несмотря на суровые уроки войны, вопрос о «стратегии истощения» отнюдь не является исчерпанным, и эта концепция оживает в новых разнovidностях.

Быть может, некоторый свет на план войны союзников в 1939 году бросит ознакомление с личностью и воззрениями генерала Гамелена, ответственного, по занимаемой им должности, за его составление и осуществление. В 1935 году Гамелен заступил должность вице-президента высшего военного совета Франции с предназначением занять пост главнокомандующего вооруженными силами союзников после начала войны. Этот пост, аналогичный посту Фоша в 1918 году, Гамелен, как известно, и занимал в 1939—1940 годах власть до рокового для Франции оборота событий в мае 1940 года.

Еще до войны 1914—1918 годов Гамелен получил превосходное военное образование. Говорят, что он мог наизусть процитировать любой приказ Наполеона. Какая злая ирония судьбы: дойдя до высшей ступени военной иерархии Гамелен растерял все, чему учил Наполеон. Один американский автор метко назвал Гамелена «академическим солдатом». Суворов и Наполеон учили, что на войне нужно помнить прежде всего несколько простых истин и предостерегали против запутывания их военной схоластикой.

В 1914 году сорокадвухлетний офицер генштаба Гамелен находился в главной квартире при Жоффре, который в своих мемуарах упоминает о нем, как ценном советчике при обсуждении плана контрманевра на Марне. Гамелен знал слишком хорошо, что такое «план войны», и практически прошел школу отражения германского наступления через Бельгию. Куда все это девалось в 1940 году? 17 мая 1940 года, когда немецкая лавина обрушилась на французский фронт и неслась к западу, все сметая на своем пути, Гамелен напомнил войскам знаменитые слова из приказа 1914 года: «победить или умереть». Вот все, что вспомнил ученик Жоффра из великих уроков 1914 года.

В 1916 году Жоффр был вынужден после Вердена и Соммы уйти в отставку, позолоченную присвоением ему маршальского жезла. Гамелен в главной квартире прошел все стадии Верденского сражения. Что он вынес из этого урока? В 1939 году французское общественное мнение высказывалось с тревогой о перспективах войны. В частности, опасались, что французская армия будет обескровлена в случае атак против немецкой «линии Зигфрида». Но Гамелен успокоил всех, заявив, что он не намерен начинать войну Верденской битвой. Верден для Гамелена был пугалом. А между тем не была ли линия Мажино усовершенствованным воспроизведением Вердена? Уроков Вердена Гамелен не усвоил. После отставки Жоффра он ушел из главной квартиры.

В 1918 году он в качестве командира 9-й дивизии участвовал в разгаре битвы, завязавшейся после прорыва фронта на Амьенском направлении (март 1918 г.). Он проявил хладнокровие и выдержку. «Ничего нельзя достигнуть, если раздражаться против хода событий, надо безразлично относиться к ним», говорил тогда Гамелен. Быть может, он хотел усвоить эпическое спокойствие Жоффра, однако он не усвоил активности, проявленной Жоффром в критические дни августа-сентября 1914 года.

Гамелен, с ним и весь французский генштаб, остановился в своих военных взглядах на уровне 1918 года. Но и опыт войны 1914—1918 годов был воспринят им в односторонней схематической форме. Гамелен считал, что новая война будет позиционной, что неизбежно отверждение фронтов, что решающую роль сыграют артиллерия и пехота. Дух наступательной стратегии Фоша остался глубоко чуждым Гамелену. Предзнаменование новой эпохи военного искусства в танковых атаках и действиях авиации не проникло в его сознание. Тот кто не идет в военном деле вперед, идет назад. Французская армия

принципиально отвергнувшая путь прогресса, деградировала и в том, что почиталось ее основной силой.

Гамелен и его единомышленники отождествили позиционную войну с ее внешней формой — укрепленными фронтами. «Линия Мажино» — заранее построенный фронт позиционной войны. Но ведь по опыту 1914 года было ясно, что немцы нападут через Бельгию, обойдя «линию Мажино» так же, как они обошли тогда крепостной пояс Верден — Туль — Эпиналь. Бельгия отказалась от военного союза с Францией. В связи с этим Гамелен требовал, чтобы «линия Мажино» была продолжена на запад до моря, но французское правительство не пошло на это. Между тем немцы построили «линию Зигфрида» от швейцарской границы до Северного моря. Итак, укрепления не спасали Францию, и Германия опередила ее и в этом отношении.

Франция отставала и в области артиллерии. Ее полевая артиллерия, хотя и модернизированная, не соответствовала новым требованиям. По поводу новых образцов трубок для снарядов, в особенности для зенитной артиллерии, шли дебаты, которые еще продолжались летом 1940 года. У французской армии не было противотанковой пушки современного образца. Вместо устаревшей 37-миллиметровой противотанковой пушки вводилась новая 47-миллиметровая пушка, но к началу войны для нее не было снарядов.

Ставка делалась на пехоту, которая готовилась для позиционных боев. Французская пехота была оснащена, по опыту конца прошлой войны, ручными пулеметами. Но не говорил ли опыт этой войны о неспособности пехоты без артиллерии, танков и авиации? Что могла сделать пехота против вражеских танков, не имея противотанковых средств. Французская авиация отставала в годы, предшествовавшие второй мировой войне.

Французские танки были лучше немецких, но они рассматривались лишь как средство поддержки пехоты. Планы «танковой войны» считались фантастикой. Пророческая книга полковника де Поля, призванная к реорганизации армии на базе новой техники, была оставлена без внимания. К началу войны французская армия имела 3 бронедивизии по 160 танков в каждой и 3 легких механизированных дивизии. Эти дивизии не сыграли сколько-нибудь серьезной роли в событиях 1940 года, так как французское командование отвергало самую идею использования танковых соединений в наступательных операциях.

Но допустим, что французский генштаб не предусмотрел возможности войны нового типа, в которой танки и авиация сыграют исключительно важную роль. И при этом допущении правильной сказать, что «план войны», в сущности, отсутствовал вовсе. План, который изложен выше, был, по существу говоря, не программой действия, а постулатом бездействия.

В окончательном виде французские вооруженные силы развернулись следующим образом.

На северо-восточном фронте (на германской и бельгийской границах): 23 армейских корпуса — 65 пехотных дивизий, 5 армейских корпусов — 13 крепостных дивизий, 3 бронедивизии, 1 кавалерийский корпус из 3 легких механизированных дивизий и 3 кавалерийских дивизии. На юго-восточном фронте (против Италии): 2 армейских корпуса из 7 пехотных дивизий.

В резерве главного командования 5 дивизий. В Северной Африке 3 армейских корпуса — 8 дивизий. В Сирии 3 дивизии, в Норвегии 3 легких дивизии.

Число британских дивизий, перевезенных во Францию, составляло 10.

Бельгия имела 20 пехотных дивизий.

Эти развернувшиеся силы имели против себя мощного противника — Германию, с 1936 года связанную со своим союзником по оси,

Италийей. О численности германских сил мы будем говорить дальше, но французскому генштабу было известно, что они были отмобилизованы и раза в три превосходили по численности французскую армию.

В 1914—1918 годах Германия вела войну на два фронта. Теперь эта перспектива открывалась перед самой Францией, вынужденной часть своих сил развернуть на итальянской границе.

В 1938 году Германия, захватившая уже Австрию, ооружилась на Чехословакию. В Мюнхене Чехословакия была отдана на съедение гитлеровской Германии и была предрешена невозможность создания фронта против Германии на Востоке. В 1939 году Германия напала на Польшу, и, хотя это привело к объявлению войны Германии Францией и Великобританией, Польша была обречена. При таких условиях французский генштаб должен был считаться лишь с единственным оставшимся вариантом: решительное наступление превосходящих сил Германии на западе через Бельгию. Правда, «умиротворители», может быть, и мечтали еще о том, что фашистский зверь будет смиренно сидеть на месте или что он кинется в другую сторону — на восток — и пощадит Францию. Наивные иллюзии! Природа империалистической Германии была достаточно хорошо известна по опыту прошлого, и было ясно, что Германия бросится прежде всего на страны, не подготовившиеся к отпору.

Вернемся, однако, к чисто военной стороне дела. Какой же все-таки план имел союзный главнокомандующий Гамелен, после того как стало ясным, что вооруженная борьба с Германией неизбежна? Зимой 1939/40 года французская армия провела в полном бездействии. Лучшее всего это изображено на появившемся тогда в иностранных журналах снимке французского «пуалу», сладко спящего на кресле в лесу, позади укрепления «линии Мажино» с винтовкой в руках. Таким же безмятежным спокойствием, видимо, был объят и Гамелен. Кампания в Польше не произвела на него особого впечатления, хотя здесь уже до известной степени раскрывались немецкие методы ведения войны.

Гамелен разделил свои силы, развернутые на Северо-Восточном фронте во Франции, на две группы.

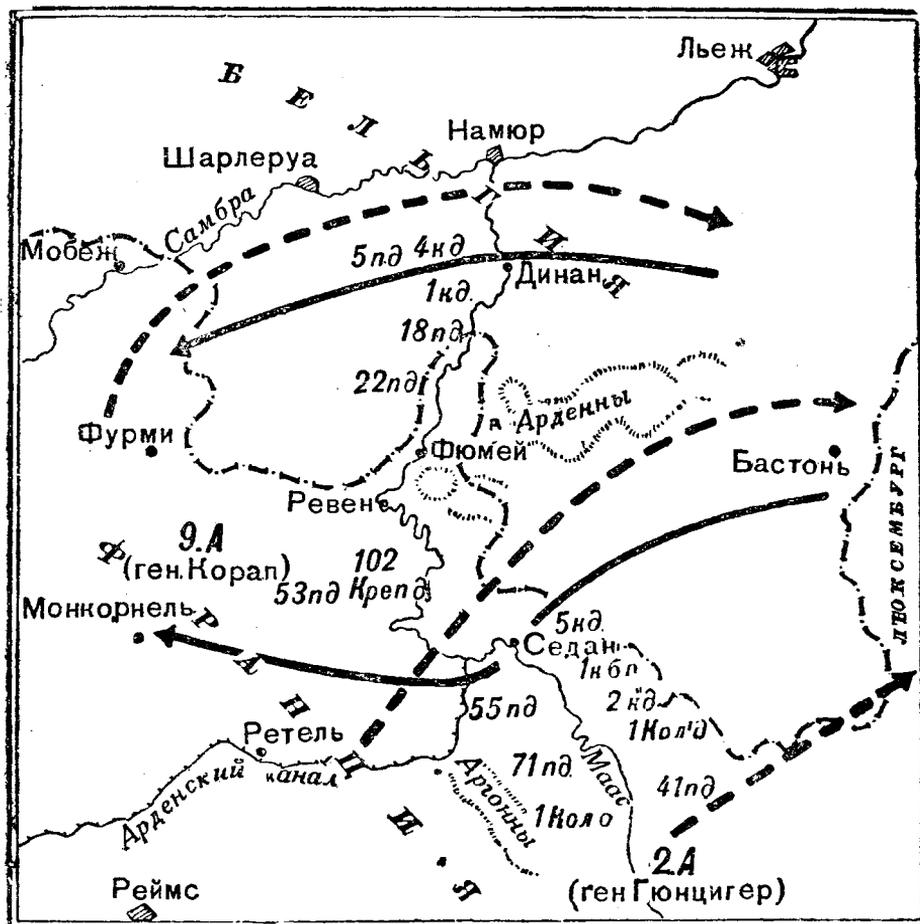
1-я группа армий — на бельгийской границе от Дюнкерка до реки Мааса в составе (слева направо): 7-й французской армии, Британской армии, 1-й и 9-й французских армий. В эту группу входили 2 бронедивизии, 3 легких механизированных дивизий, 4 кавалерийских дивизий, 37 пехотных дивизий (включая 9 британских дивизий).

2-я группа армий — на «линии Мажино». К востоку от Лонгийона 25 дивизий. 5 дивизий в резерве главного командования. Остающиеся 13 дивизий, повидимому, входили в состав 2-й армии, как бы связывающей обе группы в районе Монмеди.

Группа армий на «линии Мажино», была, очевидно, простым прикрытием, тогда как северная группа являлась активной или маневренной. Так как активные боевые действия надо было ожидать, хотя бы только по опыту 1914 года, на бельгийском участке, — разделение сил заранее можно было считать неправильным: при наличии численного превосходства на стороне немцев, половина французской армии была засажена на «линию Мажино». Укрепления последней не были использованы с единственно целесообразным назначением — прикрыть правое крыло с минимальным числом дивизий. Самый элементарный расчет говорил о необходимости создания мощного стратегического резерва из снятых с «линии Мажино» дивизий, который следовало было разместить в центре фронта.

Как же Гамелен рассчитывал использовать северную, активную группу? План войны, как мы уже знаем, может быть наступательным или оборонительным. *Tertium non datur*. В обоих случаях план должен быть проникнут активностью. В данном случае речь шла, очевидно, об оборонительном плане. Как уже упомянуто выше, французы не только не собирались сами атаковать немецкие позиции, но, так ска-

Седанский прорыв 10-15 мая 1940 г



- > Направление удара французских дивизий (стратегическая разведка)
- > Главное направление удара немецких армий

заты, толкали противника на то, чтобы он разбил себе лоб в бесплодных атаках против укреплений. Было известно, что немцы сосредоточивают крупные силы на левобережном плацдарме Рейна. Для Гамелена не могло быть сомнений, что немцы будут атаковать через Бельгию.

Первоначально Гамелен, видимо, рассчитывал ожидать немецкое наступление, оставаясь на франко-бельгийской границе. Однако нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о подготовке контрударов и контрманевров. Гамелен, видимо, позабыл даже и то, что было в этом отношении поучительного в плане французского генштаба 1914 года. Никаких резервных ударных группировок подготовлено не было. Между тем пассивное пребывание на рубеже франко-

бельгийской границы было в высшей степени рискованным. Прорыв этой линии, на которой в течение зимы 1939/40 года были построены укрепления полевого типа, выводил вражеские силы в обход и в тыл «линии Мажино».

«Линия Мажино»! Она не только не являлась теперь опорой плана войны, но даже помехой. Она гипнотизировала французское главнокомандование, препятствуя переходу к маневренным действиям. Невеоятный факт! Но взгляд назад на ход событий невольно вызывает вопрос: не проще ли французскому главнокомандованию было решиться на оставление в случае необходимости «линии Мажино», чтобы обрести свободу маневрирования. Конечно, это предположение утопично, так как для такого решения нужно было отказаться от ложных воззрений, которыми был проникнут французский генштаб. Но в 1914 году Жоффр пошел на риск сдачи Вердена, главное упование возложив на армию и ее маневр. Гамелен колебался. Нельзя же все-таки войну простоять на месте. Начались переговоры с Бельгией, для которой нашествие немцев становилось все более несомненным. Гамелен сначала обещал бельгийцам продвинуть англо-французские силы, в случае вторжения немцев, до линии Шельды. Гамелен полагал, что сопротивление бельгийской армии даст ему по крайней мере пять дней срока для необходимых передвижений. В дальнейшем было решено выдвинуть левое крыло союзников на линию реки Диль и вдоль Мааса. Легофланговая 7-я французская армия должна была продвигаться в Голландию до района Бреда.

Ранним утром 10 мая войска 1-й группы армий приступили к выполнению «плана Диль». Три французских армии и британская армия начали захождение левым плечом вокруг Ревэна (на Маасе). К вечеру следующего дня моторизованные отряды 7-й армии вышли в район Бреда. Прочие армии достигли назначенных им рубежей.

Каков же был смысл всего этого маневра? Мы установили, что план следует рассматривать как оборонительный. Но именно с точки зрения обороны он являлся бессмысленным. Вместо того чтобы встретить противника на укрепленных линиях, постройка которых была основной заботой Франции в мирное время, — союзные войска должны были вступить в сражение, не имея никакого другого прикрытия, как русло рек Диль и Мааса. Если речь шла о контрманевре, спрашивается — каковы же были его цели? Кроме выхода на новый рубеж, войска не получили никаких других задач.

В плане французского генштаба стратегическая цель отсутствовала вовсе. В предшествовавшем изложении мы допустили возможность оборонительной стратегии, которая не ставит решительной цели. Подобная стратегия рассчитана лишь на то, чтобы расстроить план противника, без нанесения ему решительного поражения в данной кампании. Таковы были планы войны союзников в 1914 году: при наличии двух фронтов и численном перевесе над Германией это привело к удовлетворительному результату. Однако французская армия все же в августе 1914 года попала в опасное положение.

Если в оборонительной стратегии главное командование и не ставит решительной цели, оно и в этом случае должно своевременно определить, где создается центр тяжести операций, и иметь наготове резервы, чтобы остановить наступление врага в этом районе. Иначе противник, если он силен и активен, достигнет своей цели и одержит победу (если цель поставлена правильно). Следовательно, даже не преследуя решительной цели, оборона должна быть активной и в то же время упорной.

Гамелен, придерживаясь оборонительного образа действия, не преследовала решительной цели. Но глубокий корень его ошибок состоял в предположении, недопустимом для полководца, предположении ошибочном и иллюзорном: враг также не будет или не сможет наступать с решительной целью. Это — ложная идея о том, что наступательные попытки той и другой стороны с первых же дней войны осуждены на

же успех, фронты стабилизируются, начнется позиционная война, которую французский генштаб видел в кривом зеркале, не изучив опыта прошлой войны.

Фронт стабилизируется на «линии Мажино». Но Гамелену рисовалось уже нечто большее: атаки немцев легко будут сдержаны и отражены на водных рубежах рек Диль и Маас. Фронт стабилизируется и здесь. Эта слепая вера в то, что бои неизбежно примут затяжной характер и будут протекать на ограниченной по глубине территории, не имела никаких разумных оснований. Гамелену достаточно было вспомнить о мартовском прорыве немцев в 1918 году, причем тогда германская армия наступала даже без танков.

Проникнувшись этими ложными взглядами, Гамелен не считал нужным уяснить себе, где наносится главный удар немецких армий и, значит, где находится центр тяжести всех боевых действий на фронте. Он не создал крупного маневренного резерва для быстрого сосредоточения в районе, где обнаружится направление главного удара противника.

Как уже было упомянуто, Гамелен рассчитывал на срок в пять дней, в течение которых он сумеет предпринять контрмеры. Этих дней он, однако, не получил.

10 мая 9-я французская армия, состоявшая всего из 5 дивизий, начала выдвижение на линию реки Мааса от Намюра до Седана. Кавалерийские дивизии 9-й и 2-й армий направились на восток для ведения стратегической разведки. 11 мая кавалерийская разведка натолкнулась на противника и была отброшена на левый берег Мааса. 12 мая обозначилось с полной ясностью движение крупных танковых сил немцев к Седану и Динану. 13 мая немцы форсировали Маас севернее Седана. 14 мая части 9-й армии были разбиты в боях на левом берегу Мааса и начали отход. 15 мая тактический прорыв фронта в районах Седана и Динана был немцами осуществлен полностью, и немецкие танки устремились на запад.

Итак, в течение пяти дней все уже было кончено: немцы прорвали фронт на направлении главного удара. Гамелену было нечего делать: готовых резервов для контрударов у него не было. Конечно, при таких условиях не помогли бы ему и пять дней, если бы немцы подарили их.

Но Гамелен плохо знал и вовсе не понимал происходящего: в такой мере это не соответствовало тем схемам, в которые он пытался втиснуть войну. 15 мая на заседании комитета национальной обороны он заявил, что не считает положение непоправимым. И лишь вернувшись вечером в главную квартиру, он понял, что произошла катастрофа. 19 мая Гамелен отдал приказ отрезанной северной группировке армий — контратаковать в южном направлении. Через четыре часа он сдал командование Вейгану. На вопрос последнего, «где французские и британские силы на севере?» — Гамелен не смог даже ответа.

Поражение Франции в 1940 году было predeterminedено преступной политикой пресмыкательства перед наглежащей фашистской Германией. Гитлеровские лакеи — Лавали и Петэны погубили Францию. В Мюнхене была предана не только Чехословакия, но и Франция. При огромном перевесе в силах лобода Германии над Францией в 1940 году была предreshена.

Но предатели Франции нуждались до поры до времени в известном прикрытии. Они не могли открыто заявить, что не надо готовиться к войне с Германией. Они должны были маскироваться. Одним из удобных прикрытий была для них французская военная доктрина, смазывавшая серьезность и опасность надвигающейся войны. Спасение в «линии Мажино». Враг не пройдет через укрепленные границы. Германский натиск разрядится в затяжных боях у границ и будет

«становлен. Война примет позиционный характер. Германия будет побеждена, как в прошлой войне, путем блокады и истощения.

«Стратегия истощения», которой придерживались союзники в 1939—1940 годах, была по существу просто отрицанием стратегии.

Французский план войны был построен на фантастическом предположении: мы не наступаем, но и противник не сможет наступать. Игра начнется с ничейной позиции. Эта концепция являлась сплошной иллюзией, не имевшей никаких фактических оснований. Единственное, на чем могли базироваться ее защитники,— поверхностный и ложный взгляд на позиционную войну. Выше показана ошибочность такого взгляда.

Современные войны характеризуются развертыванием крупных войсковых масс на широком фронте, что неизбежно ведет к фронтальным столкновениям и ограничению свободы маневра. Путь к стратегически важным объектам может быть закрыт укрепленным фронтом противника.

Это создает особые трудности для осуществления стратегической цели. Возникает необходимость прорыва и сложного маневрирования, чтобы достичь поставленной цели. Постановка стратегической цели в этом случае обозначает главное направление удара, на котором сосредотачиваются наиболее крупные силы, она обозначает объект или район в тылу противника, достижение которого завершает прорыв и создает наиболее благоприятное положение для решительного поражения вражеских сил.

Одна из сторон рано или поздно предпримет такое решительное наступление. Обороняющийся должен быть готов к этому. Обороняющаяся сторона может и должна ставить решительные цели, по примеру Кутузова в 1812 году.

Это важное положение можно представить так:

Стратегическая цель наступательных операций	→	Центр тяжести операций на фронте	→	Стратегическая цель обороняющейся стороны.
---	---	----------------------------------	---	--

Допустим, что одна из сторон предприняла наступление с решительной целью. Чтобы избежать поражения, обороняющаяся сторона должна своевременно выяснить, где противник наносит главный удар, и бросить сюда свои резервы. В этом районе создается центр тяжести операций всего фронта. Таким образом, безразлично, ставит обороняющийся своим войскам решительную цель или нет, он оказывается вовлеченным в сражение, в котором решается судьба всей кампании. Очевидно, что гораздо выгодней для обороны, располагающей необходимыми силами, поставить возможно раньше четко обозначенную решительную цель, стремясь нанести поражение наступающим силам. Обороняющийся может при этом стремиться к тому, чтобы путем контрастного маневра передвинуть центр тяжести операций на другой, более выгодный участок фронта.

Итак, в современных войнах и наступающая и обороняющаяся стороны могут ставить себе стратегическую цель. Конечно, за наступающим остается преимущество инициативы и опережения. Он, как правило, имеет больше шансов достичь стратегической цели. Но обороняющийся может предвосхитить планы противника, выравнять положение и перехватить инициативу. В этой борьбе за инициативу создается центр тяжести операций, который довлеет уже над действиями сторон: исход кампании решается в сражении на этом участке.

Изложенное понятие о стратегической цели в условиях борьбы двух сторон на современных фронтах намечалось уже по опыту прошлой войны. Однако полное раскрытие его осуществилось на фронтах Великой Отечественной войны в грандиозных битвах под руководством Маршала товарища Сталина.

(Продолжение следует)

КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Всякое настоящее искусство, как и сама жизнь,— одновременно и открытие и проблема. Многозначительнейшая эпоха русской жизни нашла свое художественное выражение в произведениях А. Толстого. Творческий путь А. Толстого, в свою очередь, отразил острую общественную борьбу своего времени. Он сложен и неоднолинеен. Мы не ставим себе задачу в этой статье обозреть весь этот творческий путь, расчленив его на периоды и описать каждый из них. Это дело, может быть, отдельной книги. Мы ставим себе более ограниченную задачу: определить или хотя бы нащупать «зерно» толстовского творчества, те его главные черты, которые образуют его писательскую индивидуальность.

Чем объясняется жизненность и привлекательность произведений А. Толстого для разных поколений читателей? В чем заключается главная идея его творчества?

На первый вопрос можно было бы ответить так, что жизненность и долговечность есть счастливая привилегия всякого истинного искусства, объясняемая общечеловеческой глубиной содержания.

А. Толстой — художник истинный, по природе своей из тех взысканных талантом людей, которым стоит лишь глянуть в шелку жизни, чтобы открылась вся ее панорама, со всеми красками. Но ответ в такой общей форме еще не дает почувствовать художественной индивидуальности А. Толстого. Тем более что жизненность показали не только его произведения, но и самый его талант, который обнаружил удивительную гибкость в переходе от изображения предреволюционной русской «натуры» к героическим моментам русской истории и от них к изображениям людей и дел советской эпохи.

Эта черта толстовского таланта — широка охвата жизненных явлений — в высшей степени оказалась под стать тем требованиям, которые предъявила русская жизнь к нашей литературе в последнее полстолетие, в эпоху небывалых общественных сдвигов, крутой революционной ломки всего уклада русской жизни. Самым решающим рубежом здесь была Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года, повернувшая все развитие русской литературы по новому руслу.

На этом рубеже, как живое олицетворение преемственности, органического характера нашего литературного развития возвышается Горький. Своими произведениями и художественным методом он, точно узлом, связал прошедшее и будущее нашей литературы. И можно не сомневаться, что по мере дальнейшего поступательного движения социализма все шире и глубже будет раскрываться принципиальное, основополагающее значение опыта и примера Горького в развитии не только русской, но и мировой литературы.

То поколение писателей, которое встретило Октябрь, уже обладая известным творческим опытом и художественным методом, сложившимся в предреволюционных условиях, неизбежно, — каждый по своему, — продумывало и решало то, что еще до революции продумывалось и решалось Горьким в литературе. Советская эпоха обновила творчество таких в художественном смысле несходных людей, как Ал. Толстой, А. Серафимович и В. Брюсов, В. Маяковский и М. Шагинян, В. Вересаев и С. Сергеев-Ценский, А. Блок и К. Тренев.

Толстой — это писатель двух эпох, совершивший в своем собственном творчестве переход от критического реализма к реализму социалистическому, позитивному. Переход от творческих прие-

мов, найденных и выработанных при изображении заволжских «чудаков», кутил и тоскующих девушек к изображению советской современности — от гражданской до Отечественной войны — не сопровождался у Толстого, как у иных, творческим кризисом, «линянием» стиля и т. п. Ведь есть разные виды идейных «перестроек» и типов творческой эволюции. Бывает, что жизненный поворот происходит в страстном отрицании писателем своего прошлого, сопровождается покаянием и сжиганием своих былых идолов и кумиров. И тогда точно возникает перед вами «другой человек». Примерами подобного рода полна история литературы. У писателей нередко встречается упрямая верность однажды сложившемуся убеждению или найденному приему. В этой негибкости и недвижности нередко коренится источник трагедии. Самое естественное развитие — то, в котором новообретенное убеждение находит внутреннюю опору, то есть когда зародыш будущего зреет в прошлом.

Алексей Толстой советских лет не находится в творческом конфликте или резком разрыве с Толстым предреволюционного периода. Его идейное и художественное развитие в нашу эпоху глубоко органично. С полным правом можно сказать, что советская эпоха обогатила и углубила талант А. Толстого.

Не случайно наиболее значительные произведения А. Толстого («Петр Первый», «Хождение по мукам», «Иван Грозный») свидетельствуют о своей принадлежности к нашей эпохе не столько датой своего написания, сколько своей проблематикой, духом своим, характерами своих героев.

Повторяю, А. Толстой — художник в высшей степени органический. Но как понимать эту органическую линию?

Разгадку естественно в первую очередь искать в природе таланта Алексея Толстого. Его основа — здоровье, — верность жизни. Его главное свойство — эластичность. С поразительной чуткостью и впечатлительностью он умеет уловить и выразить и самое тонкое душевное чувство, и самую глубокую мысль. Он умеет сделать изображаемое почти зрительно осязаемым. Характеры — очерченными и живыми. Неуловимо — зримым. Силу и гибкость этой изобразительной пластичности постигаешь порой не столько в густой «репинской» живописи, сколько в умении Толстого понимать и изображать «неуловимое»,

переходы чувств и состояний, «волночки» набегающих настроений.

Обладая искусством погружать читателя в самые разнообразные переживания и состояния, А. Толстой в то же время никогда излишне не задерживается на этих отдельных переживаниях. Психолог в понимании людей, А. Толстой чужд «психологизма», как приема в их изображении. Современник, участник и летописец одной из самых драматических эпох в истории человечества, переломной кровавыми столкновениями, А. Толстой чужд ее безвыходно-трагического восприятия. Его талант «пышет» внутренним здоровьем, непобедимой силой жизненного равновесия. С его непобедимым жизнелюбием может поспорить его истинное человеколюбие. Он всегда готов видеть лучшее в людях (горьковская черточка) и лучшую сторону в жизни. Какую бы трагическую картину ни рисовал А. Толстой, между строк он невольно вышлет вам свое настроение, полное веры в жизнь. Подтекст толстовской драмы — весь светлый, оптимистический. Недаром Горький назвал талант А. Н. Толстого — «веселым».

«А и в горе жить, не кручину быть, а кручину в горе — погнупи», — говорится в древней русской поговорке, ставшей в повесть XVII века «О Горезлосчастье». Эти слова народной мудрости составляют как бы незримый фон, когда А. Н. Толстой сменяет «туманные картины» бытия в своем «волшебном фонаре» рассказчика.

Эти свойства таланта А. Толстого отражены и в его поэтике, манере письма. Особенно в его рассказах. Их сюжеты развиваются быстро, легко. У Толстого нет никакой надрывности или «размазывания ужасов» (как у его современника Л. Андреева) или «поэзии отчаяния», которое, словно горький запах лесной гари, разлито в пейзажах и сюжетах Бунина. У А. Толстого иное: тяготение к шутке, гротеску («Сожитель», «Приключение на волжском пароходе» и др.), к игре («Любовь — книга золотая»). Иногда это порождало даже вещицы и совсем легкие, выпадавшие по жанру из «большой литературы». Но в своем главном выражении писательская природа А. Толстого подводит нас к некоторым кардинальным вопросам развития всей русской литературы.

Литературное развитие А. Толстого, создавшего живую преемственность двух эпох в развитии сегодняшней рус-

ской литературы, это торжество того ее направления, главным героем и путеводным началом которого была народная правда,— это торжество реализма.

Что же определяло характер толстовского реализма? В чем была его особенность?

А. Толстой, будучи современником символистов, декадентов, футуристов, начинал как критический реалист. В картинах, которые рисует он, в рассказах о том времени очень много печального, нелепого и даже отвратительного, взятого с натуры. Но было и другое. Это была эпоха общественного кризиса и революционного назревания грозы. Это чувство проникло в литературу того времени и облеклось в многообразнейшие формы. От «Буревестника» Горького, от углового протеста Маяковского — до своеобразного «пафоса страха» в «Петербурге» Андрея Белого, до «Некто в сером» Леонида Андреева.

Критическая переходная эпоха наложила свой отпечаток и на Толстого. Она подсказала ему многие темы, ситуации и черты героев, какие тогда «были в воздухе». Мы узнаем их. Вот они, эти спившиеся или запугавшиеся, пришедшие к окончательному тупику «лишние люди» («Хромой барин» — князь Алексей Петрович Краснопольский). Вот они, когда-то начинавшие «гордыми скитальцами» в духе Алеко, появились на страницах повестей Толстого в облике Смольковых, обедневших помещиков, кутил, картежников. Вот они, эти «люди в пенсне», никчемные и жалостные «хлюпики». Вот они — далее — эти люди «мирового отчаяния», граждане вселенной, игроки жизни, люди «черных пятниц», дознавшие шесту мира во всех денежных комбинациях и под всеми широтами. Это — все «герои» тех лет. Рассказ «Древний путь» А. Н. Толстого невольно воскрешает в нашей памяти «Господина из Сан-Франциско» Бунина. Разумеется, тут нет никакого подражания и даже влияния. Это мотив все той же эпохи, цемившей тогда душу чувством зыбкости, непрочности существования перед лицом как будто видимого полнокровия и вечности памятников культуры.

Можно без труда установить дункты историко-литературных соприкосновений А. Толстого с темами и писателями той эпохи.

Но было у А. Толстого и нечто, что отделяло его от многих его современ-

ников, что сохранило его от «сладкого яда» декадентства и пессимизма и ближе всего поставило к Горькому. Это «нечто» было русское здоровье его художнической натуры, пропитанной, вопреки всем глетворным дыханиям времени и чувству надвигающейся катастрофы (что так гениально передано у Блока), чувством бессмертия народа и правды его.

В своей статье о баснописце И. А. Крылове Белинский писал, что «в наше время народность сделалась первым достоянием литературы и высшей заслугой поэта. Назвать поэта «народным» значит теперь — возвеличить его. После Пушкина все пустились в народность, — все за ней гонятся, а достигают ее только те, которые вовсе о ней не заботятся, стараясь быть самим собой... Причина этого явления та, что народность есть своего рода талант, который, как всякий талант, дается природою, а не приобретается какими бы то ни было усилиями со стороны писателя» (т. XII, стр. 485).

У Алексея Толстого своего рода «талант народности», живая способность, «оставаясь самим собой», направлять свои творческие силы к выявлению и утверждению главным образом того, чем живет народ в прошлом или в настоящем, — его идеалов, историй, языка. Вот эта органически впитанная народность, этот счастливый «талант народности» есть основа здоровья художнической «натуры» Толстого (употребляя любимое слово Белинского).

Во всем нашем XIX веке «внутри» литературы критического реализма мы слышим ноты утверждения жизни, то окончательное «да», за которым стоит надежда на жизнь и вера в свой родной народ. «Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма!» Эта струя русского реализма, эта осязная бытию во имя его самого идет от Пушкина и в тысячах ручьев пробивается то в гоголевских «птицах-тройках», то в жизнелюбимых Тургеневе. Льва Толстого и, наконец, Горького. Но лишь в советскую эпоху с такой всеобъемлющей силой эта мелодия утверждения жизни зазвучала в нашей литературе, когда сломал народ оковы своей предистории. «Хорошо!» — во весь голос сказал Маяковский.

Реализм А. Толстого, если снять все наслоения времени, — реализм пушкинской традиции. (хотя в первых произведениях А. Толстого еще слышится

гоголевский гротеск и чисто гоголевское чувство природы). Его повесть «Детство Никиты» может быть самая светлая даже в радужном толстовском мире. Разве это только «детство Барчука»? Это поэзия самой России, ее манящих полей и просторов, ее сказок и преданий.

Повсюду у А. Толстого слышится вера в русский народный характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть и надежда, великая надежда на русского человека,—

В надежде славы и добра,
Гляжу вперед я без боязни...

Даже в самом падении людском готов А. Толстой заметить огонек, который, если бы дать ему воздуху да прямо доставить, как свечку, непременно разгорится и изнутри осветит человека. Вот, например, угрюмый, молчаливый конюх Архип (рассказ «Архип»). Сына его, лихого Осыка, конюхрада, убивают мужики по наущению помещика. Увел Осыка у него любимого коня. Долго дождался часа мщения Архип. Долго выпаривал молчаливую злость свою. И сумел так натравить тех же мужиков на своего барина, и сам его зарезал э суматохе нападения толпы на помещичий дом. Темный, думучий, навеки затаившийся человек Архип, обиженный жизнью до потери образа человеческого. А все же прочтешь этот рассказ,— и хочется об этом Архипе сказать словами революционерки Рашели, обращенными к «зверинной» купчихе Вассе Железновой (из горьковской пьесы):

«— Чорт вас возьми... Вот ведь есть у вас в этой ненависти что-то ценное...»

Есть в этой ценности негибаемость духа, непреодолимая сила самозащиты, проявляемая русским человеком в критические моменты своего бытия.

Интересно отметить, что носителями положительного национального начала у А. Толстого в ранних произведениях являлись по преимуществу женщины. Достоевский считал, что Пушкин в Татьяне дал «апофеозу русской женщины», положительный тип, который «почти уже не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде».

Последующее развитие литературы внесло много нового. Так, образы русских женщин у М. Горького (Няловна, Васса Железнова и даже, — пусть это покажется парадоксом, — Марина Зотова из «Клдема Самгина») ведут свою

традицию от женщин Некрасова. Сильные и живописные, они из тех, что «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Есть у А. Толстого женские образы, восходящие к поэтическим прообразам Пушкина. Есть в них что-то «татьянинское», чистое и мудрое. Есть в них терпение и та всепобеждающая сила любящего сердца, которое все вынесет, всегда победит. Вспомните Сашу и Катю из «Хромого барина», Сонечку из «Чудаков», Катю из «Простого сердца», Катю и Дашу из «Хождения по мукам». Они все разные, но в своем разном светлые и по-русски удивительно милые.

Их правда — в любви, в величии русского сердца. И тяжело тому, кто не сумел высказаться сердцем. Не в этом ли драма Ольги Вячеславовны (из рассказа «Гадюка»). Вот замечательно сильный и прямой человек! Жизнь составила всю ее из каких-то острых углов, невысказанной любви. Если бы не убили Димитрия Васильевича, командира ее эскадрона, кто знает — может быть не стала бы она такой. Но дайте этим женщинам правильное направление, чтоб их сердце включилось в общее дело народа, и появятся такие героические фигуры, как женщины из рассказа «Мать и дочь».

Да, есть счастье в живой любви! И есть через любовь путь к человеку. А счастье есть лучший университет, — говорил Пушкин.

«Будьте уверены, что человеку любовь столь же естественна, как эгоизм: не мешайте его эгоизму, — он будет любить; не грозите ему беспрестанно, — он будет справедлив, ибо несправедливость противна человеку, как всякая ложь, как фальшивый тон. Коммуны между собой связуются высшим родством пламенным, народностью, народность есть опять любовь, опять единство», — писал когда-то Герцен в «Письмах из Франции и Италии».

Реализм, соединивший критику с проникновенным интересом и сочувствием к человеку, реализм, пропитанный пушкинским жизнелюбием, — вот та начальная основа толстовского творчества которая в последующие революционные годы помогла ему органически войти в советскую литературу.

В чем сущность эволюции А. Толстого, как художника в пооктябрьские годы? В движении его реализма в сторону истории. В наполнении эстетики А. Толстого, его идейного мира и его представлений о красоте и правде —

историческим содержанием, историческим пониманием. Это развитие и преобразование толстовского реализма в целом обусловлено тем, что А. Толстой шел с народом, тем, что он сумел глубоко воспринять новое содержание народности. Новое же в народности советской эпохи заключается в том, что она проникнута началами исторической сознательности и отсюда социалистической, государственной организованности. Весь народ «подтянулся» к рабочему классу, к своему авангарду — партии большевиков. На этом пути происходило художественное переосмысление А. Толстым некоторых существенных сторон его творчества.

Если, например, раньше, при изображении исторической жизни (например, в «Чудаках»), развитие сюжета у Толстого определялось семейными, любовными или даже авантюристскими ситуациями, то в постреволюционные годы такими двигателями становятся исторические характеры, исторические события. Алексей Толстой становится историческим романистом — не только по признаку исторической тематики своих произведений, но по природе своего художественного метода, раскрывающего действительность в ее историческом развитии.

Так «Хождение по мукам» — это роман-эпопея, роман-хроника о рождении новой советской государственности и сокрушении народом старой паркобюрократической государственной машины. Это роман о рождении в народе нового государственного самосознания, новой государственной дисциплины, роман о борьбе с мелкобуржуазной, анархической стихией, о том, как народ утверждал свой новый советский тип государственности, защищал свою советскую родину в борьбе против белогвардейцев на фронтах гражданской войны и против саботажников, вредителей, срывников нового государственного строительства в тылу.

Петр дан (в «Петре Первом») как строитель новой прогрессивной государственности, утверждавший ее в борьбе против боярского местничества, как создатель крепкого, передового государства «помещиков и купцов».

А. Н. Толстому, разумеется, чужда какая бы то ни было поэтизация государства и государственного начала самого по себе (в немецко-гегелевском духе). Но Толстому, как художнику, весьма присущ поэтический интерес к изображению государственного строи-

тельства, в тех случаях, когда оно имеет прогрессивный характер, служит на пользу национальным интересам. В полной мере таким являлось и является только советское, социалистическое государство.

В русской литературе критического реализма тема отношения к государству предстает в свете борьбы с ним, как организованной силой эксплуататоров, помещиков и капиталистов. Но в то же время русскую литературу нашу никак нельзя упрекнуть в поэтизации анархического начала самого по себе. Наоборот.

XVIII век выдвинул в литературе ряд в высшей степени оригинальных певцов русской государственности, умевших отделить «просвещенный абсолютизм» (Елизаветы или Екатерины) от идеи русского государства в общенародном смысле (как воплощение народной мощи, обращенной против врагов родины). Таковы прежде всего Ломоносов и Гавриил Державин, умевший «забавным русским слогом» воспеть не только достоинства Фелицы, но и расказать о значении для России гения Суворова.

XIX век, век расцвета критического реализма, наполняет художественную литературу духом протеста и оппозиции в отношении царизма и его государства. Впрочем, в русской литературе и философии XIX века идея русской государственности в ее историческом развитии нередко совмещалась с развитием патриотического чувства в народе. Достаточно вспомнить «Полтаву» Пушкина или оценку Петра Первого и Ивана Грозного Белинским, достаточно далее вспомнить рассуждения на эти темы Чернышевского, Герцена, Добролюбова.

Именно обновление и развитие нашей народной жизни и составляет художественную идею и сюжетную основу крупнейших полотен, созданных Алексеем Толстым в последние полтора десятилетия — романа «Петр Первый» и двух пьес об Иване Грозном. Служение родине составляет поэтическую основу таких громадных характеров, как характер Петра I и Ивана IV. Если в произведениях романистов прошлого Петр I и Иван IV трактовались, выражаясь гегелевским языком, только как характеры драматические, несущие свою драму в себе самом, в силу исключительности своих страстей, то А. Толстой раскрывает эти характеры как эпические. Драматизм борьбы, ведомой Иваном IV и

Петром I, возникает в противоречиях и битвах истории. На поле битвы — души людей. Именно в человеческом смысле раскрывается под мастерской кистью Алексея Толстого гений русской государственности. И это придает неотразимую правдивость созданным им персонажам Петра Первого и Ивана Грозного.

Здесь уместно задать такой вопрос: достаточно ли показана у Толстого другая сторона народной жизни, другое выражение любви народа к родине — борьба народа со своими угнетателями внутри русского государства, общественная, классовая борьба и вообще классовое содержание исторического процесса?

Если драматическая повесть «Иван Грозный» может быть не свободна от известной идеализации отношений царя и народа, то в «Петре», на наш взгляд, мы имеем великолепный образец художественного изображения организованного сверху «рыбка» России до пути ее европеизации, со всеми классовыми противоречиями этого прогрессивного в общенациональном смысле акта.

Если раньше стихия любви принимала у А. Толстого мягкий всеобъемлющий характер, то во второй половине его литературного развития гуманизм А. Н. Толстого принимает форму целеустремленной идеи. Носителями положительных начал русского национального характера становятся не добрые русские женщины, но деятельные творцы истории, мужи государственного подвига. И гуманизм, любовь к человеку открывается уже в новом свете исторической необходимости. Замечательный диалог Грозного с Филиппом (в пьесе «Трудные годы») — страстное оправдание своеобразного государственного гуманизма, меряющего человека мерою участия его в строительстве великой родины.

Трилогия «Хождение по мукам» с примыкающим к ней романом «Хлеб» в хронологической последовательности появления этих романов (они писались 20 лет) показывает этапы роста Алексея Толстого как исторического писателя. И то, что Алексей Толстой пришел, как к своей высшей художественной задаче, к изображению таких исторических героев, как Ленин и Сталин, говорит нам: идея великого создающего героя, творца новой истории, подсказывается сегодня искусству всем духом народной жизни.

А. Толстой примером своей творче-

ской жизни помогает глубже понять процесс восприятия советским человеком начал героического прошлого своей Родины.

В «Петре Первом» и «Хождении по мукам», этих исторических эпопеях зрелой поры, с наибольшей скульптурностью и полнотой запечатлелись принципиальные черты и изобразительная сила счастливого таланта Алексея Толстого.

Но фигура Алексея Толстого как писателя останется обедненной, если не взять его во всей совокупности им созданного, включая и публицистику.

«Бывают иные критические эпохи, — говорил Белинский, — когда с особенной силой выступает в общественном сознании потребность ощутить наше собственное естество, органическую мысль нашего национального народного развития».

Советская власть раскрыла в народе неведомые дотолы силы. Сталин привел народ на такие вершины его подвига в деле построения нового, социалистического общества и в героической борьбе с бронированной ордой немецких захватчиков, что с этих вершин стало ясно «во все концы света» (Гоголь). Отчетливой и рельефней обнаружилось в нашем сознании положительное содержание русской культуры, главных моментов нашей истории.

Сталин назвал ленинизм «высшим достижением русской культуры», подчеркнув тем самым органический характер нашего национального развития в советскую эпоху.

Одним из излюбленных мотивов нашей литературы всегда была дума о нас самих, о русском народе. В этом любовном «обдумывании» народа выражалась, в частности также народность нашей литературы, постоянное устремление ее к источникам, питающим нашу жизнь. Она проходит, эта дума, сквозь всю нашу литературу XIX и XX веков от Чаадаева до Горького, от Пушкина и Лермонтова до Блока и Маяковского, А. Толстой воспринял и выразил эту традицию русской литературы.

«Родина, — писал А. Толстой в одной из своих статей военного времени, — это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих поколений. Это — вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущий свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в за-

конность и неразрушимость своего места на земле».

Родина — это не только географическое, но и историческое единство. Необычайное, нравственное и героическое самораскрытие нашего народа в советскую эпоху и особенно в дни нынешней Отечественной войны призывает нас найти, понять, соединить в одно все черты этого народного характера, залечатленные на всем протяжении нашей истории.

С неудержимым гневом поднялось все существо Толстого против немцев в дни нынешней войны, против тупого и дьявольского замысла гитлеровцев перестроить мир по своим законам людоедства и палачества.

Также есть нечто русское и национальное в самой пластичности его таланта, в толстовском даре понимания истины во всяких ее жизненных проявлениях. Проникновенность понимания — это наша природно русская черта народного характера. Белинский видел эту черту во всемирной отзывчивости русского человека, всемирном характере мышления нашего, непременно предполагающего представление о жизни в ее всеобщности, в совокупности всех племен и народов. Это не космополитизм, это органическое отсутствие духа национальной исключительности, устремленность в национальном к общечеловеческому.

«Мы, русские, — наследники целого мира, не только европейской жизни, но и наследники по праву, — писал Белинский в 1838 году. — Мы не должны и не можем быть ни англичанами, ни французами, ни немцами, потому что мы должны быть русскими, но мы возьмем как свое все, что составляет исключительную сторону жизни каждого европейского народа, и возьмем ее не как исключительную сторону, а как элемент для дополнения нашей жизни. Исключительная сторона которой должна быть — многосторонность, не отвлеченная, а живая, конкретная, имеющая свою собственную народную физиономию и народный характер» («О критике»).

Разумеется, вопрос о «европейском наследии» для нас сейчас стоит совершенно иначе, нежели он стоял во времена Белинского и споров западников со славянофилами. Теперь гораздо актуальней стоит вопрос о «советском наследии» для европейской жизни, вопрос о значении нашей демократии для всего человечества, особенно в дни

борьбы с фашизмом. Недаром для передовых людей всех народов слово «Москва» становится символом решения многих коренных вопросов человеческой истории.

Но вопрос о борьбе с духом национальной исключительности продолжает оставаться столь же животрепещущим. И в этом отношении Белинский был безусловно прав, характеризуя русский народный характер как многосторонний, лишенный национальной спеси и самовлюбленности.

Алексей Толстой, может, более чем кто-либо из современных писателей, дает нам ощутить силу этой природной особенности нашей. И не только через изображение людей других национальностей. Самая сущность его таланта, его письма — в многосторонности, не отвлеченной, а живой, конкретной, имеющей свою собственную народную физиономию и народный характер. Эта многосторонность и гибкость выражается, повторяю, в историзме его метода, в обилии форм и жанров, в какие выливается его художническое вхождение в действительность. Вы плывете на пароходе вместе с умирающим французом Полем Тореном по Средиземному морю («Древний дуть») или входите в комнату одинокой девушки, портнихи Кати («Простая душа»). И там и здесь в разных мирах, всюду как на яву, вы погружаетесь в инобытие.

Но, конечно, более всего эта сила проникновенного вживания проявляется у Толстого, когда он входит в русскую историю. Здесь он дома, здесь он везде свой. Исторические произведения А. Толстого, — никогда не стилизация, будь то смутное время («Повесть смутного времени»), «Иван Грозный», «Петр Первый»; везде язык, люди, характеры, одежда, положения — живые и конкретные. нас, Россию, всегда плохо понимали на Западе по самым различным причинам (немалую роль сыграла тут и пресловутая легенда о варварском характере «русской души», легенда, гуляющая на Западе еще со времен Пуффендорфа и немецких «путешественников» в Россию). Произведения А. Толстого учат искусству, пониманию России. Они показывают, как в прошлом России жила неумирающая народная героика, как вышла она теперь на простор. Произведения А. Толстого раскрывают всечеловеческое содержание «русского опыта».

Сегодня, когда мы, СССР, Красная Армия, боремся против фашизма, как

нельзя более необходимо, чтобы нас правильно понимали. Этому помогает А. Толстой.

Великие традиции гуманизма, народности, многосторонности человеческого духа в его яркой национальной форме — все эти черты нашей русской литературы придают произведению А. Толстого неуывающее значение. В дни Отечественной войны советский патриотизм Толстого великолепно развернулся в его военной публицистике. Как трибун народного сердца заговорил он, и его ободряющий голос ворвался в гул орудий, плач детей и гневный клич воинов.

И, наконец, третья сторона творчества А. Толстого, в которой открывается нам его сила и национальная основа, — это его литературный язык. Без риска впасть в преувеличение (и тем самым ненужную апологетику) мы можем сказать, что язык А. Толстого представляет в нашей советской литературе явление выдающееся, обогащающее все наше литературное развитие. В красочной живописности, энергии и тонкости языка А. Толстого, его гибкости и восприимчивости раскинулась широта русского характера, историческое богатство нашего развития. Говорит ли Петр I или Иван IV, стольники или бояре, крестьяне или горожане, красноармейцы или партизаны, изображает ли писатель русскую историю или русскую природу — в легких и точных словах сказывается у него безошибочное чувство народности, понимание живого бытия.

Когда враг шел к Москве в июле 1941 года, А. Толстой, ища глубинные опоры нашего патриотизма, писал в одной из статей:

«Недаром пращур плел волшебную сеть русского языка, недаром его поколения слагали песни и плясали под солнцем на весенних буграх, недаром московские люди сжигали по вечерам при восковой свече над книгами, а иные, как неистовый протопол Авва-

кум, — в яме, в Пустозерске, и размышляли о правде человеческой и записывали уставом и полууставом мысли свои. Недаром буйная казачья вольница разметывала переизбыток своих сил в набегах и битвах, недаром старушки-задворенки и бродящие меж дворов старички за ночлег и ломоть хлеба рассказывали волшебные сказки — все, все, вся широкая, страстная, взыскующая душа народа русского нашла отражение в нашем искусстве XIX века. Оно стало мировым и во многом повело за собой искусство Европы и Америки».

Из этого живого богатства рождались наши писатели, родилась вся наша литература.

То, что раньше было «подтекстом» нашей истории — героический размах русского человека, ныне хозяина своей земли, — теперь стало главным текстом летописи русской жизни. И то, что раньше у А. Толстого звучало «полтекстом», — чувство положительный начал русской жизни — теперь, в его произведениях советской эпохи, облеклось в живые образы народной борьбы за социализм.

Недаром А. Толстой прилежно слушал говор и думы родного народа и в далекие времена «Детства Никиты», и в сегодняшние дни героической битвы народной с немецкими захватчиками. В родном народе А. Толстой почерпнул ту художническую силу, которая поставила его ныне, вслед за М. Горьким, в ряды первых советских писателей.

Вот что позволило ему вслед за великими классиками нашими стать выразителем некоторых коренных черт нашего национального гения. Вот что определило место и значение А. Толстого в развитии нашей литературы.

Таков в нашем представлении Алексей Толстой — «один из лучших и самых популярных писателей земли советской», как назвал его В. М. Молотов в своей речи на VIII Съезде Советов.

В. КНИПОВИЧ О ТЫНЯНОВЕ

Исторический оптимизм, вера в возможность активного воздействия на исторический процесс свойственна всем лучшим произведениям нашей ли-

тературы независимо от того, говорят ли они о настоящем или о далеком прошлом. Чувство единства со своим народом, завоевавшим свою высокую и

прекрасную историческую судьбу, дало нашей литературе и чувство единства человека и истории. Каждый советский человек, каждый советский художник сознает, что история — это ты, я, мы все.

Это определяет и лицо советского исторического романа, значение которого для нас, да и для зарубежной литературы ставится все более неоспоримым. Советский исторический роман вместе со всей нашей литературой прошел за годы своего существования большой и сложный путь, усваивая новый опыт, данный нашему народу годами существования советской власти, все более приобретая тот «государственный ум», который свойственен произведениям советской литературы последних лет.

При всем благородстве и правильности общих устремлений, советский исторический роман на ранних этапах его существования отличался некоторой излишней прямолинейностью тематики, некоторой односторонностью в освещении поставленных проблем.

Первые советские исторические романы были посвящены преимущественно «восстановлению в правах» героев революционных движений прошлого или деятелей русской культуры, замолчанных или оклеветанных реакционной историографией.

В этом смысле чрезвычайно характерен один из первых советских исторических романов «Одеты камнем» Ольги Форц, — где «восстановлены в правах» революционные деятели 50-х годов.

Сознание того, что советское государство является наследником не только революционных, но и передовых государственных традиций народного прошлого появилось в советском историческом романе уже позднее.

Но оно тотчас же открыло перед нашей литературой новые возможности, поставило перед ней новые задачи. Советский исторический роман последнего десятилетия уже стремится показать все те формы, которые принимала историческая активность народа, осуществлявшаяся не только в борьбе против царской реакции, но и в борьбе с иноземными захватчиками, показать народность русской воинской славы, обрисовать великую и положительную роль России, как культурного и политически самостоятельного фактора мировой истории, изучить всю сложную диалекти-

ку взаимоотношений государственного строительства и народных движений в условиях дореволюционного классового общества.

Первой попыткой такого рода, первым подступом к идейному и художественному решению исторической проблемы с точки зрения «государственного ума» надо считать замечательный роман Алексея Толстого «Петр I». Вслед за «Петром I» идет целая вереница произведений таких, как «Дмитрий Донской» С. Бородина, многочисленные романы и пьесы об Иоанне IV и многие другие романы и хроники последних лет.

Из этого не следует, что советский исторический роман, достигнув известной идейной и художественной зрелости, отказался от изображения народно-революционных традиций. Наоборот, «Емельян Пугачев» В. Шишкова, например и др., также написан в последние годы.

В советском историческом романе теперь эти движения поняты и изображены более глубоко и многосторонне. Советские писатели умеют вскрыть то организаторское начало, которое жило в этих движениях, уловить черты «государственного ума» и деятельности их руководителей, показать, наконец, каков исторический опыт, приобретенный в этих движениях народом.

Решая все эти задачи, участвуя в духовной мобилизации советского народа, помогая понимать великих традиций прошлого, советский исторический роман вместе с тем не модернизировал историю. Но именно объективность давала нашим историческим романам героическое и оптимистическое звучание. Потому что история работала и работает на нас.

Из всего этого не следует, конечно, что путь советского исторического романа был ровным и совершенно прямым. Индивидуальные отклонения, индивидуальные трудности, встававшие перед отдельными писателями бывали здесь довольно велики.

Некоторые деятели советской литературы «выясняли свои отношения» с историей долгие годы.

Чувство единства человека и истории, историчности личной биографии становилось для них порою чувством рабской зависимости человека от истории, историческим фатализмом. Это порождало в отдельных произведениях ноты индивидуалистического протеста

или такие образы, которые были родственны излюбленным героям западного исторического романа — «одиножком гуманистам», заблудившимся в «железном веке».

В частности, такие индивидуальные отклонения очень характерны для творчества признанного мастера советского исторического романа и крупного литературоведа Юрия Николаевича Тынянова.

Говоря об индивидуальных отклонениях творческого пути Ю. Тынянова, мы отнюдь не имеем в виду своеобразия его исторических романов, связанное с тем, что их написал не только художник, но и ученый. В этом была и сила и слабость. Сила, потому что необходимые для создания исторического романа знания были у Тынянова не прикладные, не добытые для иллюстрации его замысла. Напротив, самые темы и замыслы вырастали у него при творческом изучении широкого исторического поля, о котором автор знал гораздо больше, чем этого требовал каждый отдельный роман. В своих романах Тынянов нередко дает лишь вывод, лишь итог большой работы, проделанной им за гранью беллетристики — в науке.

Но иногда в этом сказывается отрицательная сторона связи романов Тынянова с литературоведением — беллетристика становится в них опытным полем для решения историко-литературных и литературоведческих задач, общий замысел, поэтическое начало романа тонет в научном комментарии.

Но что особенно важно подчеркнуть, — что многие особенности исторических концепций Тынянова вводили его порой от основных, определяющих путей советского исторического романа.

На протяжении почти двадцати лет Тынянов трижды по-разному разработал, трижды переосмыслил важнейшую для русской истории и культуры тему — «декабризм».

Классическое определение места и значение «дворянской революционности», декабризма в русской истории дано В. И. Лениным: «Чествуя Герцена, — писал Ленин в 1912 г., — мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен... Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили закаляли революционеры — разночинцы начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной Воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это и была еще сама буря:

Буря, это — движение самих масс Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые подвинул к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинается раст на наших глазах»¹.

Это — основное с точки зрения всего исторического процесса — и должно помнить каждый художник, который говорит о декабризме. Тогда и в книге его войдет ощущение непрерывности единства хода истории. Тогда историческая ограниченность никогда не смешается в его сознании с исторической обреченностью, «страшная далекость от народа с бесплодностью борьбы.

В какой же мере это подлинное по внимание и «чувство истории» присутствует в тыняновской трилогии о декабризме?

Первый роман Тынянова «Кюхля» прочно вошел в золотой фонд советской исторической беллетристики. Это не значит, что в романе нет недостатков. Напротив, литературно он менее искусен, чем другие произведения Тынянова. Первые главы романа, как уж правильно указывала наша критика сбиваются на традиционную «повест для юношества». Тынянов в первых главах не вполне владеет своим материалом. Он использует его по-ученически осторожно, почти нигде не отступая от «буквы» документа и хронологии.

Более того, в романе сохранились следы разрыва между замыслом автор и тем, как этот замысел творчески осуществился. Первому изданию книги было предпослано эпитафия, — строки одного стихотворения Кюхельбекера, написанного в крепости:

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл
Прекрасный, мощный, смелый,
величазый,

В начале поприща торжеств и славы
Исполненный несокрушенных сил.

¹ ЛЕНИН. Собр. соч., т. XV, ст. 468—469.

Строки эти, с характерной поправкой, сделанной Тыняновым (у Кюхельбекера стоит не «в начале», а «в середине»), определяли первоначальный замысел романа.

Отдельные черты, мысли, намеки, сохранившиеся в книге, показывают в свете этого эпиграфа, что Тынянов хотел раскрыть все богатство творческих возможностей и духовного облика Кюхельбекера, всю чистоту его сердца, всю его гражданскую доблесть, для того чтобы показать, как неотвратимый, железный шаг истории растоптал все эти высокие возможности. История, по замыслу Тынянова, должна была играть с Кюхлей, как кошка с мышью. Бродить вокруг, подстергать, чтобы в решающую минуту загнать неосторожного мышонка в грязный и убогий угол сибирской ссылки и там сожрать его.

К счастью, при столкновении с реальным материалом, замысел этот реализовался иначе. Образ истории, как неотвратимой силы, действующей вне человека и враждебной ему, мог возникнуть в сознании самих участников востанья 14 декабря, переживших крушение своих надежд. Для них история могла отождествиться с реакцией николаевской эпохи. Это — восприятие 1826 или 1830 года. Но Тынянов писал свой роман в 1925 году, и столетняя дистанция, легшая между ним и его героем, разомкнула тесные рамки первоначального замысла. Иной образ истории, который не мог не жить в эту пору в сознании советского писателя Тынянова, внес существенные поправки в его роман.

Вот почему и в книге Тынянова это новое, наше понимание исторического процесса сделалось историей не только Николая I, главу тайной полиции фон Фока или подхалима Похвиснева, но и деятелей, связанных с народным, революционным началом: пола Флери — ветерана 1793 года, с которым Кюхля встретился в Париже, Рылеева, Пушкина, повстанцев Греции, самого Кюхлю. Истинного творца истории и истинного героя всякого исторического произведения — народа — в книге Тынянова еще нет, но в ней присутствует сознание, что взаимодействие исторических сил сложнее и целесообразнее, чем это иногда кажется современникам, которые за «теной», за поверхностью явлений, не всегда могут понять их сущность. Это сознание дало книге Тынянова то движение, ту стремительность, которой

не могло бы быть, если бы он видел и ощущал изображаемую эпоху только «изнутри».

Под влиянием правильного понимания истории, воздействовавшего на первоначальный замысел, в книге нашло свое настоящее место и внутреннее ощущение эпохи. Оно живет в братской любви к герою книги, в том лирическом волнении, с которым Ю. Тынянов изображает его трудную судьбу.

Роман Тынянова рассказал читателю не о том, что история не дает человеческой личности осуществить ту судьбу, для которой она создана, а о том, что судьба человека в классовом, буржуазно-дворянском обществе иногда бывает очень короткой.

Так, настоящая жизнь Кюхли продолжалась лишь один день — 14 декабря 1825 года. В этот день то, что было в 20-х годах прошлого столетия «тайным» историей, на минуту стало «явным». «Время радостно зашагало по Петровской площади», и пусть на один день, но в ногу с ним шел и вскормленник этих «подслупудных», «тайных» сил истории — Кюхля.

И Кюхля расплачивался в романе Тынянова не за то, что вступил в спор с временем, а железной необходимостью истории, воплощенной в Николае I и фон Фоке, а за то, что он не был достаточно последовательным в этом споре, за то, что он, как и все декабристы, был страшно далек от народа, за то, что тени Разина и Пугачева были для него едва ли не страшнее, чем живой Аракчеев. За то, что, говоря словами Тынянова, «горючий песок дворянской интеллигенции» «не смешался с молодой глиной» народа.

В «Кюхле» Тынянов смотрел на своих героев как исторически старший. Поэтому в романе дана объективно-историческая и художественно-правдивая оценка декабризма, его ограниченности и его исторического величия.

Историзм совсем другого качества лег в основу следующего по времени романа Тынянова — «Смерть Вазир-Мухтара». Тематически «Смерть Вазир-Мухтара» тесно связана с «Кюхлей». Обе книги говорят все о той же судьбе людей 20-х годов. Но в «Смерти Вазир-Мухтара» речь идет о человеке, который хотел не «просиять и погаснуть» на Петровской площади, в день 14 декабря 1825 года, а длительно участвовать в строительстве русской

культуры и русской государственности в условиях николаевской России.

Если бы Тьнянов в своем романе сохранил между собою и своим героем все ту же столетнюю дистанцию, он, вероятно, смог бы разрешить поставленную перед собою трудную задачу.

Но Тьнянов пошел иным путем... «Было в двадцатых годах винное брожение — Пушкин, Грибоедов был укусусным брожением... Старый азиатский укус лежит в моих венах, и кровь пробирается медленно, как бы сквозь пустоты разоренных империй».

Как видим, речь идет о художественном перевоплощении: эпоху Тьнянов видит глазами современника, глазами созданного им Грибоедова. В этом ключ к пониманию романа. От 14 декабря Грибоедов и автор отделены лишь тремя годами. «На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года, — говорит Ю. Тьнянов в лирическом и декларативном предисловии к книге, — перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось... Лица удивительной немoty появились сразу тут же на площади, лица, тянущиеся лосидами щек, готовые лопнуть жидлами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга».

Под этим новым небом был произведен пересмотр всех ценностей 20-х годов. Результатом этого пересмотра и явилась та картина изображаемой эпохи, которая нарисована Тьняновым. «Вольность и своенародность» показались бессмыслицей, декабрьское движение свели к бунту сотни прапорщиков. Для действующих лиц романа воплощение времени, историческая реальность — это «бесполоя кукла» Николай I, «остзейская немота» Бенкендорфа, полководец новых традиций «ядьдика» Паскевич «граф Ерихонский», мелкая торговская жадность сафяников, презрение к воинским традициям 1812 года. Вся страна «Некрополь», город мертвых, задушенный «барабанным просвещением». Никто ничего не видит впереди и только во флигеле на Басманной сидит сумасшедший в черном колпаке и халате цвета московского пожара и прислушивается к тому, что несет будущее. «У меня болезнь вре-

мени. И вот вы скачете, а я сижу. Если хотите, я прислушиваюсь».

— И что же вы слышите?

— Многое, — кивнул снисходительно Чаадаев, — сейчас Европа накануне скачка... Будьте уверены, что в Париже пька уже вынула камень из мостовой. Она замахивается».

В свете столетнего опыта такая картина 30-х годов возникнуть бы не могла. Ведь мы знаем, что прислушивался не один «сумасшедший», да у нас и нет оснований объявлять Чаадаева сумасшедшим, как это сделал Николай I. Но глаза современников, некоторой части современников во всяком случае, видели именно ту картину, которую нарисовал Тьнянов. Действительно, «аристократическая независимость, гвардейская удаль александровских времен — все это исчезло с 1825 года». Но тогда же появилось иное. «Были иные всходы, подсевы, еще не совсем известные самим себе, еще ходившие с открытой шеей à l'enfant или учившиеся по пансионам и лицеям, были молодые литераторы, начинавшие пробовать свое перо». Так писал Герцен. И мы знаем, что когда в 1826 году казнь пяти декабристов отмечали торжественным молебном в Кремле, тот же Герцен, четырнадцатилетний мальчик, поклялся посвятить всю свою жизнь борьбе с самодержавием.

Новое быстро проявило себя. В 1828 году — год действия романа Тьнянова — мальчишки в воротничках à l'enfant были уже в университете, изучали контрабандной немецкую философию и французский социализм. Вскоре появились первые статьи Герцена и Огарева, «Литературные мечтания» Белинского. Наконец отозвался и Чаадаев. Впечатление от «Философических писем» было, по свидетельству современников — Жихарева, Лонгинова, Герцена. — не меньшим, чем от появления «Горя от ума».

Любопытно, что легенда привела во флигель на Басманной Михаила Бакунина, и предание долго приписывало перевод «Философических писем» Белинскому.

Как видим, связь времен не оборвалась в 1825 году. Но Тьнянов сознательно ограничил свой кругозор.

Этим определяется в романе все: та дужота и неподвижность, которая в нем царит; сознательное уравнивание масштабов всех явлений, больших и малых. Мелочи быта, сами окружающие чело-

века вещи начинают жить в романе самостоятельной и несколько жуткой жизнью. Даже люди в романе живут не сами по себе, не как объективно существующие личности, а как восприятие этих личностей Грибоедовым. В сущности, в романе нет ни Кати Телешевой, ни Нины Чавчавадзе, ни Фаддея Булгарина, ни Ермолова, ни Пушкина. Есть только отношение Грибоедова ко всем этим людям. Книга вся построена, как внутренний монолог, в ней нет авторского взгляда со стороны.

В этой душевной, застоявшейся атмосфере, где не чувствуется никакого движения, ни малейшего порыва ветра истории развились все те бактерии исторического фатализма и пессимизма, которые в первом романе Тьнянова не смогли выжить.

«Еще ничего не решено» — этими словами кончается предисловие к книге. «Еще ничего не было решено» — так начинается первая ее глава. Но по существу — решено уже все. Судьба Грибоедова predetermined. Книга недаром называется «Смерть Вазира Мухтара». Грибоедов — еще живой, полный страстей, угрызений, тоски и надежд, в сущности, уже мертвец, потому что с поколением 20-х годов история, для Тьнянова, покончила за три года до начала действия романа. Куда бы ни пробовал укрыться Грибоедов — в творчество, политику, личную жизнь, — история загонит его в темный и грязный угол, — в «постыльную, немилую Персию» и там прикончит. И если Грибоедову была дана этой злой силой возможность еще помыкаться по свету несколько лет, предпринять еще несколько попыток укорениться в жизни, то это лишь для того, чтобы он измерил весь позор своего посмертного существования, стал бы из Чацкого Молчалиным.

В сущности, Грибоедов знает сам, что он обречен. Он сдает без боя все свои позиции. Воля истории, отождествленная в романе с николаевской империей, подавила человеческую волю Грибоедова. Поэтому все неудачи Грибоедова объяснены в романе психологически. Конкретная историческая ситуация тоже становится в романе лишь восприятием героя, внутренним его отношением к ней.

Казалось бы, что личность героя, личность Грибоедова, поглотившая весь материал романа, должна была бы стать необычайно живой и индивиду-

альной. На деле же получилось совсем другое. Грибоедов — игрушка исторических сил, находящихся вне его, герой, пассивно претерпевающий свою историческую судьбу, на страницах романа теряет свои очертания, становится безличным носителем биографии, типичной, с точки зрения Тьнянова, для определенной исторической эпохи.

Грибоедов настолько «развеществлен» в романе, что исторические силы продолжают играть мертвым героем, совершенно так же, как они играли живым. Найти тело Грибоедова среди трупов убитых во время восстания в Тегеране русских солдат и членов русского посольства оказывается невозможным. За тело Грибоедова выдают неизвестно чей труп. И этот труп, который медленно везет по дорогам арба, запряженная волами, продолжает принимать на себя удары злой исторической силы. Труп вызывает недовольство Николая I и его министров, трупу выражают порицание, делают выговоры. Так, в последних главах «Смерти Вазира Мухтара» зарождается тема следующего по времени исторического произведения Тьнянова — «Поручик Кянке».

Вполне естественно, что в угоду той философии истории, которая лежит в основе «Смерти Вазира Мухтара», Тьнянову пришлось отодвинуть на задний план, затушевать Грибоедова-художника.

Изображая Кюхельбекера, Тьнянов нашел единство между творческой и общественной стороной личности своего героя. Тьнянов не уходил здесь в историю литературы, не углублял вопроса об «архаизме» Кюхельбекера и т. д. Творчество Кюхли показано в романе главным образом, как часть его общественного служения. Если оно внешне, по форме бывает таким же неуклюжим и отвлеченным, как и общественные действия Кюхли, зато и сущность дел Кюхли — поэта и гражданина — одинакова. О ней он лучше всего сказал сам, давая показания по делу декабристов. «...Взирая на блистательные качества, которыми бог одарил народ. Русский, народ первый в свете по славе и могуществу своему, по своему звучному, богатому, мощному языку, коему в Европе нет подобного, наконец, по радушию, мягкосердию, остроумию и непамятозлобию, ему перед всеми свойственному, я душою скорбел, что все это подымается, все это вянет и, быть может, опадет, не принес-

щи никакого плода в нравственном мире!».

Иначе обстоит дело с Грибоедовым. В великой исторической и культурной традиции русского народа, он живет, конечно, прежде всего как автор «Горя от ума». Для самого Грибоедова «Горе от ума» могло быть равноценным тому проекту организации в Закавказьи «новой остиндской торговой компании», осуществления которого он тешно добивается у николаевских министров. Но проект в истории России остался «неосуществленным проектом». «Горе от ума» в истории русской культуры не осталось «ненапечатанной пьесой».

Если бы это «подразумевалось» и на страницах романа, искусственная историческая конструкция, возведенная Тьяньновым, несомненно рухнула бы, и вместе с раскрытием творческого воздействия Грибоедова на русскую культуру в книгу ворвался бы и воздух истории, движение, определилась бы подлинная связь художника с эпохой, с народом и его судьбами.

Но этим путем Тьяньнов не пошел, напротив, последующие его более мелкие исторические произведения явились развитием наиболее «пораженческих» тенденций романа о Грибоедове.

Если история делает человека лишь условной точкой, на которую дают ее силы, если так понятую историческую судьбу может «претерпевать» и мертвое тело, то почему объектом игры исторических сил не может стать нечто вовсе несуществующее, например, одно человеческое имя. Грибоедова, большого человека и гениального писателя, исторические силы Николаевской империи, по мысли Тьяньнова, «развоплотили». Поручика Кижке, которого на свете нет, который возник из описки перепуганного писаря (поручик Кижке вместо «поручики-же») империя Павла I «воплотила», пустила гулять по свету. Писарская ошибка получила в рассказе Тьяньнова исторический, типичную человеческую судьбу павловских времен со всеми ее атрибутами — беспричинной опалой, ссылкой. Исторический фатализм в этом рассказе! Тьяньнова уже близок к тому историческому нигилизму, который лежит в основе повести «Восковая персона» и маленьких «Исторических рассказов».

Повесть «Восковая персона» несомненно связана с каким-то личным переосмыслением «Медного всадника». Но Тьяньнов забыл о той прозорливости,

диалектичности, с которой проблема государства поставлена Пушкиным. «Восковая персона» — это отрицание всякой государственности, полное неверие в возможность активного и планомерного воздействия на ход истории.

«Смерть Вазир-Мухтара» и последующие мелкие исторические произведения свидетельствовали о несомненном кризисе творчества Тьяньнова. И самые художественные средства, с помощью которых были созданы эти произведения, при всей искусности работы автора, были искусственными. «Смерть Вазир-Мухтара», конструктивно сделанная гораздо лучше, чем «Кюхля», утомляет читателя метафоричностью стиля, неотделенностью авторской косвенной речи от прямой речи героев, неоправданной, кабинетной игрой с русским языком.

После «Восковой персоны» Тьяньнов-беллетрист молчал несколько лет до самого появления романа «Пушкин», первые главы которого стали печататься в 1934 г.

На первый взгляд роман «Пушкин» самое близкое к литературоведению произведение Тьяньнова. В нем нет лирического пафоса «Кюхли», в нем нет того полного слияния со своим героем, того растворения художника в описываемой им эпохе, каким отмечена «Смерть Вазир-Мухтара». Между автором, героем и эпохой существует именно такая дистанция, которая необходима для научного исследования.

Медленно, неторопливо развертывается повествование. Десятки страниц отданы мелочам быта, литературной жизни, изображению целой галереи людей, так или иначе связанных с судьбой Пушкина.

Но мелочи здесь не уравнины в правах с большими событиями, не живут самостоятельной жизнью, как в «Смерти Вазир-Мухтара», они знают свое место, использованы целесообразно. Это растворенный в повествовании комментарий к творчеству Пушкина, полный новых фактов, предположений, загадок.

Но эта превосходная и доброкачественная научность порою слишком перегружает роман, затемняет его замысел. Поэтому основное значение книги конечно, не в ней.

И «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара» говорили о современниках Пушкина, о людях одного с ним поколения. Но и Кюхельбекер, и особенно Гри

боедов были для Тьнянова жертвами исторического процесса, людьми убитыми на поединке с историей. Движение, шаг личной судьбы Кюхли совпал с шагом истории лишь на одно короткое мгновение. Вся судьба Грибоедова — личная творческая, общественная — для Тьнянова «аритмична». Герой «Смерти Вазир-Мухтара» все время идет с историей — в ногу. Своим гениальным творчеством он лишь подходит к «простонародности», «всеобщности» литературы, к тому рубежу, за которым создание культурных ценностей становится подвигом, равным перед лицом истории подвигам воинским и гражданским.

И этот рубеж спокойно переступает в книге Тьнянова Пушкин. Хотел или не хотел Тьнянов поймать Пушкина в сети исторического фатализма, мы не знаем и не узнаем — роман не окончен. Смерть автора прервала его на повествовании о ранней юности Пушкина. Но если б автор, и захотел, — Пушкин, такой, каким он создан в романе, разорвал бы эти сети, как слишком крупная рыба, полавшая в ветхий невод.

Пушкин, даже в первых книгах романа, это — народный, «простонародный» художник, в котором сольется все величие национальных традиций и национальной культуры. И поняв это, Тьнянов попал на золотую жилу. Вместе с народностью Пушкина в его историческую беллетристику незримо вошел тот, кто должен быть героем каждого произведения о русской истории — русский народ.

«Простонародность» Пушкина питается в книге Тьнянова не только сказками няни Арины Родионовны.

Пусть, например, нимфа, грация «впервые явилась Пушкину со станции Парны или «Ванюши Лафонтена». Она обрела плоть и кровь, когда Пушкин, десятилетний мальчик в речке под Звенигородом увидел розовую, полногрудую нимфу — дворовую девушку Наталью. А в стихах эту дворовую, простонародную нимфу «свет Наташу», с глазами репой и косой до пят, вывел на русский зеленый луг никто иной, как Гавриил Романович Державин. В стихе, во всех элементах поэтики Державина была та русская «простонародность», которую утратили чувствительные соратники Карамзина.

Тьнянов в одной из своих статей писал о том, что геологические сдвиги XVIII века ближе к нам, чем спокойная

эволюция XIX. «Деды» — XVIII век — казались ему значительнее отцов. И не случайно в романе «Пушкин» за несколько верткими и неосновательными фигурами «отцов» (самая типичная из них — Василий Львович Пушкин) во всем своем громадком величии встают фигуры дедов.

Поэтическое начало первых книг романа Тьнянова связано с гигантскими, допотопными образами «дедов». Это деды Пушкина с материнской стороны — сыновья сподвижника Петра — Абрама Петровича Ганнибала и это — творческий предок Пушкина — Державин. Образы Ганнибала как бы пропитывают роман. Двоюродный дед Пушкина Петр Абрамович во всем величии и неприличии — (с точки зрения «отцов») своего века, возникает в романе у колыбели новорожденного Александра, путая своими допотопными масштабами кружок друзей Сергея Львовича Пушкина.

Читатель превосходно знает, что в дом чувствительного карамзиниста — в мир меланхолии, палевых лент, Буриме и сельских букетов вошел всего лишь бригадир Петр Абрамович Ганнибал. Но читатель не может отделаться от впечатления, что это, как в сказке, — пришел благословить новорожденного поэта сам легендарный «птенец гнезда Петрова», арап Петра Великого.

Деды, Ганнибалы, живут и в сознании Пушкина-ребенка как героическая сказка.

«Крепость Наварин сделалась бригадирю Ганнибалу», — читает Пушкин надпись на «простом, диком» памятнике, стоящем в царскосельском парке.

«Он и сам хорошенько не знал, какой это Ганнибал... Но каждый раз, когда они проходили мимо озера, он смотрел на простой, темносиний с прожилками камень; темные носы кораблей старой зеленой бронзы торчали во все стороны; старый камень одиноким столбом торчал у Чертова моста...

Тайком, чтобы не заметили, он надвигал фуражку на лоб... Он кланялся dedu».

Державин возникает в книге Тьнянова лишь на мгновение в знаменитом историко-литературном эпизоде публичного экзамена в лицее, когда Державин, услышав «Воспоминания в Царском селе», «передал свою лиру» Пушкину. Но Державин живет во всем романе.

Жизнь эта двойственна. Внешний блеск: позолота творчества Державина

уже осыпалась. Феерическая пышность, сказочная роскошь великолепного века Екатерины, воспетая Державиным, живет в дни детства Пушкина уже как пережиток в быту последних могикан этого века.

«Однажды, он (Пушкин.— Е. К.) видел странного выезд. На великолепном коне, окруженный богатой свитой, ехал старик. Ковч был покрыт шитым золотом чепраком; сбруя вся из золотых и серебряных цепочек. Свита, верхами, молча ехала. Старик курил трубку; лицо его было сморщенное. Ошеломленный Монфор (гувернер Пушкина.— Е. К.) поспешил поклониться, думая, что это прибыл турецкий посол. Оказалось: это старый Новосильцов гулял перед обедом; свита была его дворян».

Но основа — народная — творчества Державина живет в другом, в выведенных его рукой на русский луг образах античной мифологии, в «якобинском» пафосе личного достоинства, свойственного пушкинскому поколению, в бронзе и граните памятников воспетой им воинской славы русского народа «вихря богатыря», «твердокаменного росса».

В стихах Державина и слава эта озарена огнем фейерверков пышных празднеств.

Лазурны тучи краезлаты,
Блισταючи рубином сквозь,
Как испещренный флот богатый
Стремятся по эфиру вкось.

В стихах Пушкина — память о Чесме. Кагуле, Наварине теряет бенгальский блеск. Остается облик славы в наглом величии:

Он видит, окружен волнами:
Над твердой мшистою скалой
Вознесен памятник, ширясь крылами,
Над ним сидит орел молодой...

Юный Пушкин в романе Тьнянова берет все то, что было в Державине не временным, народным, гениальным. Пушкин в «полношном Элизуме» царско-сельского сада подслушивает биение самого сердца «дедов». Вот почему Державин в день экзамена «слушал воспоминания этого птенца, которому еще нечего было вспоминать, и который вспомнил все за него».

У дряхлеющего Державина уже не было сил «вспоминать», но как мог вспомнить за него Пушкин?

Это случилось потому, что «птенец» уже был оваян дуновением тех «буль земных», которые потрясли самые нед-

ра народной жизни. Перелом от отрочества к юности совпал для Пушкина с 1812 годом.

Взрослым сделала Пушкина скорбь о том, что по русским знакомым дорогам скачет народная конница неприятеля, что в Москве «сожжено и разрушено все — самые улицы, по которым он гулял, более не существовали».

Здесь Тьнянов подошел к исторической теме огромной важности — теме влияния отечественной войны 1812 года на русскую историю и русскую культуру.

Тьнянов в своем романе правильно поставил вопрос о том, что поколение Пушкина, поколение декабристов было военным поколением победоносной, народной войны. И единство «вольности» и «народности», жившее в сознании этого поколения, возникло — в этом Тьнянов также прав — под влиянием событий 1812 года, обнаруживших всю силу народного духа, всю историческую активность и самостоятельность русского народа.

Чем рождены в романе Тьнянова те гражданские страсти, бурное кипение которых раскрыто в заключительных главах второй и во всей третьей книге его романа? Что дает стоическое мужество умирающему Малиновскому, почему Чаадаев говорит о крепостном праве, о рабстве так, «как другие гусары говорят только о людях, с которыми завтра будут драться на дуэли»? Каким воздухом оваяны, какой верой вспоены все произведения Пушкина, созданные в эти годы — от «Воспоминания в Царском селе» до «Руслана и Людмила»? «После того, как народ русский завоевал славу, рабство отменяется». «Ныне победа давала новое достоинство русскому народу».

Точная и всепоглощающая ненависть Чаадаева к самодержавию, война юного Пушкина против Фотия, Голицына, Аракчеева, Александра I возникают потому, что страстное преклонение перед величием народа-победителя рождает страстную ненависть к его угнетателям. В патриотизме пушкинского поколения, каким его видит Тьнянов, любовь к родине, к народу, неотделима от любви к свободе. Но вольнолюбие творчества Пушкина не исчерпывается для Тьнянова «кромешными» эпиграммами.

Тьнянов — и в этом величайшая его заслуга — раскрыл подлинный исторический, а если угодно, и политический смысл такого произведения, как «Руслан и Людмила».

Тынянов показывает, как в дни величайшего напряжения народных сил Пушкин — национальный русский поэт — по-новому увидел и ощутил весь путь своего народа, всю его историю. Все что было и предчувствие всего, что будет, обступило его. Он точно жил жизнью всех времен, всем величием, всеми муками России.

И перед лицом сегодняшнего величия, новых подвигов народа живой жизнью, а не историей стали прошлые подвиги. Былинный эпос вплотную подступил к сегодняшним дням. «Мира не было, и бог с ним. И думая о древней Руси, о баснословном царстве Владимира, думал о Руси, которая победно жила еще и в эти дни.

Да, она жила и в эти дни. Русь Владимира не была дряхлой, древней. Она была все та же. И те же богатыри скакали за ней и он узнавал среди них чужих. Похожий толщиной и именем на шекспирову Фальстафа, Фарлаф, жирный изменник, занимал его.

Нет, не кончилась древняя Русь. И богатыри не кончились. Бой шел за нее, за Людмилу, за красу. Русь была та же красота, та же».

Отечественная война 1812 года — великий исторический фактор в судьбах русского народа и русской культуры, не учтенный Тыняновым в двух его

первых романах, посвященных «людям 20-х годов», занял подобающее ему место в романе «Пушкин». И это дало историку последнего неоконченного романа Ю. Тынянову ту полновесность, ту широту масштаба, которой не хватало его прежним произведениям, даже и «Кюхле».

Если в «Кюхле» ощущение разумности и целеустремленности исторического процесса рождалось из лирического волнения, вызванного нравственной высотой и гражданской доблестью героя, то в «Пушкине» это же чувство истории покоится на гораздо более прочной основе.

Пушкин побеждает всю горечь и тяжесть исторической судьбы силой своей исторической «ритмичности», кровной своей связью с истинным творцом истории — народом, участием во всех событиях народной жизни. Творчество Пушкина — это его служение народу, это его историческая миссия, а тем самым и «государственное дело».

В этом Тынянов справедливо видит мудрость и победу Пушкина. И это — наше, правильное понимание исторической судьбы национального поэта — закончило ту тяжбу с историей, которую вел Тынянов, и снова вывело его творчество на основной определяющий путь советской исторической беллетристики.

НОРА ГАЛЬ

РОМАНЫ О БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ

Среди вышедших за последнее время произведений иностранных писателей, переведенных на русский язык, особый интерес вызывают современные антифашистские романы. Назовем произведения Пристли «Затемнение в Грэтли», Гринвуда «Мистер Бантинг в дни мира и войны», Ст. Гейма «Заложники», Энгстранда «Норвежская весна», Франца Вейскопфа «Заря занимается».

Роман Роберта Гринвуда «Мистер Бантинг в дни мира и войны», впервые был опубликован в СССР в 1942 году и был встречен с интересом.

Автор хотел показать миру среднего англичанина — настоящего англичанина, — и не скрывал своего намерения. Недаром он дал герою имя Бантинг:

из носящего это название прочного материала делаются знамена.

Есть в Бантинге что-то очень знакомое — может быть, нечто от чудак Диккенса. Это живой человек, таких, должно быть, много множество — рядовых, будничных, ничем не замечательных, немножко смешных со своими маленькими слабостями «в дни мира» и без позы спокойных «в дни войны». Читатель, не мудрствуя, сочувствовал Бантингу в его служебных и отцовских огорчениях, в его житейских неудачах, и радовался, открывая в нем в тяжелый час военных испытаний новые стороны, дополнявшие этот несложный, но цельный характер. Бантинг все вытерпел, не потерял присутствия духа, в нем, в его семье, друзьях, соседях — мы знакомы-

лись с английским национальным характером. В этот образ, в это обобщение Гринвуд вложил много любви, наблюдательности, хорошего юмора — и во многом убедил.

И все же... как ни велико обаяние образа, простота и искренность повествования теплые живые краски, которые находит для своих героев Гринвуд,— странное дело, дочитав роман до конца, мы закрывали книгу с смутным чувством разочарования. Чего же не хватало Бантингу?

С мистером Бантингом в романе вступают в спор два человека: его старший сын Эрнест, плохо приспособленный к жизни мечтатель, книжник и музыкант, и старый приятель Бантинга, чудаковатый Кордер, любитель немножко перевранных цитат из классиков. Оба они несколько пунктирны, в них меньше плоти и крови, чем в самом Бантинге — и в спорах с ними он в конечном счете одерживает верх. Бесплотный абстрактный гуманизм, мечтательность терпит крах, Эрнест перестраивается на отцовский лад. А младший сын и любимец Бантинга — Крис — тот с самого начала повторяет отца, его облик и идеалы, — разница между ними только возрастная.

Какую же программу развивает английский романист? Вот патетические строки о том что Крис погиб «не за какой-то «новый миропорядок» — Крис так же мало думал об этом, как и его отец», — а просто «защищая свой дом и свою семью и те несколько миль английской земли вокруг Килворта, которые он научился любить еще с детства.

И эти строки, и весь ход событий, чувств, рассуждений приводят к одному: на этот счет также есть нечто вроде декларации: «Человек должен поднимать целину, сеять, жать и собирать в житницы, должен рассчитывать и строить, покупать и продавать. Его орудия, его пища, его нужды, его радости и страдания до конца мира будут все те же, что сейчас и что были всегда». Всякая же мысль о том, что жизнь может и должна быть иной и лучшей, что нужды могут по-иному удовлетворяться, страдания — лучше преодолеваются или устраняться, что действительно возможен взятый Бантингом в иронические кавычки «новый миропорядок» — это блажь, утопия.

Итак, английский роман о мире Бан-

тинге, — к тому же премированный — имеет один смысл, одну цель: защиту «старого миропорядка», защиту вчерашнего дня. Бантинги воюют ради того, чтобы в Килворте — и в Англии — ничто не изменилось.

Но есть в Англии другие люди — не менее подлинные англичане, чем мистер Бантинг, — которые понимают, что нынешняя война выдвигает новые, смелые, прогрессивные концепции. Прочитав книжку Пристли «Затемнение в Грэтли», услышав из глубины души его героя вырвавшееся проклятие мрачному, окуянному, неприютному местечку Грэтли, — лучше начинаешь понимать, в чем не прав Бантинг.

Герой «Затемнения в Грэтли» Гэмфри Нейлэнд — инженер по профессии и по призванию. Он жаждет не разрушать, а строить, мечтает работать, создавая то, что облегчает жизнь тысячам людей, делает ее полнее и счастливее, заниматься «разумным и культурным трудом в разумном и культурном мире». Но в дни войны, он лишь возможности заниматься своим привычным и любимым делом. Стечение обстоятельств и глубоко сидящая ненависть к фашизму приводят его в контрразведку, в «Интеллидженет Сервис», к активной борьбе с германским шпионажем и «отечественной» пятой колонной.

Ни герой Пристли, ни сам автор не допускают мысли о том, что после войны все опять пойдет попрежнему, по старинке. Уверенностью в переменах, убеждением в необходимости и неизбежности их проникнута вся книга. В самом начале Нейлэнд признается, что у него чешутся руки всякий раз, когда он видит «выживших из ума простофиль, которые являются в такие места, как Грэтли, и призывают народ воевать и трудиться в поте лица во имя сохранения «нашего традиционного уклада жизни». С презрением и гневом говорит Нейлэнд главарю местной «пятой колонны» полковнику Тарлингтону: «Вы ..уговаривали народ знать свое место, воевать и трудиться, и страдать, чтобы поддержать то, во что они больше не верят... вы поняли, что для того, чтобы сохранить то, что вы хотите сохранить, нужно, чтобы народ не выиграл эту войну, а фашисты не проиграли ее. Наци вас убедили, что, если победят они, вы будете иметь такую Англию, какая вас устраивает, то есть вы и вам подобные попрежнему будете благополучно у власти, а про-

стой народ навеки останется в прежнем положении».

Нейлэнд — тоже типичный англичанин. Грэтли не менее типичен, чем местечко Бантингов — Килворт. И читателю открывается какая-то вторая Англия, вторая половина правды, именно та, которой не хватало роману Гринвуда.

Мистер Бантинг — «типичный средний англичанин из среднего класса» (определение автора), маленький зависимый служащий, — знал до войны немало горьких минут, нередко чувствовал себя униженным и беззащитным, положение его было весьма шатко. В один печальный день он лишился работы — и лишь случайность, небольшое наследство избавило его с семьей от необеспеченности, от нужды. Затем война вернула ему работу, его добродетель верного служащего оказалась вознагражденной и торжествующей, а уволивший его со службы несправедливый начальник, его гонитель и злой гений — посрамленным. Так разрешены все довоенные конфликты, примирены все противоречия.

Типична ли такая благополучная развязка, такой счастливый конец для миллионов Бантингов, светит ли им эта обязательная улыбка фортуны под занавес? Не слишком ли идеален мирный зеленый Килворт, за который с такой готовностью отдает жизнь юный Крис, за который, преодолев свои пацифистские заблуждения, идет воевать Эрнест? Ведь, в сущности, даже очень скромные мечты этих юношей о будущем — тяга Криса к технике, Эрнеста к сколько-нибудь культурной профессии — были до войны очень мало осуществимы для них, недоступны в условиях этого самого «идеального» Килворта. Но тогда законно ли для героев Гринвуда, что они не желают ничего лучшего, никаких перемен, а те, кто желал их оказываются побежденными в споре с мистером Бантингом? Не нагрузка ли это?

Прямым ответом на эти вопросы и служит книга Пристли. Мистер Бантинг олицетворяет не весь английский народ, исчерпывает не весь комплекс его чувств, мыслей и чаяний. Пристли доказал не сказанное Гринвудом. Недвусмысленно осуждая вчерашний день, Нейлэнд понимает, что бороться надо не только с немцами, но и с собственными Тарлингтонами, с теми, кто «ненавидит демократию и все, что с ней связано», кто не желает допустить на-

род жить достойной человеческой жизнью. Нейлэнд не меньше Бантинга любит свою землю, свою страну, свой народ, не меньший он и патриот.

Быть может, и Пристли кое-чего не договорил. Он дал полковнику Тарлингтону слишком легко отделаться, слишком поверил вместе с Нейлэндом, что Тарлингтона нельзя судить «за недостаточностью улик» и остается только положиться на его благородную решимость покончить с собой. Остается неясным, что делал бы Нейлэнд, если бы Тарлингтон не согласился капитулировать после его очень, впрочем, неглупой и отважной «психической атаки».

Некоторые советские читатели и зрители, до войны знавшие Пристли-драматурга, мастера психологических тонкостей, быть может, найдут слишком легкими, упрощенными иные поступки его новых героев и мотивировку этих поступков. Многие тут вытекают из самого жанра этой книги. Пристли написал не в утонченно-психологической манере, а популярно-детективной. Но ему удалось рассказать некоторые простые и важные истины, касающиеся этой войны и жизни Англии.

Несколько иначе военная тема преломляется в книгах, посвященных оккупированной, оскверненной немцами Европе.

Об оккупации Норвегии рассказывает книга Энгстранда «Норвежская весна». Как и в романе Гринвуда, здесь много места отведено довоенному прошлому. Страна не воевала и не ждала удара. Привычен был мир, давние и прочные демократические традиции, сравнительная уверенность в завтрашнем дне. Тысячи рядовых людей, подобно семье рабочего Иогана Иогансена, жили спокойно и, казалось, надежной жизнью. Дом был прочен и полон любви, братское доверие и понимание связывало Иогана с товарищами — рабочими лесопилки, зависимость от хозяина никогда не заставляла его изменять прирожденному чувству собственного достоинства. Спокойная сила, свежесть и почти детская ясность чувств, высокая любовь к своей стране и к людям органически присущи Иогану. Эту чудесную ясность и чистоту мыслей и отношений, словно разлитую в прозрачном северном воздухе, впитывает его жена Марта — норвежка не по крови,

но по духу, их наследуют и юношески задорные, смелые близнецы и девочка Бритта. Те же черты отличают окружающих — прямодушного Сильвануса, бойкую и ласковую Сигрид, большинство рабочих с лесопилки.

Но и в мирные времена не все безмятежно в жизни тихого городка Лес-синга, живет своя тревога и в доме Иогана. Быть может, больше всего — еще до катастрофы, постигшей семью и страну, в предчувствии ее — замутнен и усложнен облик старшей дочери Иогана, Астри. И очень рано тень надвигающегося ложится на Марту.

Старший сын Марты, приемный сын и любимец Иогана Ральф, воспитывается в Германии. Энгстранд очень ясно показывает систему — достаточно стройную — этого «воспитания», обезчеловечения, которому в массовом масштабе фашизм подвергал молодежь. Из нещадного от природы, но слабохарактерного подростка не без ловкости выработывают профессионального предателя, подлую, жестокую и послушную фюреру марионетку. И незадолго до того, как гитлеровская военная машина, скрежеща, лягая, давая все на своем пути, покатилась по тихим дорогам Норвегии, Ральф, подосланный сюда в числе прочих шпионов и диверсантов, вернулся в дом Иогана. Семья не подозревает, что с ним произошло, Ральфа ждут с жадным нетерпением, с любовью. Предполагают, что он болен, что непонятные и дикие в глазах норвежцев гитлеровские порядки в Германии придавили ему душу — и надеются излечить и выпрямить его силою общей любви. Иоган слишком чист и простосердечен, слишком глубоко верит в жизнь и в человека чтобы понять кем является Ральф, Марта и Астри, подозревая больше, тоже не могут осознать всю глубину падения Ральфа, всю ничтожность этой мелкой, подлой, трусливой душонки. Их благородство доходит до наивности, они уверены, что Ральфа — «заблудшего» — можно спасти, и в попытках спасения заходят слишком далеко, слишком любят его, недостойного любви, слишком многим для него жертвуют.

Стараясь таким путем «заострить» драму, автор теряет чувство меры, переступает границы естественного (заставляя, например, Марту riskнуть жизнью близнецов, чтобы «связать» Ральфа). Ральф уже не перестанет быть предателем, все попытки поме-

шать ему, все его промедление и зигзаги на этой наклонной плоскости только детали, не меняющие основного направления, — вниз, вплоть до той грани, когда все станет ясно матери, и она уже без колебаний пристрелит его, как врага, как собаку.

Преувеличенные «психологические тонкости», приписываемые Ральфу и вызываемые им, подчас раздражают. Но есть в книге Эгстранда страницы, полные большой, подлинной силы и правды. Так написано вторжение немцев, увиденное глазами маленькой Бритты — внезапное чудовищное превращение весеннего пейзажа, на фоне которого беззастенно играют три девочки, в арену преступлений и убийства, превращение мирного городка в море огня, где мечется обезумевший от ужаса ребенок. Сильны и правдивы страницы, посвященные битве на лесопилке и смерти Иогана.

С первой весте о вторжении немцев и до конца вся вторая часть книги пронизана одним чувством: гордой решимостью свободолюбивого народа умереть, сражаясь, но не покориться.

В этом — ни растерянности, ни сомнений ни у кого, кроме единственного труса — плугового подхалима Якобсена. Победить норвежцы не могут: застигнутые врасплох, недостаточно вооруженные подстреливаемые из-за угла предателями из пятой колонны и гитлеровскими молодчиками вроде Ральфа, они могут только умереть достойно. И вот люди идут с динамитными пашками в руках на немецкие танки, чтобы взорваться с ними вместе; пастор с детьми и стариками строит на пути немецкой армии баррикаду из древних могильных плит; прекрасно сражается и смертью героя погибает Иоган, защищая свой дом. И, наконец, в последних строках этой книги видишь Марту, легко и радостно идущую на подвиг и смерть в гордом сознании своей великой правды. Кажется, все кончается катастрофой, разгромом: чугунный каток прошелся по стране и сплющил, раздавил тысящепудовой тяжестью все, что могло сопротивляться. И однако книга оставляет ощущение неиссякаемого, непобедимого, высокочеловечного оптимизма. Такой народ, такая сила любви к родным и к свободе не могут погибнуть.

Эта уверенность и делает трагедию, описанную Энгстрандом, оптимистической, и это — особенность не одной только книги Энгстранда.

В огромном большинстве книги о немецкой оккупации, о фашистской ночи над Европой проникнуты твердой, неколебимой верой в то, что ночи этой придет конец и что он недалек.

«Заря занимается», — так назвал писатель-антифашист Ф. Вейскопф свою повесть о словацких партизанах. «Заря нового дня» — название последней ее главы. Здесь уже не приход ночи и не канун нового дня, а самое начало его, первые лучи утра. В горах и лесах Словакии, в глухих деревушках с каждым часом разгорается ненависть к поработителям — активная, страстная, действующая, разгорается борьба народа за уничтожение и изгнание захватчиков с родной земли. Движением руководят испытанные бойцы, опытные в конспирации, обладающие известным теоретическим и политическим кругозором, пониманием перспективы. Таковы бесстрашная энергичная Анна, жена человека, замученного нацистами коробейник Иван Шипко, Ян, Карел. Но есть у Вейскопфа и другие герои — те, чье сознание только пробуждается. Тихая крестьянка Марина еще недавно знала в жизни только заботы о муже, ребенке да о несложном своем хозяйстве, весь мир для нее кончался за деревенской околицей. Ненависть к немцам делает ее партизанкой, заставляет почувствовать хозяйскую ответственность за устройство всего большого мира: «принципо время завести на свете другие порядки, а для этого мы сами должны за дело взяться». Старик Лигат начинает понимать, что «ненависть без драки все равно, что лето без солнца или мясо без соли». Даже свекор Анны, который раньше кричал ей: «Ты с твоими бунтовщиками — вы всех нас погубите», — в конце концов начинает сам помогать «бунтовщикам» — партизанам.

Это сам народ, среди которого, словно «между двумя стенами страха и ненависти», движутся захватчики. И страх все больше уступает место ненависти: он остается на долю «победителей», которые все яснее понимают, что целый народ нельзя поработить: «Сколько их ни хватят, всегда остается слишком много, слишком много...» И все яснее понимает свою силу народ: ведь «моря не вычерпать и даже самым злым бурям приходит конец».

В конце книги, в момент вооруженного выступления партизан Анна чувствует первое движение своего будущего ребенка и говорит: «Я слышу, как

он начинает жить». И это звучит символически: не только потому, что борьба идет за право детей в Словакии свободно дышать, но и потому еще, что в час борьбы — по-настоящему начинает жить народ.

Слабость книги Вейскопфа — некоторая художественная сырьость, поверхностность. Герои подчас названы, но не показаны, характеры не раскрыты полностью, не всегда убедительно показывает автор, что же руководит людьми в их поступках; психология не раскрывается в движении, дается лишь начало и конец: таков был человек — и вот каким он стал. Именно поэтому неудачен образ Петра, человека, который после концлагеря решил отдохнуть, отойти от борьбы и отказался от этого решения только благодаря Анне.

Большинство книг о войне, как бы несхожи они ни были, объединены одной общей, самой глубокой темой: верой в бессмертие народа. О том же говорит и роман Стефана Гейма «Заложники». Это очень насыщенная книга, и многое можно бы сказать о ней. Очень наглядна, коварная и свирепая политика оккупантов в Чехословакии и глубокая неуверенность и страх их перед порабощенным, терроризируемым народом. «Кто из вас за последнее время выходил из дома ночью один?» — спрашивает господ офицеров немец майор. Убийство немецкого лейтенанта Глазенапа — выдумка гестапо, но каждый оккупант знает, что его в самом деле могут убить, уничтожить и бледнеет от предчувствия этого. «Это все равно, что бороться с туманом, — размышляет гестаповец Рейнгард, запутавшийся в раскрытии «антинемецкого заговора»... Но ведь туман это стихия. Может быть, тут не до чего докапываться, нет никаких корней и никто не стоит во главе? Может быть, это народ? Но тогда с этим невозможно бороться. Тогда это перестает быть делом полиции, с этим не справятся все Рейнгарды на земле. «Нам с ними не справиться», — повторяет он в конце палачу Чехословакии Гейндриху, выгоняющему его после удачи с заложниками.

Многое можно было бы сказать и о каждом из заложников, и о психологических наблюдениях доктора Валлерштейна с его теорией о том, что миром и человечеством управляет Страх. Нацисты убивают из страха быть убитыми, «хозяева жизни» вроде богатого фабриканта Прейсзингера предают роди-

чу из страха потерять богатство и власть, маленькие люди боятся потерять работу и кусок хлеба. Но самое интересное и важное, самое удачное в книге Гейма — образ человека, своей жизнью и своей смертью опровергший стройную теорию мудрого психолога Валлерштейна.

Уборщик кафе чех Яношек, опытный подпольщик — «один из самых смелых людей на свете». Так определяет его друтой подпольщик, тоже не робкий человек — Бреда, так же его определяет и Валлерштейн. Яношек — это своего рода Швейк, по внешности и поведению — якобы придурковатый представитель «низшей расы». Но как этот Швейк оказывается в дураках «сверхчеловека», какую изумительную находчивость проявляет он в самых трудных переплетах, какую неустрашимость и нечеловеческую стойкость под пыткой. Сколько живого душевного тепла и неугасимого юмора в Яношке! Вот о ком можно сказать, как Роллан о своем Кола: жив курилка! «В доброе старое время он был бы веселым Уленшигелем, странствующим из деревни в деревню и потешающим своими рассказами круглоголовых ребят и беззубых стариков и старух, — безвестный поэт, сын народа» говорит о нем автор. Теперь Яношек употребляет свои прибаутки на то, чтобы подбодрить приговоренных к смерти товарищей и обмануть врагов. Он умеет заговорить полицейского, чтобы дать товарищу скрыться от преследования, умеет ловко одурачить начальника гестапо, чтобы осуществить тончайшие и хитрейшие свои планы. Осуществление их означает неминуемую гибель для самого Яношека, — но гибель не напрасная, ибо она помогает успеху дела, которое ему дороже жизни, и дорого обойдется захватчикам.

Яношек искренно, начисто чужд страха смерти — вот где приходится подомать голову дру Валлерштейну! Великолепа сценка его первого разговора с Рейнгардом, его чистосердечная радость этой казалась бы, не слишком приятной встрече. Но Яношек лжет, потому что теперь он может выполнить

задуманное. Рейнгард попадает на улочку. «Жизнь прекрасна, величественна, и имеет глубокий смысл, и смерть тоже величественна и прекрасна» — этим сознанием полон Яношек.

Это справедливо: и жизнь и смерть Яношека прекрасны, ибо полны высокого смысла. Яношек, по удачному выражению Гейма, всегда жил «с оглядкой на будущее», которое — он верит и знает — будет прекрасным достойным людей. Ради этого человеческого будущего стоит сделать все возможное и даже, казалось бы, невозможное и сильное, не думая о собственном маленьком «я». А именно это и делает Яношека не маленьким «я», как все те, кем правит его величество страх, но — существом новой высшей породы, представителем нового человечества, частицей того мира, в существовании которого — хотя бы и в будущем — не может не сомневаться даже проникательный Валлерштейн.

Яношек не одинок. Есть в книге и другие образы борцов: подпольщиков, антифашистов, чувствуется в ней и большая ненавидящая человеческая масса, тот «туман», в котором задыхаются немцы. Очень хорошо показал автор, как враждебен завод шпика и предателю Крагохвилю, как терзается в этом царстве мужества и труда маленькое подлое существо. Кажется, словно и впрямь не Бреда или его друзья, а сам завод убивает предателя.

Но Яношек остается центром книги, подлинным героем, символом и воплощением чешского народа, и притом он весь — из плоти и крови, несравнимо более живой и правдивый образ, чем тот же Бреда.

Яношек умирает, лишь на одну минуту не дождавшись желанного взрыва, — знака своей победы, но и застигнутый пулей, он, кажется, все еще ждет и прислушивается, и мертвый знает, что победа — идет.

И здесь снова, естественно и закономерно, трагичность конца, смерти снимается опущением глубокого оптимизма. Яношек — бессмертен, ибо в нем воплощен народ, а народ убить нельзя,

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — Новые дороги, <i>цикл стихов</i>	1
ВАЛЕРИЯ ГЕРАСИМОВА — Байдарские ворота, повесть	5
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Дом № 24, <i>поэма, перев. с белорусского М. Исаковского</i>	33
А. КОРНЕЙЧУК — Миссия мистера Перкинса в страну большевиков, <i>пьеса, перев. с украинского</i>	38
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ — Памяти защитников, <i>стихи</i>	65
РОБЕРТ ГРИНВУД — Отряд выходит, <i>роман, перевод с английского М. Абкиной</i>	68

ПУБЛИЦИСТИКА

Генерал-майор М. ГАЛАКТИОНОВ — Стратегическая цель	117
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

К. ЗЕЛИНСКИЙ — Алексей Толстой	155
Е. КНИПОВИЧ — О Тынянове	162
НОРА ГАЛЬ — Романы о борьбе с фашизмом	171

ПОПРАВКИ К НОМЕРУ 7—8

	<i>Напечатано:</i>	<i>Следует читать:</i>
Стр. 48, 22-я строка	снизу	невеста
» 60, 22-я »	сверху	компрометирует
» 107, 1-я »	»	Полисмена
» 128, 7-я »	»	Но уже в 1910—1916 гг.
» 138, на карте		июля
» 140, 9-я строка	снизу	гойны
» 147, на карте		Старсбург
» 169, 24 строка	снизу	сделалась
» 175, 10-я »	»	Гейдриху

РЕДКО ЛЛЕГИЯ: Вс. Вишневский (отв. редактор), Конст. Симонов, Ан. Тарасенков, Л. Тимофеев, Ник. Тихонов, М. Толченев

Адрес редакции «Знамя»: Москва, ул. 25 Октября, д. 10/2. Гослитиздат,
Телефон К-0-52-93

Подписано к печати 23/XI 1944 г.	А7930	Печ. л. 11.
В печ. л. 66 000 зн.	Тираж 30 000 экз.	Уч.-авт. л. 18
		Цена 10 руб. Зак. 960

18-я типография треста «Полиграфкинига» ОГИЗа при СНК РСФСР,
Москва, Шубинский пер., 10.



КАЖДЫЙ ЗАБОТЛИВЫЙ ГРАЖДАНИН

МОЖЕТ

ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ,

ЗАКЛЮЧИВ В ГОССТРАХЕ

СМЕШАННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

По смешанному страхованию жизни
Госстрах выплачивает страховую сумму:

**самому
застрахованному**

{ при дожитии до конца срока
страхования,
при инвалидности, происшедшей от несчастного случая.

семье и близким

{ в случае преждевременной
смерти застрахованного.

Для заключения страхования и за всеми справками
обращайтесь в районные (городские) инспекции
Госстраха или к страховым агентам

ЗАКЛЮЧАЙТЕ СМЕШАННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ!